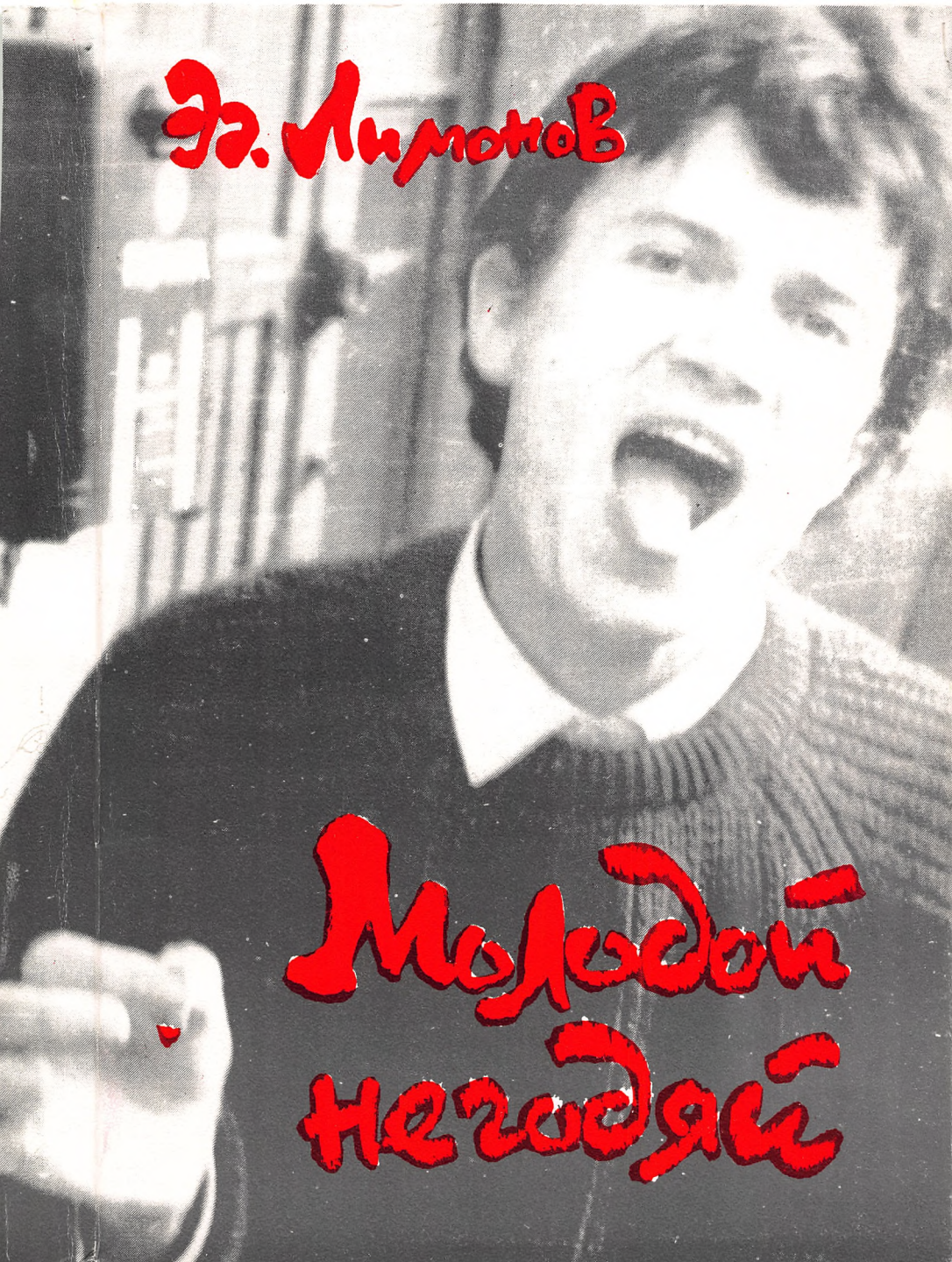




Эд. Лумотов

Молодой
Геродей

Эд. Лимонов

МОЛОДОЙ НЕГОДЯЙ

**«СИНТАКСИС»
ПАРИЖ**

Обложка Е. & М. Гран

© Copyright E. Limonov, 1986

© Все права на русское издание
сохранены за издательством «Синтаксис»

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

— Фью-фью — фью! — три раза свистит птица. Юноша Лимонов вздыхает и нехотя открывает глаза. Узкую комнату заливает проникшее с площади Тевелева через большое окно, желтое как расплавленный маргарин, солнце. Разрисованные друзьями-художниками стены привычно радуют проснувшегося молодого человека. Успокоившись, молодой человек закрывает глаза.

— Фью-фью — фью! — опять включается птица, и прибавляет рассерженным шепотом: — Эд! — Молодой человек сбрасывает с себя одеяло, встает, открывает окно и глядит вниз. Под окном у низкой ограды зеленого сквера стоит его друг Геночка Великолепный, одетый в ярко-синий костюм, и задрав голову, улыбается ему. — Спишь, сукин сын? Спускайся! — За великолепным Геночкой, на изумрудной траве расположилась компания цыган и завтракает арбузами и хлебом, разложив их на ярких платках как на скатертях. — Спускайся, спускайся, день хороший! — присоединяется к Геночке молодая цыганка и даже манит юношу в окне рукою.

Юноша, приложив палец к губам, указывает на соседние окна и, согласно наклоняя голову, шепчет: — Сейчас! — Затворяет окно и, осторожно подойдя к двустворчатой двери, ведущей в соседнюю комнату, прислушивается. Шуршание и несколько вздохов доносятся до него и запахом табака тянет из-под двери. Теща, вне всякого сомнения, сидит в утренней своей классической позе, с распущенными по плечам седыми волосами, у зеркала и курит папиросу. Кажется, Циля Яковлевна не услышала мгновенных переговоров зятя с Геннадием Великолепным, ее самым страшным врагом. Сейчас, юноша знает, следует действовать быстро и решительно.

Вынув из книжного шкафа, нижняя часть которого переделана в шифоньер, свою гордость — костюм цвета какао, с золотой искрой, пробивающейся по ткани, юноша спешно натягивает брюки, розовую рубашку и пиджак. В изголовье кровати стоит ломберный стол, а на нем в беспорядке карандаши,

ручки, бумаги, недопитая бутылка вина, раскрытая тетрадь. С некоторым сожалением поглядев на недописанное стихотворение, юноша закрывает самодельную тетрадку и, сдвинув крышку стола, достает из ящика несколько пятирублевых бумажек. Тетрадь он кладет в ящик и задвигает его крышкой. Стихи подождут до вечера. Взяв в руки туфли, он осторожно открывает дверь в темную прихожую. Ощупью, не зажигая света, проходит мимо двери Анисимовой и осторожно вставляет ключ в замок двери, ведущей прочь из квартиры на свободу...

— Эдуард, вы куда? — Цилия Яковлевна услышала-таки металлический лязг ключа в замке или интуитивно учуяла убегающего зятя, вышла из своей комнаты и стоит теперь, осветив прихожую, в классической позе номер два. Одна рука покоится на бедре, другая — с дымящейся папиросой — у рта, седые, но пышные и длинные до талии волосы распущены, породистое лицо разгневанно обращено к непутевому зятю. Русскому зятю младшей дочери. — Вы опять идете встречаться с Геной, Эдуард? Не отпирайтесь, я знаю! Не забудьте, что вы сегодня обещали закончить брюки для Цинцыпера... Если вы встретитесь с Геной, вы загуляете...

Цилия Яковлевна Рубинштейн — воспитанная женщина. Ей неудобно сказать русскому молодому человеку, с которым живет ее дочь, что если он встретится с Геной, он опять напьется до свинства и, может быть, как последний раз, его принесут домой приятели.

— Что вы, Цилия Яковлевна... Я только спущусь за нитками... и обратно... — лжет короткоостриженный и слегка опухший поэт и стеснительно опускает на пол туфли. Всовывает в туфли ступни и выскальзывает за дверь, в длинный коридор, уставленный с обеих сторон кухонными столами, электроплитками и керогазами. Отгороженное отдельное купе с кухней и туалетом — приоритет всего трех семей, остальным жителям старого дома номер девятнадцать на площади Тевелева кухней служит коридор, а туалет у них общий. Пробежав сквозь строй столов и вдохнув поочередно запахи дюжины будущих обедов, поэт достигает другого конца коридора и уже скачет через три ступеньки по лестнице, ведущей вниз. — Не забудьте о Цинцыпере! — доносится до него беспомощный призыв Цилии Яков-

левны. Поэт улыбается. Вот имя-то Бог дал человеку! Цин-цыпер! Черт знает что такое, а не имя. Целых два "ц" в нем плюс совершенно непристойно звучащее "ыпер"!

Геночка ждет поэта у выхода из подъезда на Бурсацком спуске. В руке у Геночки чемодан. — Сколько у тебя денег? — спрашивает Великолепный вместо приветствия. — Пятнадцать.

— Пойдем быстрее, а то у меня очередь пропадет. — Геннадий и поэт торопливо шагают вниз по Бурсацкому спуску и, дойдя до первого угла, сворачивают налево. К ломбарду.

Тени на улице тяжелые и темносиние. Солнце — желтое, как густая, начинающая стягиваться пленкой, масляная краска. Даже не поднимая глаз от асфальта, можно понять, что в Харькове август.

Уже за несколько десятков метров от массивного, похожего на крепость старого кирпичного здания друзей обдает крутым и крепким запахом нафталина. За сто лет учреждение пронафталинило собой квартал, и кажется, даже старые белые акации в этой части улицы пахнут нафталином. Торопясь, друзья избегают по старым выщербленным ступеням и вбегают в зал. В зале холодно, высоко и просторно, как в храме. Протискиваясь между стариками и старушками, определяют в одну из очередей, ведущую к зарешеченному окошку. Старики и старушки удивленно рассматривают молодых людей. Молодые люди в харьковском ломбарде по-видимому бывают нечасто. Поэт, однако, уже был в ломбарде с десятков раз. С Геночкой.

— Что там у тебя? — спрашивает поэт приятеля.

— Болоньи отца и матери, костюм отца, две пары золотых часов, — перечисляет Геночка, улыбаясь. Улыбочка у него особая: злая и аккуратная.

— Влетит вам, Геннадий Сергеевич!

— Это уж не ваша забота, Эдуард Вениаминович! — парирует Геночка. Однако, очевидно решив, что приятель заслуживает комментария, добавляет: — Они уехали отдыхать. На месяц. И оставили мне только двести рублей. Я их предупреждал, что мне этих денег не хватит. Вот приедут — расплатятся за несправедливость, совершенную по отношению к единственному сыну.

Геночка часто сдает в ломбард вещи свои и родительские.

Он изобрел этот способ добычи денег еще до того, как познакомился с поэтом Эдуардом. Вещи всякий раз Геночкин отец выкупает. Папа Сергей Сергеевич Гончаренко любит своего красивого, статного голубоглазого сына. Хотя папу волнует полное равнодушие сына к какому-либо виду человеческой деятельности кроме поисков приключений и посещения ресторанов и волнует все более сейчас, когда Геннадия исполнилось 22 года, он ему прощает и ломбарды, и даже худшие вещи. Неудачную женитьбу, например. Папа, а не Геночка, платит алименты бывшей жене и сыну Геннадия — своему внуку. Папа Сергей Сергеевич — директор самого крупного в Харькове ресторана "Кристалл" и ресторанного треста того же имени, объединяющего множество других "торговых точек".

Геночка, не утруждая себя вниманием вещей из чемодана, просовывает под приветливо поднявшуюся решетку чемодан и нетерпеливо постукивает каблуком по выложенному керамическими плитками полу. В ломбарде младшего Гончаренко хорошо знают, и потому операция не занимает много времени. Через десять минут друзья уже спокойно спускаются на пахнущую нафталином и акацией улицу. Геночка удовлетворенно вставляет в черной кожи бумажник полученные шестьдесят рублей. И брезгливо, в другое отделение — квитанцию. — Ну, куда пойдём?

2

Они перелезают через каменный забор, отделяющий парк имени Тараса Григорьевича Шевченко от харьковского зоопарка. Собственно, можно было бы спокойно купить билеты, всего рубль двадцать на брата, но юноши считают делом чести не заплатить за вход на "свою" территорию. Зоопарк — традиционное место времяпрепровождения для Эда и Генки, так же как и для всех остальных членов "СС" — разболтанного содружества молодых людей более или менее одинакового возраста, группирующихся вокруг Геночки Великолепного. Другие члены "СС" — художник Вагрич Бахчанян, "француз" Поль Шемметов,

”фриц” Викторушка, Фима по кличке ”Собак”. Каждый из членов ”СС” отличается чем-нибудь необыкновенным. ”СС” никак нельзя назвать обычной компанией молодых людей...

Августовское солнце в Харькове — беспощадно. Однако ребята в костюмах — дэнди-стиль, введенный Геннадием и охотно поддержанный вчерашним рабочим литейного цеха, а ныне — поэтом Эдом. Привычно переметнувшись через утыканный стеклами хребет забора, ребята приземляются в джунглях зоопарка и, лавируя между гигантскими кустами бурьяна и лопухов, орешником и другой августовской буйностью, по одним им ведомым тропинкам спускаются в овраг, проходят мимо старого дуба, растущего на самом дне оврага, и поднимаются из оврага уже возле ”харчевни”. Старые ее бока, когда-то окрашенные красной краской, но вылинявшие до рыжей желтизны, приветливо возвышаются им навстречу. Туфли юношей в пыли буйно пачкающихся в августе многолетних украинских трав, тяжело оплодотворяющих грубые и мощные украинские травы противоположного пола. У Геннадия в руке сверток с бутылками. Водка. В ”харчевне” официально не продают спиртные напитки.

Карабкаясь вслед за другом по тропинке, Эд вытирает лицо платком. Время от времени их догоняет густое облако мошки, стараясь высосать как можно больше миллиграммов крови из непрерывно передвигающейся добычи. Гена и Эд активно машут руками, сигаретами, которые они курят, и отражают набег. Обливаясь потом, но невозмутимые, они выбирают на поверхность и заходят по узкой тропинке между тщательно высаженными цветами во фронт ”харчевни”. Как бы приветствуя их прибытие, из глубин зоопарка раздается рык тигра.

— Джульбарс, — определяет поэт.

— Султан, — не соглашается Гена.

На открытой веранде ”харчевни”, одинокая, что-то делает со стульями официантка ”тетя” Дуся. Крупной женщине с вульгарным, красивым лицом лет 30, но все равно ”тетя”. — Ой хто пришел! Геночка пришел! — радостно восклицает она. Еще бы Дусе не радоваться. Дэнди Геннадий всегда оставляет ей такие чаевые, каких, Эд уверен, не собирается у нее за неделю подачи посетителям зоопарка яичниц, колбас с горошком, киевских и цыплят табака.

— Дуся, положите, пожалуйста, это в холодильник! — Генка, подражая отцу, бывшему полковнику КГБ, директору треста, обращается ко всем на "вы". Это его особый шик. И Генка не ругается, что выгодно отличает его от многих других друзей Эда, сквернословящих направо и налево.

— Эдуарда Лимонова вы безусловно знаете, Дуся? — Генка с некоторой долей иронии смотрит на Эда.

— Да твой друг же был с тобой у нас, Геночка...

— Безусловно, Дуся... но с тех пор он сменил фамилию. Запомните, пожалуйста — "Эдуард Лимонов"...

Фамилии Савенко Эдуард не менял. Просто "СС" и еще несколько ребят — Ленька Иванов, поэт Мотрич, Толя Мелехов играли как-то от безделья (сидя у Анны и Эда в комнате) в литературную игру, и придумали, что они живут в Харькове начала 20 го века, что они поэты и художники-символисты. И Вагрич Бахчанян предложил, чтобы все придумали себе соответствующие фамилии. Ленька Иванов назвал себя Одеядлов. Мелехов стал Буханкиным. А Эда Бахчанян предложил назвать Лимоновым. Игра закончилась, они разошлись по домам, но на следующий день, представляя Эда в "Автомате" приятелю-художнику из газеты "Ленинська змина", Бахчанян назвал его "Лимонов". И упорно продолжает называть его так. И Генка полюбил прозвище "Лимонов". Все молодые "декаденты", появляющиеся в "Автомате", называют теперь Эда Лимоновым. Кличка прилипла, и даже Эдом Эдуарда Савенко называют все реже. Осталось — Лимонов. Вот от Леньки Иванова Одеядлов — отлипло, Мелехова никто не называет Буханкиным, а он — Лимонов. Впрочем, по непонятным ему самому причинам Эду тоже нравится Лимонов. Его настоящая, очень уж обыкновенная украинская фамилия Савенко его всегда удручала. Пусть будет Лимонов.

Юноши усаживаются за стол на веранде таким образом, чтобы видеть пруд, с плавающими по нему лебедями и утками. "Харчевня", безусловно, самый живописный ресторанчик в Харькове, посему Генка и выбрал его в качестве штаб-квартиры. От пруда несет чуть-чуть затхлой водой. Два рабочих лениво тащат шланг и так же лениво принимают опрыскивать тяжелые цветы.

— Ну, чем будем закусывать, товарищ Лимонов? — Генка снимает пиджак и вешает его на спинку стула. Закатывает рубашка безукоризненно белой рубашки и облегчает узел галстука.

— Может быть, цыплятами? — в голосе поэта слышна неуверенность. Он привык полагаться в этих вопросах на куда более светского, уверенного и опытного Геннадия.

— Дуся, что у вас сегодня хорошего? — обращается Генка к вновь возникшей на веранде "тете" Дусе.

— Ой Геночка... еще ж рано как... — Дуся жалобно морщит лицо. — Повар еще не пришел, мы ж в двенадцать открываемся. Могу вам пока легкую закусочку, и если желаете, яиченку с колбаской сделать. Придет повар, приготовит киевские. — Долго и истошно вдруг кричит павлин, и, как по сигналу, кричит, мычит и воет весь зоопарк.

— Ну как, Эд, будем яичницу с колбасой?

— Будем.

— Дуся, сделайте нам по глазунье с колбасой. Каждому из шести яиц. Не на масле, но на сале, как я люблю. Подайте на сковородках. И побольше овощей, пожалуйста. Помидоры, огурцы...

— Малосольных огурчиков хотите, ребятки?

— Обязательно, Дуся, огурчиков. И пару бутылок холодного лимонаду. Запивать.

— Водочку я вам в графинчик налью, хорошо? — заглядывает Дуся в лицо Геннадию.

— Спасибо, не нужно. Теплая будет. Принесите нам сейчас по фужеру, а бутылку поставьте, пожалуйста, опять в лед, Дуся. Официантка уходит с веранды.

— Чудесно, а, Эд? — Гена любовным взглядом оглядывает пруд. Сразу за прудом — вольер с павлинами. Вдалеке темнеет между клетками туша слона. Порыв ветра приносит вдруг на веранду запах навоза и тошнотавый запах какого-то мускусного зверя. — Великолепно! — Красивое лицо Геночки озарено спокойным восторгом. Он ищет в жизни именно этого — красивый пейзаж, холодная водка, беседа с другом. Даже женщины для Геннадия второстепенны. Вот уже год, как в его жизни появилась красивая Нонна, которую Генка, по всей видимости, любит, но и Нонна не смогла отвлечь его от загулов в компании

ребят из "СС", от поездок в загородный ресторанчик, называемый Монте-Карло, от фланирования с Эдом по Сумской, от удовольствий бездельного времяпрепровождения. Эд Лимонов с удовольствием смотрит на своего странного друга. В Генке, кажется, нет абсолютно никаких амбиций. Он сам признавался не раз, что не хочет быть ни поэтом, как Мотрич и Эд, ни художником, как Бахчанян. — Вы рисуйте, пишите стихи, а я буду радоваться вашим успехам! — смеется Генка. Цилия Яковлевна и Анна считают Геннадия Гончаренко злым гением Эда, считают, что он спаивает Эда и уводит от Анны, но это их утверждение объясняется, разумеется же, ревностью. Правда, конечно, что Эд иной раз пропивает вместе с Генкой деньги, заработанные им шитьем брюк. Редко. Но не может же он пить на генкины деньги все время. В любом случае мизерные десятки, двадцатки, пропиваемые им с Генкой, не идут ни в какое сравнение с суммами, которые тратит Генка. И слово "пропивать" как-то не вяжется со стилем Великолепного Геннадия Сергеевича. В последний раз, когда они поехали кутить в Монте-Карло — загородный ресторанчик в Песочине, место загулов харьковских номенклатурных работников и кагебистов, Генка ехал в одном такси впереди, показывая дорогу, за ним катил Эд в другом такси, а еще сзади ехало пустое такси, которое Генка нанял просто так, для шика, чтоб образовать кавалькаду. В Монте-Карло в свое время, до язвы желудка, гулял Сергей Сергеевич, Генка унаследовал место от отца, персонал прекрасно знает Геннадия Сергеевича и всегда предоставляет ему отдельный кабинет. До встречи с Генкой Эд читал об отдельных кабинетах только в книгах. В Монте-Карло под окнами отдельного кабинета бродят цыплята и можно указать на понравившегося тебе цыпленка, и из него тебе сделают табака. Парадокс Монте-Карло заключается в том, что в общем зале ресторана обедают шоферы больших грузовиков. Рядом — крупнейшая автострада. А в кабинетах происходит сладкая жизнь...

Тетя Дуся приносит им закуски, водку, лимонад и каждому — пылающую и шипящую сковородку с яичницей. Генка с удовлетворением оглядывает яркий стол. Одной рукой он поднимает фужер с водкой, в другой у него стакан с лимонадом. — Ну, будем, Эд! Выпьем за великолепный августовский день и за животных нашего любимого зоосада!

— Будем! — подтверждает Эд, и они опрокидывают жгучий напиток в себя. И тотчас же запивают его лимонадом. И хватают по огурцу и, обжигаясь, едят яичницу...

* * *

— Ну как, Эд, досталось тебе вчера от Цили Яковлевны? — Генка решил перекурить и оторвался для этого от недоеденной яичницы.

— Ей-Богу, ни хуя не помню! — поэт смеется. — Помню, как ты высадил меня у подъезда из такси, я взялся за ручку двери, и все... как провалился, ничего не помню. Сколько времени было? Часа два?

— Ну какой два... От силы час. Детское время еще было. Рано ты что-то вчера отключился. А мы с Фимой поехали еще в аэропорт допивать...

— Вовсе и не отключился, — обижается поэт. — Я предыдущую ночь совсем не спал, писал до рассвета. Ну, разумеется, после бессонной ночи устанешь. Ты сам-то ведь даже блевал вчера!

— Я часто блюю, — спокойно соглашается Генка. — Так римляне поступали. В процессе оргий. Поблюют и дальше пьют и едят.

— Меня Цили-таки поймала у самой двери. "Вы куда? — говорит, — Эдуард?"

— А вы ей что, Эдуард Вениаминович?

— "За нитками, Цили Яковлевна, иду в магазин". А у самого туфли в руке. Хотел слинять неслышно.

— За нитками! — хохочет Генка. — Ниточки пошел купить Лимонов...

— Цили мне, конечно, не поверила. Но как женщина интеллигентная, не спросила русского зятя — а почему у вас, пьяница, туфли в руках, если вы идете за нитками? В походе за нитками никакого криминала нет...

— Ей стыдно уличать тебя во лжи. Вот что такое воспитание и образование. Русская бы теща разоралась на весь дом и оторвала тебе рукав, втаскивая тебя обратно. Хорошо все же, Лимонов, что ты живешь в еврейской семье... А Анна?

— Вчера Анна спала и носом свистела. Только и сказала,

открыв глаза: "Опять с Генкой напился, алкоголик проклятый!" — и уснула опять. Сегодня я спал, когда она уходила.

— Нужно Анне какой-нибудь подарок сделать, — морщится Генка. — Или вот что, Эд, давай подьдем к шести к киоску и заберем ее, пойдем все вместе в "Люкс", посидим?

— Можно, — не очень охотно соглашается Эд.

— Дуся, пожалуйста, еще по фужеру, — приказывает Генка. — Эд, к нам направляются первые представители козьего племени, совершившие уже утренний обход зоопарка.

К "харчевне" идет семья. Двое детей — мальчики лет десяти — несмотря на жару одеты в темно-синие шерстяные брюки. Брюки слишком длинны, манжеты, волочащиеся по земле, серы от пыли. Мать — корявого телосложения, неожиданно пожилая для такого возраста детей женщина, руки и ноги неловко торчат из слишком узкого и короткого платья в большие белосиние горошины. Отец — явно рабочий одного из многочисленных харьковских заводов — искусственного шелка желтая рубашка и черные брюки, сандалии на босу ногу, несет в руке авоську, а в ней нечто, прикрытое рваными и почему-то мокрыми газетами.

Угрюмые дети первыми поднимаются по ступенькам. За ними мать. Дав им взобраться на веранду, отец вступил ногой на первую ступеньку; Генка встает и, оправив галстук, принимает суровый вид: "Товарищи, товарищи... Вход воспрещен! Ресторан закрыт для публики. Сегодня у нас состоится всесоюзное совещание дрессировщиков бенгальских тигров. Вход только по приглашительным билетам!"

Семья безмолвно и покорно уходит, волоча за собой авоську. Эду даже становится жалко семейство козьего племени. — Зачем ты их так? — обращается он к другу. — Ну, выпили бы они лимонаду, сжевали бы свои бутерброды, и свалили...

— Шуму от козьего племени очень много, Эд. Ты обратил внимание на детишек? Как старички. Можешь себе представить, как бы они жрали, чавкая?

— Всех не разгонишь... Сейчас еще кто-нибудь появится.

— Дуся, будьте добры, поставьте на все столики на нашей стороне веранды таблички "Резервирован".

— Ох, Геночка, да у нас же нет таких табличек! — сокру-

ется Дуся. Из-под ног у нее внезапно выпрыгивает большой зеленый кузнечик и приземляется на соседнем столе. Деревня, какие тут таблички. Туалета нет, посетители бегают в овраг.

— В таком случае, напишите на листках бумаги "Зарезервирован" и положите на каждый стол. Разумеется, ваш труд будет оплачен.

Дуся уходит выполнять приказание. Ее покорность объясняется не только тем обстоятельством, что Геночка отвешивает ей, уходя, пятерку, а то и десятку, но и тем, что рестораник в зоопарке принадлежит непосредственно к ресторанной сети папы Сергей Сергеевича, а в своей сети папа — царь и Бог. Правда и то, что папа строго запрещает Геннадию использовать его служебное положение в личных целях, но властолюбивый Генка не может устоять против соблазна "использовать в целях". Власть — вот что любит Генка — внезапно понимает Эд. Власть — Генкина амбиция. У Генки замашки герцога и не меньший размах.

— Генка, почему бы тебе не вступить в партию и не стать большим человеком — секретарем райкома, скажем?

— Шутишь, да, Эд? Это, бля, жуткая скука — делать карьеру коммуниста. Хватит того, что мой папаша угробил полжизни, разгуливая на коленях.

Даже то, что Генка выругался, свидетельствует о его отращивании к карьере коммуниста. К идеологиям Генка равнодушен, политических взглядов у Генки нет. Генка ищет в жизни "кайф" — удовольствие, приключения, романтику. А какой кайф в протирании штанов на партийных стульях? Любимый Генкин фильм — "Искатели приключений" с Аленом Делоном и Лино Вентурой в главных ролях. Вот что любит Генка — поиски сокровищ, перестрелки, дорогие рестораны, хрусталь, коньяк, свечи, шампанское... Эд помнит расширенные зрачки Генки после фильма. Они смотрели "Искателей приключений" втроем — Генка, красивая как Генка Нонна и Эд. Генка не хуже Алена Делона выглядит, "красавчик" — называет его Бахчанян. Блондин, метр восемьдесят росту, светлоголубые глаза, прямой нос, благородная осанка. После фильма "Искатели приключений" они пили и гуляли несколько дней и были арестованы ночью на взлетной площадке харьковского аэропорта при попытке проникнуть в транспортный самолет. Чего они хотели от самолета,

навсегда осталось загадкой. Фильм "Искатели приключений", впрочем, начинается с того, что Ален Делон пролетает под Триумфальной аркой.

— Будем, Эд!

— Будем, Генка! — Эд любовно смотрит на друга.

3

— Пьют, негодяи!

Анна Моисеевна появилась в момент, когда Дуся в очередной раз наполняла юношам фужеры. Она стоит у веранды в траве, яркие глаза ее сердиты. Крупное тело затянuto в крепдешиновое платье — зелено-черно-белые цветы на теле Анны Моисеевны. В руке у Анны сумочка. Полуседые волосы завернуты в высокий шиньон. Чуть вздернутый нос придает ее красивому лицу задиристое выражение.

— Ганна Мусиевна! — гуляки дружно встают. — Идите к нам, Ганна Мусиевна, и съешьте с нами киевскую котлетку!

— Негодяи! Как вам не стыдно! С самого утра жрете водку... — фыркает Анна, но обходит по периметру веранду и поднимается по лестнице. Несколько представителей пролетариата, все-таки прорвавшиеся на веранду, с любопытством смотрят на происходящее.

— Подлец, обманул опять Цилю Яковлевну — бедную еврейскую женщину! "Он пошел за нитками!" Простодушная Цилия Яковлевна — дитя другой эпохи, ангел, на котором женился мой папа... Цилия Яковлевна не знает, что такое ложь! Она простодушно поверила этому чудовищу! "За нитками он пошел!"..

— Ну ударь меня! Дай мне пощечину, Анна! — поэт театрально поворачивается к подруге в профиль и подставляет щеку.

Геннадий Сергеевич становится изысканно любезен. — Простите нас, Ганна Мусиевна, ради Бога, и соблаговолите разделить с нами нашу скромную трапезу! — Генка берет руку Анны Моисеевны и целует ее. Затем, не отпуская ее руки, другой рукой отодвигает стул и чуть пригибает Анну к стулу. Все

еще сердитая, она садится.

— Дуся, пожалуйста, прибор для Анны Моисеевны... Анна Моисеевна, это я виноват в том, что ваш супруг находится здесь. Почувствовав себя одиноко и депрессивно сегодняшним утром, я обманом выманил Эда из семьи, преследуя исключительно личную и эгоистическую цель успокоения своей души...

— Бедная еврейская женщина... — Анна Моисеевна заводит обычный монолог-речитатив, по видимости не реагируя на реплики Генки и поэта. — ... я прибежала домой... в доме нет ни крошки... "Эдуард вышел за нитками", — растерянно объявила мама Циля... "Ушел в девять часов, мама! — сказала я, — сейчас одиннадцатый час. Он напился, мама!" — "Но может быть он еще вернется?!" — робко заметила верящая в тебя Циля Яковлевна... — Анна гневно посмотрела на поэта. Тот покорно наклонил голову, а Генка показал ему глазами и руками: "Терпи. Дай ей выговориться".

— Ты не оставил бедной еврейской женщине и рубля на еду, негодяй! — продолжает Анна, — между тем, мы прожили всю ее пенсию. У меня сейчас нет денег. Ты отлично знаешь, что я ничего не получила в аванс... После ревизии обнаружилась гигантская недостача, Геннадий, — апеллирует Анна к Генке. Генка сочувственно кивает. — Была надежда на то, что молодой негодяй закончит сегодня брюки Цинцпера и получит десять рублей, и Циля Яковлевна спустится на Благовещенский рынок и купит еды... а молодой негодяй сбежал...

— Ганна Мусиевна, — торопится Генка, пока Анна собирает силы для очередного куска монолога, — пожалуйста, согласитесь принять от меня скромное приношение, — он достает из бумажника десятку и двигает ее к Анне.

— Нам не нужны ваши деньги, Геннадий Сергеевич! — гордо объявляет Анна, но смотрит на десятку заинтересованно.

— Возьмите, Ганна Мусиевна! Это ведь я сманил Эда к природе от брюк Цинцпера... Следовательно, я плачу неустойку.

— А что? — Анна Моисеевна вопросительно глядит на поэта. — А что, и возьму... Ведь нам есть нечего. В доме нет ни крошки...

— Не смей... — шипит поэт. Он проклиная себя за то, что

забыл оставить Циле Яковлевне хотя бы пятерку из пятнадцати рублей, которые у него остались. Теперь Анна имеет право читать ему мораль и называть молодым негодяем. Вообще-то Анна побаивается своего молодого поэта, хотя она и старше его на шесть лет. А уж весу в ней, может, вдвое больше, чем в поэте.

— Возьму! Вы все равно пропьете! — При помощи ловкого движения десятка оказывается в руке Анны Моисеевны и затем исчезает в ее сумочке.

— Выпейте, Анна Моисеевна, водчонки! — Генка сам наливает Анне из оставленной на сей раз Дусей бутылки столичной. — Выпейте и забудьте заботы.

Анна не выдерживает и улыбается. — Негодяи, вы третий день пьете! И не разу не вспомнили о бедной еврейской женщине, томящейся в газетном киоске. Хотя бы раз зашли в перерыв и пригласили еврейскую женщину в ресторан. — Анна выпивает водку осторожно и морщась, не так как поэт и Генка.

— А как же вы нас нашли, Анна Моисеевна? — Генка не скрывает своего удовольствия и восхищения. Он любит, чтобы что-то происходило. Им уже стало немножко скучно трепаться вдвоем, и теперь вот, пожалуйста, неожиданное явление Анны Моисеевны.

— Генулик! — Анна смотрит на Генку с нескрываемым снисхождением. — Вас и молодого негодяя в единственном на весь город какао-костюме с золотой ниткой все знают. Во-первых, я зашла в "Театральный" и мне сказали, что вас видели утром идущих вверх по Сумской. Я зашла в "Люкс", и вас там не было. В "Трех мушкетерах" тоже не было. Я обежала все ваши места, и в "Автомате" Марк сказал мне, что молодой негодяй в вашей компании, Геннадий Сергеевич, углубился в Парк Шевченко... Куда могут идти такие люди, как вы, в такое время года, когда природа вся раскрылась до невозможности, и каштаны созревают, и цветы пахнут, и мир делает любовь бесконечное количество раз? — спросила я себя. — Анна Моисеевна вздохнула. Пышные выражения — ее слабость. Очень часто она еще сдабривает свою речь строчками живых и умерших поэтов. — Такие люди как Генулик и молодой негодяй могут пойти только в харчевню к Дусе, — сказала я себе, и прибежала сюда. — Анна Моисеевна остановилась, довольная собой. — И вот, по-

жалуйста, — я здесь. На работу я не пойду! — объявила она, посмотрев на свои часики. — Ни за что! — подчеркнула она и вызывающе посмотрела на "мужа". — Скажу, что заболела.

— Вы можете устроиться Шерлок Холмсом в КГБ, Анна Моисеевна, — одобрил Генка. — Вполне свободно.

— Ленька Иванов утверждает, что Шерлок Холмс был кокаином. Что в перерывах между расследованиями он нюхал кокаин... — сообщает поэт, выпив свою водку.

— Ленька Иванов — мишугэн, — авторитетно заявляет Анна. — Его и из армии комиссовали именно потому, что он мишугэн.

— Ничего подобного. Ленька сам хотел свалить из армии. Когда Ленька уже сержантом приезжал в отпуск, Викторushка его научил, что сделать. Самое умное — косить на шизу. Виктор рассказал Леньке, как он сам комиссовался. И Ленька, вернувшись в часть, проделал то же самое. Во время обеда ворвался в кухню, надел котелок с кашей себе на голову, котлетки воткнул под сержантские погоны и в таком виде выбежал в зал столовой... А в другой раз он ворвался в клуб, где солдаты смотрели фильм, и сорвал со стены экран... Но все это только для того, чтобы свалить домой, вообще-то Ленька здоровее нас с Генкой, — заключает Эд апологию Иванова.

— Я думаю, Эд, Анна права, Ленчик Иванов все-таки шиза, — не соглашается Генка. — Не буйный, но достаточно безумный. Ты замечал, какой у него взгляд?

— Ой, а кто здоровый? Ганна Мусиевна здоровая?! — поэт презрительно смеется.

— Я пыталась покончить с собой только один раз. А ты, Эд, — много раз! — почти кричит Анна и вскакивает со стула. — Да, я получила первую группу инвалидности как шиза, но мне было 19 лет, и меня бросил этот сукин сын — мой первый муж. Когда тебе 19 лет, то ты еще доверяешь людям! — Анна Моисеевна, бросив агрессивный взгляд в насторожившееся козье племя, садится.

— Черт с ним, с Ивановым... — успокаивает их Генка. — Давайте выпьем за вас, Анна Моисеевна, и за вас, Эдуард Вениаминович, за ваше содружество. Да будет оно долгим и прочным!

— За наше сожительство! За наш незаконный брак! — смеется Анна. — За нашу ситуацию! Ты знаешь, Генулик, когда молодой негодяй уже жил со мной в моей комнате, но мы делали вид, что он со мной не живет... Я громко хлопала дверью на ночь, обманывая мою бедную мамочку... Так вот, тогда моя тетка Гинда предложила нам поселить в маленькую комнату двух квартиранток-девочек, дабы улучшить наше материальное положение. Интеллигентная Циля Яковлевна не могла признаться сестре своего умершего любимого мужа, что ее дочь держит в комнате мальчишку на семь лет моложе ее и спит с ним. "Ах, Гинда, у нас в доме такая ситуация!" — только и сказала моя мама. Бедная моя мама! Как ей не повезло в жизни. Папа Моисей умер от инфаркта, у дочери никак не складывается личная жизнь...

— Зато вторая дочь замужем за директором фабрики. Живет в Киеве, на главной улице — на Крещатике, в буржуазной большой квартире. О таком зяте, как Теодор, можно только мечтать. Директор фабрики...

— Сестрица порядочная, даже тошно, — соглашается Анна Моисеевна, поедая малосольный огурец, — но моя племянница Стеллка — блядь. И обещает быть еще более ужасной блядью. Она уже сейчас не пропускает ни одного мужика. Генулик, у этой долговязой Стеллки по пачке хуев в каждом глазу... Первый аборт девчонка сделала в 14 лет!.. Да я лишилась невинности только в восемнадцать...

Генка хохочет. — Другие времена — другие нравы, Анна Моисеевна!

— "О, Лотрек, ведь тебе никогда не достать до педалей!" — вдруг скандирует Анна. — "О, Лотрек... все ли бары ты нынче облазил... Всех ли баб перелапал?"... — Анна замолкает, как обычно потеряв следующие строчки.

— Это чьи? — спрашивает Генка с уважением, он считает Анну интеллигентной и начитанной женщиной.

— Милославский. Из ранних стихов, — морщится Эд. — Юра позирует, французит и гнусавит. Блатную романтику парижской жизни в кафе и ателье разводит. Лотрек...

— "А еще я запомнил как те Магдалины все латали шинели рябому Христу..." — нахально глядя на "супруга", Анна

опять читает Милославского. И, разумеется, не помнит последующих строчек. "Три бандита с Афродитой у костра!" — выдает она и замолкает.

Анькина память заполнена обрывками стихов, песен, когда-то услышанными или прочитанными умными фразами, изречениями философов и писателей. Время от времени Анна извлекает на свет божий обрывок, линию, строчку, фрагмент и украшает ими свои монологи, которые она произносит при всяком удобном случае. Когда они только познакомились, юноше с харьковской окраины, только что уволившемуся по собственному желанию из литейного цеха завода "Серп и Молот", эрудиция Анны Моисеевны казалась вершиной интеллигентности. Сейчас Эдуард, ставший Лимоновым, подсмеивается над анькиными "потокami сознания". Он затягивает нараспев, подражая напыщенному романтизму, с каким, так ему кажется, Анна читает стихи:

Подайте мне женщину синюю-синюю

Я проведу на спине у ней линию

И на той линии буду женат...

Ах мне бы не надо бы с нею женатиться

Лучше с котами на крыше лунатиться...

— Замолчи, подлый Савенко! — кричит Анна. — Не коверкай стихи моего друга Бурича. Ты еще не дорос до их понимания!

— Плохой поэт, — безжалостно констатирует Лимонов. — Я, Генка, долгое время считал, что Бурич хороший поэт, во всяком случае оригинальный, и вдруг — попадаетея мне в руки книжка польского поэта Ружевича. И что же я вижу, Генка?! Манера Ружевича как две капли воды похожа на манеру Бурича! А! Как это называется? Плагиат! Особенно, если учесть, что Бурич и его жена делают деньги, переводя польских поэтов!

— Бурич прекрасный поэт! — глаза Анны с неуверенной ненавистью упираются в "супруга". — Именно потому Вову Бурича так мало и неохотно печатают.

— "Вову..." — фыркает "супруг". — Да он, говорят, уже лысый как колено. Вагрич видел его в Москве, твоего Вовика. Толстый, обожравшийся жлоб. Буржуа от литературы.

— Неправда! Бурич очень красивый. Кудри как у Аполло-

на... Бах, наверное, ошибся, и это был не Бурич...

— Как же, ошибся... Он это был — Аполлон, друг твоего мужа — гения из Симферополя...

— Они все были очень талантливые, Генка. Не слушай молодого негодяя. Талантливые и необыкновенно интеллигентные. Они все знали. Они все время читали. Они были образованнее вас...

— Талант не имеет ничего общего с образованием, — морщится Эд.

Эдуард ревнует Анну к ее поколению. К бывшему мужу — режиссеру телевидения, к друзьям мужа, перебравшимся в Москву — поэту Буричу, кинокритику Мирону Черненко, к художнику Брусиловскому. Для харьковских юношей возраста Эда, для богемы и декадентов, по несколько раз в день приходящих в "Автомат" выпить чашечку кофе, Москва, как для чеховских трех сестер, горит впереди манящим ослепительным светом, символом успеха и победы. Из сверстников Анны особенно знаменит художник Брусиловский. Вагрич Бахчанян отзывается о работах Брусиловского с почтением. Брусиловский давно уже выставляется и на международных выставках и время от времени репродукции его вещей печатают западные журналы. Меньше всех добился бывший муж Анны, он и живет не в Москве, но в Симферополе. Эдуард очень хочет в Москву, потому и примеривает предыдущее поколение (они на десять-пятнадцать лет старше) на себя. Примеривает, оспаривает, и высмеивает Анькино прошлое во имя ее настоящего с ним, Эдуардом Лимоновым.

Солнце вдруг скатывается с крыши харчевни прямо на стол, и деревянный, отскобленный, много раз мытый, уставленный тарелками с закусками, сосудами с водкой и лимонадом, стол вдруг вспыхивает. Очень красивый у них стол, читатель. Салат из красных, как кровь, украинских помидоров и нежно-зеленых огурцов, на которых каплями вспыхивает подсолнечное масло, много раз преломившееся в фужерах и граненых стаканах солнце, много солнца, месиво солнца на столе. Загорелые темные руки поэта, руки Анны, ее ногти, как всегда покрытые необыкновенным лиловым лаком, Генкина красивая

рука, обхватившая стебель фужера... Камень в генкиной запонке, вдруг поймав в себя солнце, испускает тонкий красный луч.

— Камень настоящий? — Анна хватается Генку за руку. В голосе ее уважение.

— Какой там! — Генка смеется. — Фальшивый. Но модно. Настоящий я бы давно заложил.

— Ох, Генулик... Сергей Сергеевич когда-нибудь получит разрыв сердца из-за тебя.

— Пустяки, Анна. У папы много денег. И потом он мне кое-что должен в этой жизни...

4

Эдуард Савенко познакомился с Анной Моисеевной Рубинштейн осенью 1964 года. Познакомил их Борька Чурилов. Эдуарду был 21 год, и он только что уволился с завода "Серп и Молот", где проработал вместе с Чуриловым в литейном цехе целых полтора года. Коротко стриженный, загорелый, мордастый рабочий парень, шутившийся, скрывая сильную близорукость, искал работу, и ангел-хранитель Борька привел его в магазин "Поэзия", где нужен был книгоноша. Красивая, седая в 27 лет, там, поцокивая острыми металлическими каблуками и любопытно вспыхивая голубыми с фиолетинкой глазами, расхаживала Анна Моисеевна. А должность книгоноши уже была занята.

Проще всего было бы объяснить их сближение тем, что рабочему парню была нужна мама. Но примитивный фрейдизм в данном случае не выдерживает никакой критики в применении к такой своевольной и полностью самостоятельной личности, как Эдуард Савенко. И Анна Моисеевна Рубинштейн, безумная, эксцентричная и вулканическая женщина, неспособна была быть кому бы то ни было мамой. Посему напрашивается взамен фрейдистского скорее объяснение социально-психологическое. А именно: Эдуарду Савенко нужна была среда. И люди, среди которых жила Анна Моисеевна, ему подходили. К двадцати одному году, побывав вором, взломщиком, литейщи-

ком, монтажником-высотником, грузчиком, пропутешествовав по крымам, кавказам и азиям, иной раз начиная писать стихи и бросая писать стихи, он так и не нашел себя. Он не знал, кто он.

В литейном цехе он хорошо зарабатывал, и портрет его висел на Доске Почета. У него было шесть костюмов, три пальто, и каждую субботу он аккуратно выпивал восемьсот грамм коньяка в ресторане "Кристалл" в компании друзей — молодых рабочих и девушек. С сыном директора "Кристалла" Генуликом, разумеется, он тогда знаком не был. Девушки с соседнего участка, лепившие из парафина литейные формы, называли нашего героя "раб" за непонятную старательность и приверженность к тяжелой и грязной, в три смены, работе обрубщика. Напарник по обрубке, пятидесятилетний жлоб дядя Сережа, похожий на краба, считал Эдуарда чокнутым, но трудолюбивым парнем, и называл его "Ендик". В один прекрасный день "Ендик", к полной неожиданности дяди Сережи и всей комплексной бригады литейщиков (он работал тогда уже завальщиком шихты в печи) подал на расчет. Ему стало скушно. Ему надоело.

Истинная причина, так никогда никому и не ставшая известной (а у всякого события кроме явной всегда есть истинная — тайная причина) заключалась в том, что весной 1964 года Эдуард познакомился с неким Михаилом Кописсаровым, уже разыскиваемым всеми уголовными розысками Страны Советов за крупные мошенничества в сфере кредитных операций. Маленький гениальный еврей, недоучившийся в Горном институте, бежал в Харьков из Донбасса, где он вот уже несколько лет работал мастером на шахте. Кроме этого он еще работал главой организованной им банды махинаторов. Мишка явился в Харьков вместе с напарником Виктором, всю остальную банду арестовали. В Харькове у Мишки была семья — мать, отец и брат Юрка — честные труженики уже известного нам завода "Серп и Молот". Стоя у обоссанного забора, перепуганный Юрка познакомил Эда с братом-преступником. Мишка Эдуарду понравился. Мишка был маленький, веселый, носил усы и имел замашки миллионера. Из Донецка он, например, каждую неделю летал в Москву стричься.

Деньги у Мишки были. Ему нужны были два паспорта. Для себя и напарника Витьки. И наш герой, вспомнив свое преступное прошлое, тряхнул стариной — помог Мишке достать паспорта, связал его с ребятами из общежития "Серпа и Молота". Ребята "нашли" Мишке паспорта по 35 рублей штука — украли у других ребят в том же общежитии.

Мишка осел в Харькове и развернул кредитные операции. Каждый день Мишка и Витька выходили из гостиницы "Красная звезда", находившейся на улице Свердлова, там они жили в соседстве с майорами и капитанами, гостиница была военная; отправлялись в набег на харьковские магазины. По украденным паспортам и поддельным справкам с места работы они "брали в кредит" вороха золотых часов, ювелирных изделий, дорогих отрезов на костюмы и пальто, даже телевизоры. Все эти блага цивилизации доставались мошенникам за менее чем четверть цены, а сбывали они их оптом по подпольным каналам. Однажды Эд, много раз приглашенный Мишкой в рестораны, желая отблагодарить его, представил Мишку знакомым восточным людям с Конного рынка, и те купили у Мишки большую партию товара. В другой раз любопытный рабочий Савенко, в ту неделю он был на третьей смене, несколько раз протаскался вместе с мошенниками по ювелирным магазинам, наблюдая, как Мишка и Витька работают.

Даже законопослушные люди бывают очень нервными. Что же ожидать от преступников, у которых такая нервная работа. Вскоре Мишка и Витька разругались и подрались. И навсегда расстались. Драка происходила в гостинице "Красная звезда", и во время драки напарники метали друг в друга отрезки и ювелирные изделия, вызывая ужас осторожного честного Юрки и беспокойство менее осторожного рабочего Эдуарда.

Через несколько дней Мишка пригласил Эдуарда в ресторан и, в конце обеда, за коньяком, закулив сигару, официально, тоном гангстера из западных фильмов, предложил ему работать с ним. Страхивая пепел, Мишка вынимал из карманов небрежно смятые горсти двадцатипятирублевки, расплачивался и одновременно рисовал Эдуарду заманчивые перспективы их совместной "работы" в Одессе, Киеве и Симферополе.

— А потом, Эд, мы со всем добром (но будем специализироваться только по ювелирным изделиям) двинем на Кавказ и продадим там все сами. Здесь, в Харькове, нам приходится отдавать товар чучмекам за полцены, там мы продадим его по настоящим ценам. А, Эд?..

Когда вам 21 год, читатель, и вам предлагают деньги и путешествия, ну как тут устоишь? Эдуард, которому осточертела бесперспективная работа в горячем цеху, согласился.

Мишка решил отправиться вначале в Одессу. В Харькове, основательно попотрошенном за лето Витькой и Мишкой, оставаться было уже опасно. Поводом к разрыву между напарниками послужило, увы, реальное опасное происшествие, при котором присутствовал, так случилось, наш герой. Мишка (он утверждал, что зав. кредитным отделом большого универмага поняла, что фотография на паспорте переклеена, а может быть, у него просто сдали нервы) бежал из универмага, опрокидывая народ. За ним бежали Витька и Эдуард. Но Мишка оставил в руках врага украденный в общежитии паспорт и свою фотографию! Мишка хотел убраться из Харькова немедленно.

Эдуард обрадовался возможности мгновенно изменить жизнь и сказал, что готов к отъезду хоть сегодня. — Нет, — уперся вдруг Мишка, — рассчитайся с работы как положено. Напиши сегодня заявление и проработай положенные двенадцать дней. Хотя бы один из нас должен иметь паспорт, к которому не приебешься. Прописка, все штампы на месте чтоб были”.

Эдуард недовольно надулся. — Послушай старшего и опытного товарища, — сказал Мишка. — Никогда не делай ничего нелегально, если возможно достичь того же легальным путем... Я поеду в Одессу и отдохну там пока, ”работать” не буду. Через двенадцать дней ты ко мне присоединишься. Как только устроюсь, дам тебе телеграмму с адресом в Одессе... Между прочим, у тебя нет знакомого боевого парня, готового поехать со мной. Я плачу, разумеется. Ему незачем знать о наших делах. Мне нужен телохранитель.

О, у Мишки Кописсарова был размах! Парня Эдуард ему нашел, здоровенный спортсмен Толик Лысенко уехал с Мишкой в Одессу в тот же вечер. Эдуард подал заявление на расчет и стал ждать...

Прошли двенадцать дней, начальник цеха два часа уговаривал "раба" не увольняться, но наткнувшись на каменную решимость, выругался и подписал расчет. Эдуард получил расчетные деньги, а телеграммы от Мишки все не было. "Неужели он меня обманул?.. — уныло размышлял Эдуард. — Но так зло как будто бы не шутят..." "Рабу" хотелось новой необыкновенной жизни, детская мечта о том, чтобы сделаться большим преступником, казалось, была так близка наконец, и вот...

Через три недели после мишкиного отъезда в дверь семьи Савенко постучали. Эдуард открыл. Перепуганный и виноватый Толик Лысенко стоял за дверью. — Идем, нужно поговорить, Эд! — Они вышли и побрели на пустырь. Толик все время оглядывался. Усевшись на штабель теплых кирпичей, Толик поведал ему одесскую историю.

Поначалу все было очень хорошо. Дав взятку, Мишка и Толик устроились в самое безопасное место, в санаторий КГБ! Играли в теннис, загорали, купались... Мишку заложила бывшая подружка, актриса театра оперетты. Она увидела Мишку случайно на Дерибасовской, узнала, окликнула и согласилась прийти на свидание. На месте свидания Мишку взяли. Актриса, оказывается, знала, что его разыскивает уголовный розыск, к ней приходили еще весной, расспрашивали о Мишке... О, женщины... Мишка чем-то остался виноват перед актрисой. Бросил ее, что ли, когда-то...

Верный своему образу мошенника с размахом, Мишка, которого должны были везти в Донецк, на место совершения преступлений, чтобы там расследовать и судить, закупил на наличные себе и двум агентам отдельное купе в первом классе и всю дорогу пьянствовал с ними. Агенты не возражали, ибо мишкины деньги все равно должны были достаться государству, то есть никому.

С месяц Эдуард жил тревожно. Несмотря на многолетнее знакомство и как будто вполне правдоподобные объяснения Толика Лысенко, почему его не арестовали вместе с Мишкой, Эдуард допускал возможность того, что Толик заложил Мишку. Все предают всех и чужая душа потемки. Или Мишка мог расколоться на следствии и впутать в дело его и Толика.

Но Мишка не раскололся и даже Витьку не выдал. Он да-

же умудрился скрыть от мусоров свой харьковский период. Только за "работу" в донецком бассейне ему вlepили девять лет строгого режима. Имя Михаила Кописсарова, впервые ограбившего советское государство в сфере кредитных операций, возможно обнаружить в советских учебниках по криминологии. Что касается нашего героя, то он, как видите, второй раз (первый в 1962 году, когда мать упростила его отправиться вместе с ней на день рождения к тете Кате, и Костя Бондаренко, Юрка Бембель и Славка "Суворовец", зайдя за ним, не застали его дома и отправились на дело без него) чудеснейшим образом спастся от тюрьмы.

5

Борька Чурилов все же устроил своего неизменного протеже в книгоноши. В магазин № 41, отколовшееся от магазина "Поэзия" звено. Заведующая Лиля — маленькая злая блондинка, которую Анна окрестила "фашисткой", взяла "мальчика" с удовольствием. В магазине работали только "девочки". Лилия, Флора и "Задохлик" в изношенной шубе.

Каждое утро он прибывал на трамвае с Салтовского поселка. Каждое утро происходила операция записывания книг, которые он с собой понесет, на то место, где, разложив их на раскладном столе, будет их продавать. После переписи книг совершалась операция заворачивания книг в стопки. На первых порах, обучая его, ему разрешили торговать на Сумской улице, у самых дверей магазина № 41. Позднее он торговал в фойе кинотеатра "Комсомольский" или в других столь же людных местах.

Профессия книгоноши представляет из себя нечто вроде профессии коробейника или продавца бубликов. Книгоноша получает мизерное жалование, но имеет право на определенные проценты с продажи книг. Самым выдающимся книгоношей Харькова, к моменту вступления Эдуарда Савенко в должность, считался по праву бывший железнодорожник Игорь Иосифович Ковальчук, работавший попеременно для всех книжных мага-

зинов города. Ни в начале своей карьеры книгоноши, ни в конце ее Эдуард Савенко, разумеется, не мог сравниться с Игорем Иосифовичем в продуктивности. Игоря Иосифовича нанимали, чтобы спасти план. Его переманивали и подкупали. Потому что Игорь Иосифович мог продать любую книгу. Обыкновенно он раскидывал свои несколько столов в центре площади Тевелева и, как восточный купец, вздымая к небу книгу, расхваливал хриплым голосом свой товар: "А вот история ужасающего античного преступления! Борьба белой и черной магии!" Проходить трудно было устоять против такого зова. У лотков Игоря Иосифовича всегда толпился народ. История же ужасающего античного преступления была всего-навсего завалившимся на складе скучнейшим томом из серии "Сокровища Мировой Литературы", выпущенным издательством "Академия Наук".

"Эд", как его называла Анна до появления в обиходе фамилии "Лимонов", стеснялся. Он робко топтался за своим столом, уложенным книгами. Иногда столов бывало два. Эд топтался и большей частью молчал, или улыбался застенчиво. Несмотря на опасную бритву, часто населявшую нагрудный карман книгоноши, книгоноша сорок первого магазина не был наглым юношей. Иногда в подкрепление ему Лиля высылала "Задохлика" — худое существо женского пола, всегда закутанное в облезлую старую шубу. Нос у "Задохлика" все время мерз и, длинный, был на кончике синеватого цвета.

Эдуард Савенко зарабатывал мало. Точнее сказать, почти ничего. Однако скоростными темпами совершалась в октябре, ноябре, декабре трансформация полупреступного рабочего парня в кого-то иного, еще не совсем понятно в кого, но как минимум он переходил все эти холодные месяцы в другой социальный класс. Читатель представляет себе, как нелегко такой процесс. Иногда для подобного перехода требуются усилия нескольких поколений!

Всякий вечер книгоноша торопился приволочь и сдать пачки книг и столы в магазин № 41. Так пчела спешит в улей, птица в гнездо, легкий самолет к авиа-матке. Книгоноша очень спешил — его ждало на свидание будущее, спрятавшееся в аллеях Парка Шевченко, в "закусочной-автомате" на Сумской, в немногих харьковских комнатах. Будущее пряталось в ве-

черные городские сумерки, драпировалось в одежды несколько старомодные — символистические и сюрреалистические. Хотя и провинциальный, но бывшая столица Украины, Харьков умел играть в культурные игры.

Вокруг было много людей. Сотни по меньшей мере. Людей интересных и новых, ни на кого не похожих. В маленькой "подсобке" сорок первого магазина всегда сидели люди и жадно читали рукописи. По большей части стихи. Бритый наголо физик Лев, только что вернувшийся из командировки в Ленинград, привез пятый или шестой экземпляр поэмы Бродского "Шествие". Ранняя, подражание Цветаевой, поэма эта особенной художественной ценности не представляла, но как нельзя лучше соответствовала той культурно-социальной стадии, на которой находились (и, по-видимому, всегда будут находиться) Харьков и большинство "декадентов", курсирующих в треугольнике между сорок первым магазином, магазином "Поэзия" и "Автоматом". Посему поэма пользовалась необыкновенной популярностью. Бродского читали в живой очереди, с открытия магазина до закрытия. Одним из читавших был поэт Мотрич.

Оглядываясь назад и определяя величину поэта Мотрича в перспективе времени, следует нехотя сознаться, что Мотрич не был ни гением, как казалось в 1964 году его поклонникам, ни даже сколько-нибудь значительным поэтом. Если в нем и была искра оригинальности, то весьма незначительная. Однако Владимир Мотрич — бывший мастер опять напоминающего нам о себе славного завода "Серп и Молот" (позднее наш Савенко вдруг вспомнил, что Борис Чурилов водил его в калильный цех, где трудился "настоящий поэт" Мотрич еще в 1963 году), вне всякого сомнения был ПОЭТ. Подлинный ПОЭТ, так как поэт — это не только и не столько стихи, как дух, аура, напряженное поле страсти, излучаемое личностью. А Мотрич излучал, о да...

Однажды... Эд-книгоноша сдал книги и директриса-Лиля на счетах сложила цены книг и прибавила к ним вырученные за день деньги... Операцию эту следовало производить ежевечерне, но и книгоноша и директриса по занятости и лености ограничивались подсчетом еженедельным... Увы, нехватало 19 руб-

лей. В скверном настроении Эдуард выбрался из полуподвала, собираясь спуститься вниз по Сумской, чтобы дойти до трамвайной остановки, с которой трамвай понесет его в направлении наскучившей ему Салтовки... Но прямо с последней ступеньки книгоноша воткнулся лицом в движущуюся и смеющуюся стену, образованную девушками Милой и Верой и поэтом Мотричем. Шел снег, длинное и худое тело поэта Мотрича было облачено в знаменитое черное пальто с воротником-шалькой. Харьковские символисты-романтики уже успели окрестить новое пальто Мотрича "барской шубой". Есть основания полагать, что и сам Мотрич считал свое пальто барской шубой. Во всяком случае он часто и с удовольствием декламировал соответствующее стихотворение Мандельштама.

— Эд! — окликнул Мотрич книгоношу. Он был таинственно-радостный. Хмурая улыбка была на хорватском лице поэта со впалыми темными щеками и длинным хищным носом, из ноздрей, днем их было видно, торчали темные жесткие волоски... — Ты ведь Эд? И работаешь здесь, у Лили?

— Да, — сознался книгоноша, — это я.

— Прекрасно! — одобрил Мотрич, а девушки рассмеялись звонко.

— Ты что делаешь, Эд? Ты занят?

— Иду домой, — уныло сообщил книгоноша. — Не занят. Уже неделю он работал "у Лили" и с завистью наблюдал, как к вечеру образуются компании, группируются в магазине или около него, и отправляются, веселые, куда-то в вечерний таинственный Харьков. Эд-книгоноша обычно ехал домой. Один раз Борька Чурилов, он был в первой смене, сводил Эда в "Автомат", также называемый "Пулеметом". В ярко освещенном дневным светом ужасно современном длинном кафе самообслуживания стояли снобы в пальто до горла и расклешенных брюках и пили из крошечных чашечек кофе. Один был даже с зонтом-тростью.

— Хочешь пойти с нами выпить? — спросил Мотрич и объяснил причину. — Сегодня первый снег.

— Хочу, — согласился книгоноша, едва не задохнувшись от радости. Мотрич был первый живой поэт, которого он встретил в жизни. Как же можно было отказаться от приглашения

первого живого поэта выпить по поводу первого снега?! Мила взяла книгоношу под руку, и они пошли четверо вверх по Сумской, и падал снег, и они все почему-то смеялись...

Они выпили кофе и портвейна в "Автомате". Книгоноша, удостоенный неизвестно за что чести быть принятым в антураж Мотрича, был представлен множеству снобов и множеству молодых людей другой категории: нарочито плохо одетых и невеселых. "Богема", — объяснил Мотрич, заметив почти испуганное выражение бывшего сталевара, когда бледный с зеленою юноша в солдатской шинели без хлястика и погон, в черных, разваливающихся ботинках, оставляя после себя мокрые следы (вне сомнения, ботинки его протекали), отошел от них, перебросившись несколькими словами с мэтром Мотричем.

— Кучуков — художник-сюрреалист, — прокомментировал Мотрич. — Его папаша — полковник милиции... — И видя, что полковник милиции не произвел на книгоношу особого впечатления, добавил: — Но это еще не самое удивительное, Эд. Юрка — остяк, последний представитель вымершего сибирского племени. Он утверждает, что его предком был хан Кучум... тот самый, побежденный Ермаком Тимофеевичем...

Врет, наверное, парень — подумал недоверчивый книгоноша, но Мотричу своих сомнений не поверил, постеснялся. У других юношей, представленных ему Мотричем и девушками в тот вечер, были не менее захватывающие родословные и краткие биографии.

Отстояв в "Автомате-Пулемете" час, причем Мотрич выпил три "тройных" специальной крепости чашечек кофе, приготовленных ему "тетей" Шурой, они приобрели в гастрономе пару бутылок портвейна и, перейдя Сумскую, отправились вглубь белого уже от снега Парка Шевченко. Компания увеличилась за счет круглолицего парня Толика Мелехова, учившегося на филологическом факультете Харьковского университета и дежурившего ночами в котельной многоэтажного дома. Присев на скамейку, Вера вязаными варежками предварительно долго и с удовольствием смахивала со скамейки снег, они стали слушать топчущегося в снегу перед скамейкой Мотрича. Барская шуба поэта была расстегнута, в одной руке он держал бутылку с портвейном и время от времени делал хороший гло-

ток. Мотрич читал стихи. С удовольствием, как едят мясо изголодавшиеся люди. Чуть ли не с урчанием и чавканьем читал он. Вещественно, а не как словесность, изящная и легкая и несуществующая, выходили стихи из хорватского горла. Он читал Мандельштама и "Крысолова" Бродского, читал СВОИ СТИХИ...

"И сам Иисус как конокрад
В рубахе из цветного ситца..."

Глубокий шепот (и особенно все тревожные, как звук бормашины, "с" в имени Ииссс-уссс) первого в жизни юноши Савенко живого поэта заставил подняться волоски на теле книгоноши. Неподвижно, загипнотизированные, приоткрыв рты, глядели на Мотрича прижавшиеся друг к другу подружки в шубках — Мила и Вера. Может быть слышавшие стихотворение сотню раз...

— Прочти деревянного человечка, а? — попросил студент Мелехов, — Володя.

Володю не нужно было заставлять. Подойдя ближе к книгоноше, как к самому свежему зрителю, Мотрич распел историю про деревянного человечка. Деревянный...

"Жил он в комнате чердачной —
сто ступенек винтовых
и на каждой неудачу
человечек находил..."

Книгоноша узнал, что деревянный человечек любил нехорошую куклу, которая ему изменяла, подлая.

"Из стекла цветные бусы
В битых стеклышках душа
Кукла к розовому пупсу
На свиданье тайно шла...
И от куклы бессердечной
Убегал к себе наверх
Деревянный человечек
Деревянный человек..."

Несмотря на несколько тяжелых криминальных историй, на несколько заводов, на которых ему пришлось работать, на длительные, не совсем невинные путешествия по крымам, кавказам и азиям, книгоноша не знал еще природы кукол, и не

знал, что это в порядке вещей, мир так устроен, что куклы всегда тайно идут на свидание к розовым пупсам. Хорват, семью которого неизвестно каким ветром занесло в Харьков, убеждал его, опережая собственный опыт книгоноши... и Эдуард Савенко верил, что природа кукол такова... Вот она, сила искусства. В миг понял тогда Эд Савенко, еще не ставший даже Лимоновым, что его ждет. Понял, и забыл.

Глядя на темноликого поэта (хорватская щетина неумолимо прорастала сквозь кожу), книгоноша дал себе слово стать поэтом, как Мотрич. "Во что бы то ни стало..." — прошептал упрямец. Чтобы две девушки в шубках, прижавшись друг к другу, неотрывно глядели на него. Чтобы круглолицый ученый Мелехов одобрительно и восхищенно улыбался и беззвучно шевелил губами, может быть отсчитывая ритм в стихе... Выбор профессии был сделан...

До трех часов ночи стоял Мелехов с книгоношей на трамвайной остановке и читал ему стихи. В ту снежную ночь конца 1964 года впервые услышал книгоноша имена Хлебникова и Ходасевича. Имя Андрея Белого. И может быть еще с дюжину не менее славных имен. Давно ушел на Салтовку последний трамвай, а сын дворничихи Мелехов все просвещал неопита, удивляя его огромностью мира культуры, просторной высотой его светлого здания-храма. И мудрые речи Василия Васильевича Розанова услышал в ту ночь сын маленького советского офицера. Узнал о людях странных, смешных, больных, талантливых и безумных, о лучших русских, вот уже полстолетия оттесненных посредственными русскими во тьму малодоступности.

Судьба Мелехова сложится трагично. Но вряд ли разумно спешить пересекать годы и сообщать об этом сейчас. Домой книгоноша пошел пешком. Ему понадобилось почти два часа на то, чтобы добраться по белым харьковским улицам до Салтовского поселка и войти, наконец, в свою совместно с родителями занимаемую соту, и лечь на диван, служащий ему постелью. Однако заснуть ему так и не удалось...

На следующий день Мелехов в пластиковом модном пальто, выглядевший неуклюже, его круглая, простая физиономия совсем не вязалась с футуристским изделием рижской фабрики, пришел в грязное фойе кинотеатра "Комсомольский", где книгоноша устроил свои столы. Он вынул из сумы, висевшей у него на боку, пожелтевшую от времени книгу в изодранном бумажном переплете, тщательно завернутую в кальку. — Вот! — сказал Мелехов. — Начни с этого. Это заложит основы. Фундамент. Без этой книги тебе будет недоступен современный мир. Если чего не поймешь — не пугайся. Не обязательно ты должен постичь все сразу. Если хочешь, я тебе потом непонятное объясню. С книгой обращайся бережно! — И снабдив книгоношу адресом котельной, в которой он работал, Мелехов ушел на дежурство, придерживая одной рукой суму, набитую книгами и конспектами.

Эд раскрыл книгу. "Введение в психоанализ". З. Фрейд. С предисловием проф. Ермакова.

— Толик Мелехов очень хороший парень. Дружи с ним! — прокомментировала Задохлик, находившаяся рядом с Эдом. Был конец месяца, магазин тщился выполнить план, потому и Задохлика бросили в помощь книгоноше. — И как хорошо он знает книги! — Задохлик восторженно хлопнула всегда мокрыми ресницами. — О-о-о! У Толика редчайшая библиотека. А ведь он очень бедный. Менялся, все собрал по книжечке, любовно. Какой парень! — Задохлик даже прицокнула языком. — Вот Анька счастливая! Такой муж будет! — Сама Задохлик очень хотела выйти замуж, и хотя ей было всего двадцать лет, иной раз Задохлик сетовала на свою судьбу, до сих пор не скрепленную узами брака. Между тем ведя некоего Юру твердую рукой к беременности и замужеству.

— Кто такая Анька? — заинтересовался книгоноша, подумав — уж не еврейская ли это дама на острых каблуках и с такими же острыми как каблуки глазами, с которой его познакомил в магазине "Поэзия" Борька Чурилов?

— Анька Волкова — дочь очень большого человека! — значительно и почему-то шепотом, как будто поверяя товарищу

страшную тайну, сказала Задохлик. Бледно-синее лицо умершей несколько дней назад курицы озарилось своего рода религиозным восторгом. — Анька Волкова — дочь самого Волкова. — И Задохлик посмотрела на товарища по работе победоносно.

— Кто такой САМ ВОЛКОВ? — рассмеялся экс-литейщик.

— Шутишь? Ты не знаешь, кто такой Волков? — Задохлик вдруг выскочила из-за прилавка и цепко ухватила хулиганистого вида подростка за руку. Книгоноша Эд выскочил тоже, и вдвоем они сумели выудить из широкого пальто воришки украденную книгу. Проводив неудачливого вора затрешиной, Задохлик вздохнула. — Волков, — сказала она, — директор харьковского рыбо-мясо треста.

”Мясо-рыбо трест” не произвел на книгоношу никакого впечатления. Секретарь обкома, генерал КГБ — титулов, способных поразить его, было немного. Но директор мясо-рыбо треста?

— Девочка-то хоть красивая?

— Да ты ее видел, Аньку! Она часто заходит. Вот и вчера была в магазине. В очках. Высокая. Очки без оправы.

Книгоноша вспомнил девушку. Студентка. Очки, розовые на удивление щеки. Ничего примечательного, разве что уверенность в поведении... Впрочем, несмотря на эрудицию, у самого Мелехова было деревенское простое лицо. Уже через год книгоноша сказал бы: ”лицо интеллигента в первом поколении”. Но тогда он ограничился определением ”простое, почти деревенское лицо”.

Очевидно, сомнения в значительности ”Рыбо-мясо треста” и дочери директора его отразились на лице книгоноши, потому что Задохлик сочла нужным поддержать Аньку Волкову. — Анька очень избалованная, и девочка с характером. Она любит Мелехова, но и мучает его немало. Знаешь, Анька ведь тоже учится на филологическом. Там они и познакомились.

Книгоноша посмотрел на часы и стал складывать книги в стопки. Задохлик не возражала и присоединилась к свертыванию торговли. Было без четверти восемь. Рано. Лиля всегда просила их быть в фойе кинотеатра по крайней мере еще четверть часа после того, как билеты на восьмичасовой сеанс будут проданы. Лиля-директриса утверждала, что как раз на этот

сеанс отправляются любители книг. Книгоноша знал, что исключая группу хулиганов, избравших фойе кинотеатра "Комсомольский" своей штаб-квартирой, и парочек, назначавших свидания у раскаленных батарей центрального отопления, ни души уже не бывает в фойе кинотеатра после восьми часов. Какие там книги! На улице метель. И народ давно разбрелся по домам с работы.

— Анька и Толик хотят пожениться. Анькина мама за них, но отец ничего не знает. Ему бояться говорить даже о существовании Толика. Он наверняка не согласится. Отца у Мелехова нет, а мать — дворничиха. Единственную дочь Анну отец хотел бы выдать за человека своего круга... — Задохлик привычно болтала и привычно складывала книги в прочные и крепкие стопки, а книгоноша Эд затыкивал стопки шпагатом.

— Тоже развели кастовость, как в буржуазном обществе... — проворчал книгоноша. — Да кто такая Анька... По виду она как раз пара Мелехову. "Мать-дворничиха..." Анька, сними с нее очки, тоже будет выглядеть как дочь дворничихи!

— А кто твой отец? — спросила Задохлик.

— Капитан, — сознался книгоноша. Последние пару лет ему стало все равно, в каком чине его отец. Раньше он стеснялся отца-капитана. Иной раз врал и говорил, что его отец полковник. Зачем врал? Может быть, для того, чтобы вымышленные полковничьи погоны озадачили бы ярким социальным светом и его, Эдуарда.

— Капитан чего?

— А черт его знает, чего сейчас. Я так мало жил последние годы с родителями, что даже и не знаю, где он сейчас служит. — Ответ был правдивым. Капитан Савенко работал в свое время в НКВД — МВД. Где он работает сейчас, сын Эдуард не знал.

* * *

— Ребята! Нас прислали забрать вас отсюда! — Поэт Владимир Мотрич собственной персоной, отряхивая с барской шубы снег, вступил в фойе кинотеатра. За ним вошел высокий сутуловатый юноша в черном, гордое лицо с лосиным профилем. Юноша насмешливо и снисходительно оглядел книги, Задохли-

ка и Эда. От горячих батарей в другом углу зала Мотрича приветствовали хулиганы, до сих пор мирно высекавшие ножами в штукатурке бранные слова. Мотрич ответил хулиганам барственным округлым жестом руки над головой. Разумеется, хулиганы не читали стихов Мотрича, но Мотрич жил на Рымарской улице, протекающей параллельно Сумской, сразу за кинотеатром, т.е. он был местный, и местные хулиганы его знали.

— Познакомься, Эд, — это художник Миша Басов, — Мотрич церемонно отодвинулся, дабы дать книгоноше возможность рассмотреть юношу с лосиным профилем. По той внимательности, с какой он посторонился, даже заботливости, впрочем, можно было понять, что лосиный юноша его близкий друг и Мотрич им гордится. Юноша бесцеремонно оглядел книгоношу. Заносчивым его взгляд, может быть, нельзя было назвать. Но спокойное высокомерие было в этом взгляде. Книгоноша отметил, что художник чем-то похож на портреты начала века, возможно, похож на Александра Блока, единственного кроме Есенина поэта, стихи которого книгоноша хорошо знал. Борька Чурилов, еще когда они трудились вместе в литейном цеху, подарил ему на день рождения девять синих томов Блока. Борька, как Пигмалион, направлял нашего юношу в жизни.

— Вы друг Чурилова, да? — вместо приветствия спросил лосиный юноша Басов. — И вы, если мне не изменяет память, пишете стихи?

— Писал, — застеснялся книгоноша.

— И что же, бросили?

Книгоноша кивнул.

— И правильно сделали, — равнодушно одобрил блоковский рот. — Сейчас все пишут стихи... Но Мотрич у нас один. — закончил он грубой лестью и оглянулся на друга-поэта, в этот момент сорвавшего с головы меховую шапку и стряхивающего с шапки снег. Плиточный, "под мрамор" пол фойе кинотеатра был покрыт слоем грязной жижицы, нанесенной с улицы сотнями ног. В жижице стояли худые штанины Мотрича, оканчивающиеся чешскими невысокими сапогами, и еще более худые черные штанины юноши Миши Басова, заляпанные грязью и уходящие в бесформенные пьедесталы двух грубых ремесленных ботинок, завязанных продетыми во множество дырок

шнурками. Увидав эти ботинки, книгоноша простил художнику презрительное неверие в то, что еще кто-либо кроме Мотрича способен писать хорошие стихи. По всем признакам, юноша был беден. Беден и интеллигентен — это сочетание книгоноша в людях уважал. Вор или бандит не должен быть беден, считал книгоноша. Но человек искусства — другое дело. Классический человек искусства — поэт, художник, — должен быть беден. Обязан. Как Ван Гог, замечательные письма которого только что вышли по-русски, соседствуя с репродукциями его работ в большой и тяжелой книге, похожей на семейный альбом. Книгоноша взял книгу у Лили и прочел ее от корки до корки. Беден как Есенин, которому постоянно не хватало денег...

Мотрич взял под одну руку стол, сложив его предварительно в плоскость, другой ухватил пачку книг. Книгоноша взял три пачки, Миша Басов еще стол и пачку, а довольная Задохлик пошла налегке, то забегая вперед, то отставая, вверх по Сумской, утопая в навалившем на улице снегу, смешавшемся с грязью и вспаханном уже тысячами ног прохожих...

7

Следует привести здесь самые элементарные сведения по истории и геотопографии Харькова, дабы легче было следить за передвижениями героев во времени и пространстве.

“Большой южный город”, как называл его Бунин, находится в Европе, на самом севере Украинской ССР, в какой-нибудь всего лишь сотне километров от границы с Российской ССР. Основан он не то в конце 16-го, не то в начале 17-го века буйными казаками, бедокурившими в те времена на всем огромном пространстве от пятидесятой параллели (точно на которой и сидит жирная точка города, если вы посмотрите на карту) до самого теплого Черного моря.

После Великой революции и вплоть до 1928 года город выполнял функции столицы Украины. Посему за эти десять лет в городе успели построить несколько нелепых памятников архитектуры, которых, не будь он столицей, никогда бы в нем не построили. В ноябре 1930 года в городе состоялся Интернацио-

нальный конгресс пролетарских писателей, на котором присутствовали среди прочих Ромен Роллан, Барбюс и Луи Арагон. В городе родился Татлин — знаменитый автор проекта башни Интернационала и второй по величине поэт группы Обэриу — Введенский, также как и малозначительный политический деятель — Косыгин. Однако гордость Харькова и его славу приносят ему расположенные на окраинах многочисленные заводы. Харьков — гигантский индустриальный центр, подобный, скажем, Детройту в Соединенных Штатах Америки.

Сумская улица — основная артерия города не потому, что она самая длинная, или самая широкая, или самая фешенебельная. Своей популярности бывшая дорога, ведущая в другой украинский город Сумы, обязана тем, что она центровая — находится в самом центре Старого Города, и еще тем, что именно на ней расположены самые известные в городе рестораны и кинотеатры и организации. Начинается Сумская улица с площади Тевелева и впадает, взбираясь вверх, в площадь Дзержинского. Именно на площади Тевелева в доме 19 удобно живет с мамой Цилей Анна Моисеевна Рубинштейн, и там же в начале 1965 года поселился и наш герой, "молодой негодяй" Эдуард Савенко. На площади Тевелева отметим видные из окон семьи Рубинштейн бывшее здание Дворянского собрания, угол Сумской с расположенным на нем рестораном "Театральный" и здание холодильного техникума.

На площади Дзержинского расположен многоколонный и многоэтажный казарменный желтого цвета обком партии. Еще самая большая в Европе площадь вмещает в периметр свой несколько других не менее величественных но менее могущественных архитектурных ансамблей: охровое здание гостиницы "Харьков", напоминающее ступенчатые пирамиды ацтеков, Университет — уменьшенную копию Московского университета, и наконец, знаменитое чудо "ГОСПРОМ" — конструктивистское здание Государственной промышленности, похожее на тюрьму — громоздкое и некрасивое сооружение из стекла и бетона.

Между площадями Тевелева и Дзержинского и проходит в основном жизнь нашего героя и его друзей. На Сумской между площадями находятся и магазин номер 41, и Театральный институт с его выходящими в перерыв на Сумскую красотками,

и знаменитая "Зеркальная струя", ничем не примечательный прудок с водопадом, тем не менее увековеченный на десятках открыток и в каждом путеводителе по Харькову. (Фотография гололобого Эдуарда десяти лет, стоящего у Зеркальной струи в пиджачке с поясом и штанишках бриджах под коленку, имеется в архиве мамы героя Раисы Федоровны Савенко). Непосредственно за зеркальной струей и Театральным институтом помещается в цокольном этаже высотного здания знаменитый "Автомат" — закусочная, выполняющая в Харькове роль "Ротонды" или "Клозери де Лиля" или кафе "Флор". Точнее, замещающий все эти кафе вместе взятые. (Тут у автора мелькнула интересная идея — не связана ли была вспышка харьковской культурной жизни в те годы, своеобразная харьковская культурная революция, с открытием "Автомата"-закусочной?) Через несколько зданий от Автомата прямо напротив возвышающегося на другой стороне Сумской в парке памятника "Великому кобзарю" Тарасу Шевченко расположен немаловажный для истории Харькова тех лет центральный Гастроном. Именно в нем в основном приобретают вино и водку герои книги. За гастрономом выше по Сумской находится здание о двух этажах, вмещающее редакции газет "Ленинська Зміна" и "Соціалістична Харківщина".

Парк имени Тараса Шевченко начинается как раз против первых дверей Автомата, если, разумеется, пешеход взбирается по Сумской от площади Тевелева. Парк — это несколько квадратных километров деревьев и кустарников, тянущихся до самой территории Харьковского университета — вмещает в себя зоопарк (где сидят сейчас Геночка, Эд и Анна), летний кинотеатр, несколько общественных туалетов-бункеров (с прекрасной настенной живописью!) и ресторан Геночкиного папы — "Кристалл". Там, где парк всем фронтом набегает на брусчатку площади Дзержинского, из его зарослей почтительно глядит наискосок на величественное римское здание обкома партии Дом пионеров.

В оврагах, изрывающих поверхность парка, харьковчане играют на большие деньги в преферанс и железку. Как во всех уважающих себя парках, в парке Шевченко есть центральный фонтан, у которого по выходным дням играет бравурные мар-

ши военный оркестр, предводительствуемый дирижером армянином. Усы дирижера густы, как новая половая щетка, и известны всему городу.

Рымарская улица, как мы уже отметили, тянется параллельно Сумской. Начинается она почти у самых дверей дома Анны Рубинштейн. Вниз, круто прямо от дверей дома Анны, ниспадает знаменитый Бурсацкий спуск. На нем, на полпути к раскинувшемуся далеко внизу самому большому в городе Благовещенскому базару, стоит здание бывшей Бурсы, ныне Библиотечного института. Бурса описана Помяловским в популярной книге 19-го века "Очерки Бурсы". Из этого здания дикие бурсаки ордою совершали набеги на мирных коммерсантов Благовещенского рынка. Согласно легенде, здесь на скамейках Бурсацкого спуска написал поэму "Ладомир" великий Хлебников. За Сумской, Благовещенским базаром, за площадью Дзержинского расположены многочисленные мещанские кварталы города и его рабочие пригороды. Но, к счастью, они находятся вне пределов настоящего повествования.

* * *

"Раклы, безумцы и галахи" — населяли, по словам Хлебникова, город в его время. "Ракло" — местное харьковское слово, точнее даже бурсацкое, с бурсацкого спуска родом. Теперь, кажется книгоноше, после многих лет опять появились в Харькове и раклы, и безумцы. Безумцы уж точно. Что-то происходит в Харькове. Что-то, еще не совсем понятное тащущему тяжелые пачки книг книгоноше.

* * *

— Эд, мы идем к Анне Рубинштейн. Хочешь пойти с нами? — спросил Мотрич, когда они счастливо донесли груз до магазина 41 и сдали его торопящейся, оказывается, в театр с молодым мужем Аликом Лиле. Директриса даже не стала считать выручку и просто заперла деньги в кассу, сложив их в почтовый конверт.

— Хочу. — И он хотел. Может быть, впервые в жизни кни-

гоноша общался с людьми, с которыми он действительно хотел общаться. Странное спокойное удовольствие опустилось на него.

— Надо только купить выпить. — Мотрич стал выскребать из карманов барской шубы монеты. Он уже давным-давно не работал нигде, и денег у него, знал книгоноша, не было. Директриса Лиля строго-настрого в свое время предупредила книгоношу, чтобы он не давал Мотричу денег взаймы. Ни своих денег, ни из кассы. "Даже если он тебе пообещает отдать деньги через несколько часов, не давай. Володя гениальный поэт, может быть поэтому он много пьет. К тому же изъять из него долг будет невозможно. Неудобно будет выбивать долг из гениального поэта. Запомни — для Мотрича у тебя денег нет!"

Книгоноша дал на выпивку пятерку. Миша Басов даже не попытался искать деньги в карманах. Очевидно, их у него никогда не было. Еще имевший сотню рублей, оставшихся от расчетных, литейного цеха денег, книгоноша, у которого на Салтовке висело шесть костюмов, снисходительно простил интеллигенту его возвышенную бедность.

Мокрый жирный снег неровно валил на Харьков, сдуваемый время от времени порывами ветра из улиц, перпендикулярных Сумской, когда книгоноша торопился, едва поспевая за рослыми Мотричем в барской шубе и лосем Басовым в легоньком драпе. Снег блоковского "Балаганчика", снег "Двенадцати" может быть, падал на плечи и головы молодых людей. На черную, грузинского стиля кепку книгоноши, она и ратиновое тяжелое черное пальто остались у книгоноши на память о маленьком храбром еврее Мишке Кописсарове, хотевшем пережить жизнь и дорого заплатившем за это. Еще до предложения работать вместе Мишка подарил Эду три метра ратина на пальто, по 57 рублей метр ценою... Символистский снег заваливал город Врубеля и Хлебникова, Татлина и Введенского, и сквозь него шли Мотрич и Миша Басов в своем настоящем, и, в отличие от них, в будущее шел книгоноша. В будущем его ожидала Анна Моисеевна Рубинштейн — "блудная дочь еврейского народа", как она сама себя порой называла, женщина, которой было суждено сыграть в судьбе Эдуарда Савенко главную роль. Экс-сталевар, не совсем понимая, чего он хочет, наощупь, под-

сознательно выбрал Анну для этой роли. Позже его выбор назовут: "судьба", "рок", "жребий". Но если обратиться к менее романтичному, но более достоверному объяснению, увидим, что рабочий парень очень *хотел* стать интеллигентом, стать поэтом, узнать, узнавать больше и больше. И хотел действительно, страстно, неапатично. Прочитав десяток страниц "Введения в психоанализ", он взял большую тетрадь и начал переписывать книгу строка за строкой, потому что понял, что книга ему нужна. Другого способа размножить редкое издание не существовало, увы. А присвоить книгу у Мелехова он не мог. Анна Моисеевна существовала в одном экземпляре, и нужно было ее присвоить.

Сама Анна Моисеевна открыла дверь мокрым символистам с бутылками портвейна в карманах. Прижавшись к примусам, коридорные женщины в халатах испуганно глядели на вторгшихся рослых декадентов. Вскричав "Ой, Вовка!.. Миша!" Анна в тяжелом платье цвета опавших листьев возглавила шествие, и в сложном запахе сразу двадцати различных ужинов, четверо, они подплыли к двери отдельного купе. Анна пропустила декадентов мимо себя в темный внутренний коридор квартиры-купе и, тяжело отведя дверь своей комнаты (на двери висели ее пальто и платье) — загнала декадентов в комнату. На ломберном столике (на нем поэт напишет весь свой первый сборник — и "Кухарку", и "Книжищи") горела свеча, а с узкой деревянной кровати встала, улыбаясь, подруга Анны, широко-ротая Вика Кулигина...

— Кто там, Анечка? — В комнату вдвинулась одна створка двери, отделяющей комнату Анны от большой комнаты, и появилась вначале папироса Циля Яковлевны, а потом сама Циля Яковлевна. — А... Поэты пришли! — Тогда еще Циля Яковлевна радовалась приходу поэтов.

— Добрый вечер, Циля Яковлевна! — Басов, разбрызгивая капли, к удивлению книгоноши протискался к даме с папирсой и, поймав ее руку мокрой рукой, приник к руке губами. Книгоноша не знал еще, что казавшийся ему символистом Миша Басов на самом деле сюрреалист, и начитанный юноша подражает мэтру Андре Бретону в целовании ручек дамам. Неначитанный книгоноша робко промычал: "Добрый вечер!"

— Мама, иди к себе! Тебе пора спать!.. — ласково, но бесцеремонно Анна вытолкала мать из комнаты. И зажгла вторую свечу, поставив ее на подоконник. За окном шел теперь дикий трудновообразимый снег. На площадь Тевелева, на бывшее здание Дворянского собрания напротив, на здание ресторана Театральный на углу Тевелева и Сумской, на прохожих с поднятыми воротниками, на ядовито-красную надпись "Храните деньги в сберегательной кассе" — неумелую продукцию отсталого харьковского рекламного агентства невысоко в харьковском небе...

— Почему такой снег? — задумался книгоноша, глядя в окно. — Может быть, что-то случилось? Настоящее переходит в будущее? — подумал он и испугался.

8

Из зеленого рва, окружающего харчевню, выходят еще два члена славной группы "СС": Поль и Викторушка. Последний с зеленой веткой, воткнутой в шляпу из соломки. Генка приветствует приятелей вставанием и несколькими авторитетными распоряжениями в адрес Дуси-буфетчицы.

Когда Эда приняли в "СС", Поль и Викторушка уже были эсесовцами. С Полем-Павлом Генка познакомился во время своего недолгого пребывания в должности нарядчика (!) на заводе "Поршень". Генка и завод! Трудно представить себе Геннадия Сергеевича на фоне машин и маслянистых железных частей. Хотя бы и в синем халате и с блокнотом нарядчика в руках. Однако поршеневский период в биографии Генулика существует и, как ни странно, Генка даже гордится трудовым куском своей биографии. Хотя на "Поршень" его прозаически устроил приятель отца, дабы Генка мог получить необходимую ему для поступления в институт справку с места работы. Очень может быть, что Генка воспринял работу на заводе как экзотическое приключение, и в таком качестве металлические джунгли "Поршня" ему понравились? Эду часто приходится выслушивать сбивчивые, но восторженные воспоминания старых эсесовцев о том легендарном периоде зарождения группы "СС",

когда Павел Шемметов работал в литейке "Поршня", Фима инженерил, Генка выписывал наряды, а Вагрич Бахчанян писал по трафарету лозунги. Однако Эд до сих пор так и не выяснил, кто кого и в каком порядке и с кем познакомил. Кажется, толстый франкоман Поль представил Генулику Бахчаняна.

Улыбаясь во всю крупнейшую физиономию, бывший матрос Поль, брюки, сшитые "мсье Эдуардом" (так называет нашего героя Поль), гармошкой спускаются на сапоги, "мсье Бигуди" (так называет Поля Викторушка, по причине шапки каштановых буклей, покрывающих голову экс-матроса), подступает несоветской своей походочкой к харчевне. Сухой компактный германоман Виктор следует за ним походкой механической куклы. Ребята добились совершенного соответствия взятым ими добровольно ролям. "Мсье Бигуди" умудрился, ни разу не ступив ногой на французскую землю, изучить французский язык до степени полного отсутствия акцента. Четыре года он зубрил язык во флоте по самоучителю и по словарям, а затем устранял акцент, общаясь с репатриированными французами. Павел и родился и вырос на харьковской окраине — Тюренке. На Тюренку же он вернулся и после службы во флоте, к родителям — "жлобам", как он их презрительно называет, стесняясь, очевидно, не говорящих по-французски тюренских полукрестьян. Но вот уже год как "мсье Бигуди" женился на девушке из центра, по кличке "Зайчик", и поселился с "Зайчиком" и ее матерью. (Как и наш главный герой. Заметьте стремление провинциальных юношей в центр города!) Эд знаком с Полем-Павлом уже около двух лет, но только недавно они обнаружили, что у них есть давнишние общие знакомые. Поль, оказывается, приходил в семью Вишневских — репатриантов из Франции, с младшей дочерью которых Асей (она же Лиза) дружил когда-то подросток Савенко. Ничего удивительного, Поль ведь жил на Тюренке, а Ася и Эд рядом, на соседней окраине — на Салтовке. Немного покопавшись в памяти, а она всегда вознаграждает терпеливого искателя находкой — Эд вспомнил сцену на журавлевском пляже в 1958 году. Под сгущающимися тучами полуголая тюренская шпана указала ему на бегающего по берегу с гигантскими гантелями в руках бородатого здоровяка. — Морячок наш, Полюшко. Только что с флота явился,

— сказали тюренские ребята. — Здоров как бык и по-французски волочет, но немного того, — цыган Коля приставил палец к виску и повертел им. Имелось в виду, что морячок немного странноват, может быть чокнутый. Здоровяков на Тюренке уважали, чокнутых нет. Так получилось, что "мсье Эдуард" увидел впервые "мсье Бигуди" девять лет назад.

Эсесовцы входят на веранду, и Поль, еще более сморщив полосатые, серые с черным брюки, склонится в реверансе. Говорит он как правило мало, потому бормочет "Бонжур..." и подсаживается к столу. Веселый, подтянутый, восторженный как молодой офицер, Викторушка в шляпке, в хаки-штанах, босоножках и искусственного шелка рубашке с коротким рукавом, напротив, разговорчив. Оглядев веранду и по-видимому решив, что зрителей достаточно, он становится в позу и восклицает "Хайль!", выбрасывая руку в гитлеровском салюте. Шокированное "козье племя", закусывающее и тоже пьющее водку (но разливая ее под столом) глухо и еще фразонеразличимо ропщет. "Хулиганство какое!" — в ужасе разворачивается к ним из-за ближнего стола женщина в очках. Некрасивое лицо ее болезненно морщится.

— Золдатен...! — начинает свое выступление Викторушка, сияя. Одна из речей Гитлера. Викторушка не поленился выучить наизусть может быть с десятков его речей, заучив и интонационный и эмоциональный стиль фюрера. Отличнейший немецкий язык. Викторушка окончил Институт иностранных языков и уже успел побывать в завучах школы в Братске, в Сибири, откуда возвратился через шесть месяцев. За шесть месяцев он, однако, успел в Братске жениться и развестись, после того как метнул в тестя — доктора — нож. Нож воткнулся в дверь над самым скальпом доктора, срезав несколько волос тестю.

Викторушка заканчивает речь, и Эду кажется на мгновение, что сейчас все стадо козьего племени набросится на них, такое зловещее молчание воцаряется на веранде, только вдалеке рычат видимо голодные или раздраженные тигры. Генулик медлит, смакуя зловещее молчание, не спеша отодвигает стул, встает и, наконец, говорит, обращаясь к обедающим: "Товарищи! Поаплодируем студенту из Германской Демократической республики, блестяще исполнившему для нас речь Гитлера из пьесы "Падение Берлина".

Козье племя, даже охотнее, чем это необходимо, аплодирует. Их честь спасена. Драться не пришлось. Что существует пьеса "Падение Берлина", может быть, никто и не поверил, но важно, что произнесение единственно понятых из всей речи нехороших немецких слов "коммунистен", "комиссарен", "юден", "партизанен" узаконено и объяснено. Жаркий августовский день прекрасен, водка и портвейн хороши и жгучи, подмышки у платьев женщин потемнели и запах пота, плотский, вещественный, живой, летает меж столами, смешавшись с запахом закусок. А рядом — в десятке шагов — овраг, в который можно спуститься и совершить там любую естественную надобность от простых пипи и кака до грубого летнего совокупления. Зачем драться?

— Благодар'ю ваз товарищча! — щелкая каблуками, опять вытягивается в позу хайль демократический немец, и Генка, обожающий своих друзей и острые моменты, с довольнейшей, но привычно-сдержанной улыбкой протягивает ему стакан с водкой. Студент из хорошей Германской республики отхлебывает небольшой глоток и садится. Он пьет мало. Возможно, причина его нелюбви к алкоголю — алкоголик-отец. Алкоголик шесть лет назад стал и одноглазым. Глаза его лишил Виктор.

Произошло это, по словам "мсье Бигуди", следующим образом. Родители Викторá, как и родители "мсье Бигуди", живут на Тюренке в небольшом частном доме. Однажды Викторóушка, только что (в первый раз) женившийся, лежал после обеда с молодой женой в саду на постели, под яблоней. Отдыхал Викторóушка после обеда. — Ну не знаю, "пихались" они или нет... — усмехнулся Поль, кроме французского "мсье Бигуди" знал только вульгарный язык родной Тюренки. — Лежат... Отец же пришел с работы пьяный и стал бродить по саду, ища на свою жопу приключений... Найдя молодоженов в кровати, отец рассмеялся и схватил жену Викторá за ногу. — Иди отсюда на хуй, старый мудак! — сказал Виктор. Старый мудак не только не ушел, но начал раскачивать и дергать кровать с молодоженами, может быть пытаясь ее перевернуть... Виктор опять послал отца на хуй и предложил не мешать ему, Викторóушке, жить. Тогда отец послал Викторóушку на хуй и, сунув

руки под простынь, схватил жену Викторюшки за задницу... — Тут рассказчик, "мсье Бигуди", зашелся в руладе беззвучного смеха и хлопнул себя ладонями по ляжкам. Затем продолжил: — Викторюшка встал, поднял лежавшее на земле полено и врезал папашу по головке. Врезал так, что папашку забрала "скорая помощь". — Очевидно находя историю очень смешной, рассказчик вновь разинул рот в руладе. — Но не помогла, Эд, и скорая. Полено оказалось с сучком, и сучок угодил папашке в глазик... Вытек глазик весь на хуй, как яичко на сковородочку...

— Дикие все-таки тюренцы, — размышляет Эд, стиснутый между двумя крупными и горячими телами — жены своей Анны Моисеевны и мсье Бигуди, — даже лучшие из них. — Викторюшка, по-прежнему живущий с родителями, каким-то образом отец простил его, по-видимому не очень-то и страдает из-за того, что лишил папашку глаза. Однажды он преспокойно и тоже хихикая рассказал Эду свою версию истории с глазом, почти не отличающуюся от версии Поля. Случилось это после урока французского. Виктор теперь преподает Эду французский два раза в неделю. Да, Викторюшка знает и язык франков, это был его второй язык в университете.

Почему Виктор преподает Эду французский, а не Поль? Сноб мсье Бигуди сказал, что с удовольствием будет разговаривать с Эдом, когда тот выучит язык с помощью Виктора, но обучать азам языка он не умеет, не любит и не будет. Посему Виктор обучает Эда французскому за небольшие деньги. В два раза дешевле, чем с нормальных людей, берет с него Виктор. Немецкому Эд учиться не хочет. Французскому он уже учился и в нормальной школе, и в кулинарной, куда занесла его судьба в 1961 году. (Милиция потребовала, чтобы он устроился на работу, и он предпочел записывание рецептов борщей и кулебяк, потрошение кур и разделку свиных туш высылке на сто первый километр от Харькова. Выгнали его за воровство кур и непосещаемость очень скоро.) Почему Эд пробует возродить свой французский, начисто забытый и потерянный в беспорядочных странствиях по цехам жизни? Какова конечная цель изучения французского языка? Трудно сказать, может быть неясные будущие приключения на поверхности земного шара. В

стиле "Искателей приключений" — Алена Делона и Лино Вентуры. Может быть, он и Генка...

Эдуард однако все яснее осознает, что его великолепный приятель Геночка — его гордость, его друг, а кое в чем вождь и учитель — слаб... Разумеется, это слабость не физическая, но слабость характера. Дальше сидений в "харчевне", поездок в Монте-Карло, купаний в зимней реке, загулов и мелкого хулиганства в различных красивых вариантах желания и фантазии Генки не распространяются. Сладкая жизнь в Харькове. Самым опасным их предприятием была та попытка влезть в транспортный самолет, однако не увенчавшаяся успехом. Их арестовали. Правда, Генка, спокойный, элегантный, породистый и холеный, выдал себя и Эда за кагебешников — назвал несколько фамилий действительно больших людей в харьковском КГБ, и дежурный охраны аэропорта отпустил их, даже угостил коньяком в буфете. "Ну и идиот!" — хохотали Генка и Эд в такси, уносящем их от дверей охраны харьковского аэропорта.

* * *

— Эй, Эд! Эд! ты что, уснул? — проводит Анна Моисеевна распластанной ладонью у него перед глазами. — Мечтаешь?

— Что увидел перед собой уважаемый поэт? — радостно вопрошает энтузиаст Викторушка. Он относится к своему ученику с некоторой долей иронии, уважая его не за стихи, а за то, что Эд умеет шить брюки и способен заработать деньги не выходя из дома. Мало кто верит в его стихи. В брюки верят все. Брюки — это очевидное. Эд может сшить две пары в день, или если с раннего утра и до поздней ночи работать, можно сделать и три пары.

9

Шить брюки он начал по вине Анны. Как-то он пришел на свидание к еврейской женщине в расклешенных джинсах, сшитых из хаки-материала. Расклешенные внизу джинсы были в большой моде в Харькове зимой 1964/65 годов.

— Какие прекрасные брюки, Эд! — одобрила Анна Моисеевна. — Кто тебе их сшил?

— Я сам их сшил, — соврал Эдуард и тем решил все свои финансовые проблемы на десять лет вперед.

— Я не знала, что ты умеешь шить, — Анна была честно поражена. Тогда она еще не относилась к нему серьезно. Это было еще до того, как мальчишка приехал к ней в Алушту, в женский санаторий, где Анна Моисеевна решила отдохнуть от Харькова и его проблем. Это было до того, как они стали спать вместе, до того, как Эд вселился к Анне и стал жить в еврейской семье приемным. Это было до нашей эры. Тогда он и Анна были только друзьями. Тогда он каждый вечер приходил к Анне Моисеевне и сидел в углу и большей частью молчал, глядя на гостей изумленными, невинными глазами рабочего парня и преступника. Молчал он потому, что ему нечего было сказать — он не знал имен художников, писателей или поэтов России и мира, у него не было мнения по поводу модных тогда стихов Пастернака... Ох, он даже не знал, кто такой Ван Гог, и ему понадобилось несколько месяцев, чтобы перестать путать его с Гогеном, и еще месяц, чтобы выяснить, кому принадлежало отрезанное ухо.

Однако, несмотря на смущение и стыд от вынужденной немоты своей, книгоноша упорно приходил всякий вечер в комнату Анны и неизменно приносил бутылки с портвейном, зная, что от портвейна ему становится легче. Каждый вечер в ту осень на Тевелева 19 были споры, свечи, чтение стихов и портвейн. В компании Анны, Вики Кулигиной, бывшего мужа Вики — Толика Кулигина портвейн предпочитали "биомицину". Развивающийся книгоноша охотно оставил билэ мицнэ и перешел на портвейн.

Сейчас, сквозь толстый слой времени, поведение рабочего парня Савенко вызывает восхищение своей могучей интуитивной направленностью. Если разумом он не понимал, что ему нужна Анна, нужны эти не совсем понятные ему и иногда просто смешные и неестественные люди, могучий инстинкт шептал ему: "Сиди тут. Это то, что нужно тебе. То место. Сиди тут. Это они. Именно этих людей ты искал безуспешно на заводах, на овощных базах, на дорогах Крыма, Кавказа и Азии. Сиди, мол-

чи и учись". Так он и поступал. Игнорируя непрошенное сочувствие и иной раз насмешки. Лосиный Миша Басов был ироничнее всех. И не раз замечал на себе книгоноша его насмешливый взгляд.

... Брюки. Через дней десять Анна вдруг попросила его: — Слушай, Эд, сшей брюки моему приятелю? Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. А его девушка, моя подруга Женя, хочет, чтобы Заяц выглядел красавцем. Сошьешь?

— С удовольствием, Анна. Пусть он купит 1 метр 20 сантиметров ткани, — отвечал лжец, подумав о том, что он помнит, в каких местах измерял его Максим, парень, пошивший ему хаки-джинсы. Конечно, ложью своей он сам создал себе ненужные хлопоты, — подумал лжец, но выкрутиться он сумеет. Замерит приятеля Анны, возьмет материал и отвезет мерки и материал Максиму. Максим соорудит брюки, Эд вручит их приятелю Анны, и все останутся довольны.

Но насмешник-случай разыграл эту пьеску иначе. Когда получив у Юрки Кописсарова — брата несчастливого авантюриста Мишки — адрес юноши Максима, лжец добрался до красивой старой улочки и постучал в красивую, ставшую произведением абстрактного искусства, так она выглядела, дверь одноэтажного дома, то вместо Максима к замершему со свертком в руках книгоноше вышла красивая, как и улица и дверь, старая женщина. — Ах, Максимчика на прошлой неделе забрали в армию! — сказала женщина радостно. И прибавила: — Слава Богу! — Что сделал Максимчик, чтобы заслужить это "слава Богу!", Эдуард так никогда и не узнал. На красивой старой улице пахло красиво дымом, когда грустный книгоноша плелся к трамваю.

Других знакомых портных у него не было. Нормальный портной в ателье в те годы не умел да и не захотел бы сшить расклешенные брюки. Что делать? Когда Эдуард обратился за советом к Юрке Кописсарову, Юрка сказал, что других знакомых модных портных у него нет, и философски заметил: — Зачем врал?

О том, чтобы вернуть материал Заяцу, не могло быть и речи. Это значило навеки уронить свое достоинство в глазах ново-

приобретенных друзей, а главное — Анны. Прослыть трепачом. Подумав, Эдуард решил сшить брюки сам. Прежде всего он в сотне точек измерил свои собственные расклешенные брюки и перенес размеры на бумагу. Получился чертеж брюк. Раиса Федоровна скептически наблюдала за действиями сына, разложившегося с бумагой, мелом, тканью и угольником на семейном круглом столе в единственной их комнате. — Как же ты собираешься шить? Ты же не умеешь? — заметила она. Однако ей, видимо, было интересно, как же сын ее выпутается из истории, о которой, обычно скрытный, он решил почему-то ей рассказать.

Конечно, он никогда не шил брюк, но иголку держать в руках умел. Несколько лет практики — подпольного, в тайне от матери, зауживания штанин, сделали его вполне сносным передельщиком брюк. Еще у него был явный прирожденный талант чертежника, он хорошо понимал геометрию. Еще мальчиком он иногда умудрялся заработать пару рублей тем, что увеличивал соседкам по дому и даже, когда в конце концов его слава возросла, женщинам из других домов, выкройки из журнала "Работница". И вообще любые выкройки.

Вооруженный этими начальными навыками и здравым смыслом, затратив на свое предприятие сорок восемь часов (особенно трудно оказалось понять устройство карманов), он соорудил брюки. И мать, Раиса Федоровна, к собственному удивлению, обнаружила, когда сын надел их, что это хорошие брюки. Можно сказать, даже отличные брюки. Не желая сдавать позиций (в основном позиция сводилась к уверенности, что сын ее "ни на что путное не способен"), Раиса Федоровна все же спросила: — А этот как его, Заяц, действительно такого размера, как ты?

— Чуть худее... — буркнул сын. В понедельник, отправляясь продавать народу книги, он захватил с собой новые брюки Зайца.

Худенький, с морщинистой физиономией Заяц, он же ученый физик Виктор Зайцев, белая и пышная жгучая брюнетка Женя Кацнельсон в черной шубке и Анна, в ярком цветами платке поверх грубошерстного пальто с меховым воротником, явились в обеденный перерыв. Так как в тот холодный зимний

день книгоноше было позволено установить стол рядом с сорок первым магазином, то Заяц, с разрешения Лили, ушел в подсобку примерить брюки. Вышел Заяц из подсобки другим человеком.

— Заяц, какая у тебя прекрасная фигура! — закричала Анна. — Я всегда думала, что у тебя тощий торс и огромная жопа. А это, оказывается, вина ужасных твоих штанов. Какой ты молодец, Эд! — и Анна поцеловала Эда.

— Действительно, здорово... — сказал Заяц, разглядывая себя в стеклянную дверь. — Не ожидал. Сколько я тебе должен?

— Ничего, — сказал, смотря в сторону, книгоноша. Тогда он еще не умел брать с людей деньги за свой труд.

— Ну-ка, Заяц, повернись! — строго попросила Женя. Заяц послушно, но скорчив хмурую гримаску, повернулся. — Не слишком ли затянут зад? — обратилась Женя к книгоноше.

— Такой фасон, — вступилась за брюки Лилия-директриса, гордая талантливым подчиненным.

— Так сколько я тебе должен? — переспросил Заяц, дружески похлопав книгоношу по плечу.

— Ты же говорил семь рублей, Эд? — сказала Анна. (Может, он и сказал семь, нужно же было что-то соврать, сколько с него брал Максим, он забыл.

— На... Спасибо огромное, старичок, — Заяц неловко сунул книгоноше в руку десятку.

— Сейчас я тебе сдачу дам... — книгоноша зашарил в карманах.

— Какую сдачу... Забудь... — теперь застеснялся Заяц. — Ты на обед идешь? Идем с нами в кафе. Я угощаю.

— Не знаю. Вообще-то нужно работать... — книгоноша оглянулся на директрису.

— Попроси Задохлика постоять за тебя час...

— Постояю-постояю... — согласилась Задохлик, высунувшись из-за портьеры, где она считала на счетах. Радостный книгоноша выскочил с приятелями из магазина, и они отправились в кафе на площади Гоголя обмывать первые сшитые им брюки. Так он стал портным.

После Заяца ему пришлось сшить брюки Кулигину, быв-

шему мужу Вики, бывшему любовнику Анны. Впрочем, в то время Анна, кажется, еще спала иногда с Толиком. А может быть нет? Эду кажется, что да, но ведь он сам тогда еще не спал с Анной. Кулигин... человек в очках, человек с книгой... Умный Толик, остроумный Толик, все знающий Толик, обаятельный Толик... На одно отрицательное качество в Кулигине — он много пил — казалось, все остальные девяносто девять были исключительно положительные.

Прошло два с половиной года. Эд Лимонов, ставший старше и опытнее, сидит с друзьями в харчевне и отвлекшись от общей беседы, размышляет о Кулигине, о человеке вообще, о человеке и его судьбе, о том, можно ли предугадать, кто получит-ся из того или иного мальчика, юноши, подростка. Взять того же Кулигина. Окружающие всегда считали его необыкновенно талантливым, одаренным, подающим надежды. Его письма и несколько рассказов, которые Анна некогда показывала Эду, действительно изобиловали интересными наблюдениями, были написаны внятным хорошим слогом. Эду не понравилась только слишком женская фиолетовая бумага и то, что письма были написаны красными чернилами. Но цвет бумаги и чернил не может служить серьезным упреком. Талант в письмах был замечен, факт.

Однако и рассказы, и письма относились еще к тому, без Эда, прошлому Кулигина и Анны. Уже давно Кулигин не пишет даже писем. Он все больше пьет и читает книги. Читает как маньяк! Почему Кулигин не развил свой талант? А черт его знает! Может быть, в нем нет тщеславия? Нет мотора, который заставляет человека стараться изо всех сил писать интереснее всех, забраться на самую высокую гору? Кулигин милый, но кажется, он ничего не хочет, кроме портвейна, спокойствия и книг. У Кулигина есть собака и дочь Таня, с ними Кулигин иногда гуляет в парке Шевченко. Он работал сторожем, а сейчас дежурит в котельной химического завода. У Кулигина нет амбиций? Очевидно, нет.

А у него, Эда, есть амбиции? Есть. Всю весну и лето 1965 года он просидел взаперти и писал стихи. Извел две пачки грубой серой бумаги по пятьсот листов каждая, украденные для него Анной в магазине. И все, что он писал, на следующий день

казалось ему бездарным... Время от времени он решался показывать написанное единственному человеку, которого не стеснялся — Толику Мелехову.

— Плохо! — с сожалением констатировал Мелехов, возвращая очередную пачку серых листов Эдуарду. — Плохо, но пиши дальше, и этих не выбрасывай.

И Эд опять запирался на весь день в комнате Анны, она уходила в книжный магазин, она теперь работала в солидной "Академ-книге", дисциплина там была тверже, и Анна являлась домой после семи часов вечера. Лето было жаркое, нечем было дышать, а тщеславный юноша все выводил строчки на серой бумаге... И опять Мелехов, глядя в сторону, объявлял приговор: — Плохо, Эд... — Может, год он упорно писал плохие стихи, пока однажды, возмущившись собой, вдруг сумел вытащить из самой глубины себя мелодию, которая хотя и выразилась в смутных и плохо организованных словах, была его мелодией, и Эд почувствовал это. Он, торопясь, записал еще два десятка таких же смутных, со дна самого себя вынутых мелодий, и отдал их Мелехову. Мелехов не показывался неделю, и неделю Эдуард тревожно ждал прихода Мелехова. Наконец, однажды вечером он встретил его в Автомате. Толик извлек из большого портфеля (он теперь, по настоянию Анны Волковой и ее мамы, носил портфель вместо сумы) его, Эдуарда, стихи, и сказал серьезно, без улыбки: — Ну вот, теперь, Эд, можно сказать, что ты поэт. Настоящие стихи написал. Твои. — И грустно добавил: — Мне никогда не удавалось написать таких стихов.

Эд знал одно стихотворение Мелехова "Белесое и бестелесое". Стихотворение было несколько даже смешное, в нем "белесое" гналось за "бестелесым".

— Интеллектуальный выебон, — охарактеризовал творение Мелехова Мотрич, вынув на минутку нос из барской шубы. — Ты, Толька, не пиши стихов. Ты о стихах все понимаешь, но сам их не пиши. Лучше нас критикуй. — И Мотрич пригубил свой "тройной" — т.е. тройной крепости кофе. Ординарный кофе из венгерской автоматической кофеварки Мотрича уже "не брал".

Вкусу Толика Мелехова Эдуард доверял. Толстоморденок и простоватый сын дворничихи, может быть находя в этом известное удовольствие, постоянно образовывал Эда Савенко. Мелехов дал Эду читать один за другим три тома стихов Хлеб-

никова под редакцией профессора Степанова, и юноша Савенко добросовестно переписал стихи строчку за строчкой. Он давно открыл, что если ежедневно делать небольшой кусок работы, то даже самый обширный труд выполним. Он переписал все три тома, но без комментариев. Мелехов объяснил юноше Савенко, что такое "автоматизм восприятия", и стал приносить Эдуарду пожелтевшие брошюрки "опоязовцев" — членов формалистического направления в советском литературоведении двадцатых годов. Благодаря Шкловскому, Эйхенбауму, Томашевскому и Толику Мелехову юноша Савенко узнал, что "голубое небо" не трогает читателя, поскольку после тысяч голубых небес, проголубевших над читателем в тысячах книг, он, бедный, уже не замечает голубизны неба. Читателя нужно удивлять, понял юноша Савенко, как раз в те дни переходящий в Лимонова.

10

— Ну что, Эд, опять рванешь в Москву? — ухмыляется Поль.

— Ну куда он от Харькова денется, мсье Бигуди?! — подхватывает тему Генка. Генка очень не хочет, чтобы Эд уезжал. Генке станет скушнее. И он не верит, что Эд уедет.

— Мы твердо решили покинуть вас в сентябре, друзья, — подтверждает Анна. — Я уезжаю первая, Эд приедет дней через десять. Проводим Цилю Яковлевну в Киев, сдадим жильцам квартиру, и до свиданья, Харьков!

— И вернетесь через две недели! — смеется Генка. — Эд уже съездил в Москву в апреле, Не выдержал, свалил в родные пенаты!

— А Бахушка наш там сидит. Закрепился. Молодец, Бахушка. Он не был создан для Харькова. Правильно свалил. С этой украинской пидармерией... — мсье Бигуди кивает в сторону посетителей харчевни, — как я их ненавижу, этот мерд! — шипит он и сжимает тяжелые в рыжеватых волосах кулаки. — Я тоже свалю на хуй в Московию, вот Зайчик родит, и свалю.

— И ты вернешься, Польша. Чего вам всем не сидится в Харькове... — Генка не любит разговоры об отъезде. Очень не любит. Сам он, может быть, и уехал бы в Москву, но здесь, в Харькове, с папой директором ресторана ему жить куда удобнее. Кто он будет в Москве? Еще один москвич. В Харькове Генка — сын Сергея Сергеевича Гончаренко. Даже в мелочах ему здесь удобнее. Вчера, например, как всегда, им нужны были деньги, друзья сидели у Генки дома. Не долго думая, Генка вынул из холодильника несколько банок крабов, пару банок икры и бросил банки в портфель. Приехав на Сумскую, они вошли в парикмахерскую, ту, что возле кафе "Пингвин", и в пять минут продали дефицитные банки. И отправились в ресторан "Люкс" есть шашлыки. В Москве у Генки не будет такого холодильника, сколько бы денег папа ни высылал любимому сыну.

Генка уехать в Москву не может. Поэтому Генка не хочет, чтобы Эд уезжал. Чтобы Анна уезжала. Генка хочет, чтобы была компания. К Эду и Анне он может зайти всегда, в любое время дня и ночи, проходя мимо. Если от окна Анны провести вертикальную линию вниз, то опустится эта линия прямехонько на ступени, ведущие в винный подвальчик, притаившийся под асфальтом площади Тевелева. Летом, в жару, винный запах поднимается вертикально вверх и проникает в комнату-трамвай, раздражая ноздри юного поэта. Когда Генка приходит выпить в подвальчик, он, если ему скучно, может посвистеть Эду, и через несколько минут собутыльник уже стоит с ним рядом, опираясь плечом о разрисованную русскими цветами стену. В городе с миллионным населением непонятно каким образом до сих пор удерживаются патриархальные нравы, присущие, скорее, крошечному сонному городку. Удобно жить Генке в Харькове. Потому он не любит разговоров об отъезде.

— Весной Эд вернулся из Москвы в Харьков из-за меня! — гордо заявляет Анна, вызывая погладев на ребят. Носик ее покраснел, и загорелое лицо тоже. — Правда, Эд?

— Правда. — Эд чувствует себя виноватым, и потому воздерживается от обычной пикировки. Нормально, желая позлить Анну Моисеевну, он сказал бы: — Нет, ничего подобного... —

Анна сказала бы: — Ну и сволочь ты, молодой негодяй! — и началась бы перепалка. Верно и то, что да, без Анны ему-таки было непривычно одиноко в Москве. Он привык к Анне Моисеевне, все-таки они уже живут вместе скоро будет три года! Анна его баба, подруга, собутыльник. Как говорит Мотрич: — Анна человек хороший! — И Эд согласен с ним. Сумасшедшая, конечно. Но Эдуард Савенко сам побывал в сумасшедшем доме. Пытался покончить с собой. Перерезал вены над книгой Стендаля "Красное и Черное". Книга с кровавыми подтеками стоит среди других книг в книжном шкафу его родителей. Открыта она была на той странице, где пылкий Жюльен Сорель крадется в спальню к мадам де Реналь.

Однако не только к Анне вернулся Эд в Харьков. Трудно ему пришлось в Москве. Негде было жить. Спал он у подруги Анны, бывшей харьковчанки Аллы Воробьевской, вышедшей замуж за Сеню Письмана, москвича. Сеня, разумеется, не был в большом восторге от присутствия харьковского юноши в доме. Да и кто был бы? Короче говоря, первый десант не удался. Эд вернулся.

* * *

— Зачем вообще вам ехать в Москву? Москва не резиновая, — сказал приятель Анны, знаменитый художник Брусиловский, приехавший в Харьков на несколько дней с визитом. Пахнувший кожей и, очевидно, иностранными духами, курящий сладковатый (Бах сказал, что с изюмом!) табак из красивой изогнутой трубки, усатый, с бакенбардами и бородой, Брусиловский, показавшийся Эду необычайно элегантным, пришел к подруге своей юности. Анна поклялась затащить москвича и затащила.

Семья тщательно подготовилась к встрече. Эд спустился на Благовещенский базар и закупил продукты, а Циля Яковлевна приготовила фаршмак, гефилте-фиш и пироги.

Москвич ел, как удав. Приглашенный Вагрич Бахчанян показывал свои работы.

— Интересно... интересно... — бормотал Брусиловский,

вглядываясь в эмали Баха. — Как это сделано? — Эд читал стихи. В сущности, ради ознакомления москвича с творчеством юного дарования и была устроена встреча. Важная встреча. Добровольный рекламный тандем Анна—Цилия Яковлевна на правах старых друзей пытался всучить Брусиловскому юное дарование. Впервые Эду пришлось увидеть настоящее волнение в поведении Анны Моисеевны. Она даже кусала ногти.

— Прекрасно! Удивительно! — восклицал Брусиловский после каждого прочитанного стихотворения. И не забывал поглощать пироги. Похвалы москвича казались поэту одновременно слишком жирными и слишком сладкими, однако, помня наставления Анны, он продолжал читать.

Такой мальчик красивый беленький
Прямо пончик из кожи ровненький
Как столбик. Умненький, головка просвечивает
Такой мальчик погибнул, а?
Как девочка и наряжали раньше в девочку
Только потом не стали. Сказал
"что я — девочка!"
Такой мальчишечка
не усмотрели сдобного
не углядели милого хорошего
что глазки читают, что за книжищи
Уу книжищи! у старые! у сволочи!..

.....

Москвич наградил "Книжищи" самым жирным восклицанием, имеющимся в его лексиконе. — Великолепно! Великолепно! — вскричал он, и вставил в бороду пирог. — На уровне Москвы сделано. — Но было непонятно, что он имел в виду, пирог с мясом работы Цилии Яковлевны или стихотворение работы Эда Лимонова.

— Толя, скажи честно, как старой подруге... Мы с тобой знаем друг друга лет десять, если не больше. Если Эд придет с такими стихами в Москву, он может получить там... ну, признание, что ли? — Анна запнулась. Эд, стесняясь, проглотил рюмку водки. Москвич водки не пил.

Энергичный Брусиловский, розовощекий и загорелый там, где не было бороды, приехавший в Харьков поневоле — проведать больного папу Рафаила, харьковского писателя, посмотрел на Анну Моисеевну внимательно. Подруга юности Анатолия Брусиловского знала о нем множество вещей, которые она считала стыдными, но которые по сути дела таковыми не были, были скорее болезненно неприятными для мужского самолюбия юноши Брусиловского лет десять назад. Например, она помнила, как вешали невысокого Толю его приятели-злодеи (среди них был муж Анны) на каштане в парке Шевченко, лишив предварительно одежды всю нижнюю часть его тела... Толя подумал и, очевидно, решил отнестись к подруге юности по-человечески, отбросив юношеские обиды.

— В официальной литературе такие авангардные стихи, какие пишет твой нынешний муж, разумеется, приняты быть не могут и, насколько я понимаю, напечатать их будет невозможно. Даже Андрею стоит больших трудов опубликовать его авангард. (Под "Андреем", как правильно догадался Эд, имелся в виду Андрей Вознесенский.) Даже ему...

Анна погрузстнела. Она считала Брусиловского умным, гибким и изворотливым. И если Толя говорит "нет", очевидно, стихи ее мужа-мальчишки и протеже в Москве не опубликовать. Ее гения...

— Но... — Брусиловский взял очередной пирог к себе на тарелку и сейчас готовился, подняв тарелку, поднести кусок ближе ко рту, — многие мои приятели-поэты существуют вне официальной культуры. Не говоря уже о моих старинных приятелях Холине и Сапгире (Эд насторожился, услышав неизвестные имена), оба зарабатывают деньги тем, что пишут стихи для детей, — Брусиловский с наслаждением сунул пирог в щель между бородой и тщательно ухоженными, лоснящимися усами, — даже СМОГИСТЫ умудряются как-то существовать...

Эд насторожился опять. Что за СМОГИСТЫ?

— Вы не слышали о смогистах? — спросил москвич, заметив неуверенность на лицах провинциалов.

— Кое-что... немного... — дипломатично ответил Вагрич,

только что сбравший армянскую бородину, помолодевший и уже твердо решивший, что уедет в Москву.

— СМОГ — это новейшее авангардное направление в литературе. Расшифровывается как Самое Молодое Общество Гениев. Самый гениальный из гениев — Леня Губанов. Есть еще Володя Алейников. Они действительно все очень молодые ребята. Губанов был признан гением в шестнадцать лет! — Брусиловский снисходительно поглядел на провинциалов. Двадцатидвухлетний Эд почувствовал себя старым. Ему даже стало стыдно за свой преклонный возраст. Вагрич, тот был еще на пять лет старше его. Может быть, им не ехать в Москву? Может быть, поздно? Может быть, все позади?

— А зачем собственно вам вообще ехать в Москву? — уверенный и порывистый, москвич нагло улыбнулся провинциалам. Эд заметил, что кисть руки москвича, покоящаяся на стакане с ситро, — маленькая, и пальцы короткие. — Вы можете с таким же успехом работать и развиваться здесь. Из того, что мне рассказала Анна, — тут Брусиловский радостно всхрипнул почему-то, — я понял, что у вас тут существует сложная, развитая интеллектуальная среда. Встречайтесь еще чаще, читайте стихи, показывайте работы друг другу, устраивайте выставки на квартирах... К тому же... — москвич единым духом выпил ситро, — ну ребята, Москва не может вместить всех, Москва не резиновая!

— Сука с бакенбардами! — подумал поэт. — Сам-то вместился в нерезиновую Москву. Женился на москвичке. А для нас, значит, места нет. — Вслух же он сказал несмело: — Я где-то прочел недавно, что для того, чтобы научиться хорошо играть в шахматы, следует играть с людьми, мастерство которых превышает твое мастерство. Если же бесконечно сражаться с играющими хуже или даже с равными тебе, то мастерства не прибавляется.

— А что, мудро! — вдруг согласился Брусиловский. — Как там у вас? ... Жара...

Жара и лето... едут в гости
Антон и дядя мой Иван...

.....

Какой-то Павел и какое-то Ребро
А с ними их племянник Краска...

— что-то в этом есть. Одновременно украинско-харьковское и в то же время вечная буддийская какая-то жара повисла в этом вашем стихотворении... Ну что же, пожалуй, это пойдет в Москве... — как бы самому себе объяснил Брусиловский.

Эд, такова природа человеческая, тотчас же простил москвичу короткие пальцы, жадное заглатывание пирогов, и даже бакенбарды москвича показались ему вдруг симпатичными.

— Толя! Ты запомнил! С одного раза! — Анна Моисеевна, одетая по случаю визита приятеля юности в вельветовое черное платье с белым воротником из старого кружева, которое она отняла у Цили Яковлевны, забравшая волосы в кустистый пучок, заулыбалась.

— У меня цепкая память... — пожал плечами Брусиловский. — Однако Москва — город жестокий... — продолжал он. — Выжить в Москве. Стать известным в Москве... О, для этого нужно быть очень сильным человеком. — Брусиловский с сомнением оглядел худенького поэта, одетого в наряд, усугубляющий впечатление хрупкости — черные брюки, черный жилет и белая рубашка. Следует отметить, что став поэтом, рабочий парень потерял многие килограммы рабочего веса и за пару лет общения с умными книгами и нервных бесед с поэтами, художниками и интеллектуалами лицо его необыкновенным образом утончилось. (Так окитаиваются, говорят, лица китаеведов, всю жизнь посвятивших изучению Поднебесной Империи). Пошляки утверждали, правда, что разгадка утончившегося лица другая — что Анна "заебла поэта". Действительно крепкая, упругая толстушка Анна и ее мальчик, оказавшись рядом, вызывали именно такие непристойные мысли у стороннего наблюдателя. Но об их сексуальной жизни мы поговорим позже. Их сексуальная жизнь не была главным. Может быть, Эд Лимонов и не производил впечатления сильного человека, однако, приглядевшись внимательнее, можно было заметить в манерах юноши — достоинство. Чувство же собственного достоинства всегда соединяется в характере с самолюбием.

— Сколько лет сейчас Губанову? — спросил Эд ревниво,

примеряя московского гения на себя. Точно так же он примерял на себя Мотрича в свое время. Совсем недавно Мелехов сказал Эду что он, Эд, куда более интересный и оригинальный поэт, чем Мотрич. Эд запомнил. Хотя сказанное Мелеховым его не удивило. Внутри себя он уже разрушил Мотрича.

— Губанову двадцать...

... Не я утону в глазах Кремля

А Кремль утонет в моих глазах...

— гнусаво, очевидно подражая оригиналу, прочел Брусиловский. — Губанов потрясаяще читает свои стихи. Даже не читает, он их выплакивает. Вы когда-нибудь слышали северные русские плачи? Так вот, Леня плачет не хуже...

Брусиловский стал прощаться. Назавтра он уезжал. По свидетельству подруги юности, Толя ненавидел Харьков и ненавидел своих бывших приятелей, десять лет назад издевавшихся над ним. Приехал он только потому, что у папы Рафы случился микроинфаркт. Иначе бы его в Харьков не заманили. Переехав в Москву, Брусиловский изменил даже фамилию — стал подписывать свои работы в журнале "Знание — Сила" фамилией Брусилов.

— Ну как Игорь? — спросил Брусилов, уже переступив через порог. — Застрял в своем Симферополе? — Радость светилась в глазах знаменитого московского художника-авангардиста. Кажется, из всех бывших приятелей бывший муж Анны был ему особенно ненавистен.

— Игорь? Я ему позвонила, когда мы с Эдом были в Алуште. Подошла его жена, и я сказала ей, что если Игорь хочет и дальше работать на телевидении, он вышлет мне в Алушту 25 рублей. И он выслал как миленький!

Брусилов довольно расхохотался и даже поцеловал Анну. Насколько Эд знал, эти 25 рублей были единственной суммой, которую Анне удалось изъять когда-либо из бывшего мужа. Однако, послушав разговорчики Анны Моисеевны, можно было подумать, что она профессиональный вымогатель и шантажер. Несчастные двадцать пять рублей они пропили в зимней Алуште в один вечер.

— Будете в Москве, звоните. Познакомлю с интересными людьми, — пообещал Брусилов и ушел. Обитатели коридора,

ко всему привыкшие, плавали над своими кастрюлями.

Из окна они видели, как маленький крепкий Брусилов в замшевом балахоне до тротуара быстро прошел вдоль здания Холодильного техникума, сквозь толпу вывалившихся в перерыв на улицу будущих специалистов по холодильным установкам, и, широкий хлястик натянут над крепким задом, москвич повернул и скрылся в Сумской улице.

— Ну что ты думаешь, Бах? — спросила Анна Моисеевна, усаживаясь и наконец взяв пирожок.

— Надо ехать, — сказал Вагрич. — Потеснятся, найдут место еще для двух.

— Для трех, — обиделась Анна Моисеевна.

— Для трех, — поправился Вагрич.

11

— Студенты! Прекратите немедленно! Студенты! Слезьте с верблюдов! Немедленно! Милиция! — хромой сторож в растерянности бежит вдоль вольера, свистит в висящий на шее на цепочке свисток, выплевывает его и опять кричит: — Студенты! — И вдруг плачет от обиды и бессилия. Плачет и ухрамывает, свистя за милицией.

”Студенты” — Фима на двугорбом, Ленька Иванов на одnogорбом, с которого он неумолимо съезжает, сидят на верблюдах, изображая каждый из себя Лоуренса Аравийского или туарегов, пересекающих с караваном Сахару. Верблюды, ошеломленные наглостью ”студентов” не менее, чем хромой сторож, храпят и фыркают. Фиме с Ленькой с помощью всего состава ”СС” удалось приманить верблюдов к массивной ограде черного железа, и с нее Фима, а потом и Ленька плюхнулись на плешивые и линялые спины зверей. Губастый еврей-туареж Фима попал точнехонько между горбами и, выдержав несколько неприятных минут, в которые испуганный зверь понес его в противоположный конец вольера, фырча, подпрыгивая и пытаясь, повернув голову, укунить всадника желтыми большими зубищами; укротил-таки двугорбого и, колотя животное каблуками в бока, заставил его пропагандировать более или менее

ровно перед оставшимися за оградой Геннадием, Эдом, Анной, Викторущкой и Полем. Безумному Леньке сразу же не повезло. Бывший сержант прыгнул, завизжав, с ограды, но животное шарахнулось, и Леньке пришлось приземлиться на гравий, заменивший верблюду, по мысли харьковских зоологов, поверхность родной пустыни. Вскочив с колена, на которое он приземлился, полизав пораненную ладонь, Ленька, прихрамывая, побежал за своим верблюдом через вольер. По пути он чуть не попал под ноги фиминного верблюда, причем Фима весело хохотал, сидя высоко в небе, и даже пытался натравить своего желтозубого на неловко бегущего Леньку. Буквально чудом, с помощью Викторущки и Поля, тоже перелезших через ограду и загнавших одногорбого в угол вольера, между повозкой с сеном и железными рельсами ограды, удалось Леньке усесться на зверюгу. Теперь, оказавшийся куда более непокорным, чем фимин верблюд, одногорбый мотает без усталости Леньку по вольеру, никак не давая ему исполнить в подобающе спокойном благолепии клич муэдзина: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его!.." Хитрое и злое животное накреняется набок, подпрыгивает и, наконец, переходит к тактике чесания об ограду. Зверь решил счесать Леньку с себя и действительно едва не ломает ему ногу, застрявшую в рельсах ограды.

Анна, в руках у нее Генкина одежда, мокрый Генка в плавках и туфлях, Эд со вколотой в петлицу кровавой георгиной, хохочут пьяные, прижавшись лбами к ограде.

— Леньчик, верблюду не хочет вас! Слезайте на фиг, пока он вас не сжевал! — кричит Генка.

— Ни хуя... — упорствует Ленька. — Я человек, а он зверь. Человек — венец творения. Он должен подчиниться.

Верблюд вдруг валится на передние ноги и на бок. Не ожидавший подлого маневра Ленька летит с животного руками вперед и вспарывает гравий. — Ебанный урод! Сопливый, жирный, горбатый зверь! — ругается Ленька лежа, не спешит вставать.

— Сваливаем, а, ребята? — предлагает Эд. И отходит от ограды. — Сейчас сторож вернется с мусорами.

— Правильно. Пора отходить. Вылезайте оттуда, ребята, — поддерживает поэта непьяная Анна.

— Никак опасаетесь, Эдуард Вениаминович? — иронически замечает Генка, беря из рук Анны одежду. Генка купался в резервуаре с гиппопотамом. Генке захотелось освежиться, и именно в гиппопотамьем резервуаре. Кожа на левом плече у Генки свезена — шершавый гиппо всплыл рядом с незванным гостем и случайно задел его шкуркой. Генка утверждает, что гиппопотам ему очень обрадовался, но шкура у него как наждачная бумага.

— Вовсе я не боюсь, — оправдывается Эд, поправляя георгина в петлице, — но береженого Бог бережет, как говорила моя бабушка. Ты же знаешь, что мне нельзя попадать к мусорам в руки даже случайно. Два года я нигде не числюсь. С тунец-ядцами сейчас не церемонятся. Тебе хорошо, ты официально всегда учишься в Политехническом...

— Пошли. Отступаем, — соглашается Генка. — Только ты зря страдаешь. Пока хромой доковыляет до своей охраны. И пока придет милиция. Мы спокойно уже будем пить коньяк в Автомате. Я даже не уверен, есть ли у них в охране телефон.

Хохочущий Викторушка бросает допитую им из горлышка бутылку в находящийся напротив места жительства верблюдов вольер с волками. Перелетев двух серых, молча глядящих белыми глазами с лунным зрачком на загулявших юношей, бутылка разбивается об искусственную скалу. Волки отбегают ближе к своему домику. Бегут, спокойно тряся хвостами. Эд недовольно морщится. Пьяный Викторушка становится хамом. Вот Генка не меняется никогда. И до бесчувствия пьяный он безукоризненно вежлив. Страшнее всех ведет себя пьяный Бахчанян. Как камикадзе. Удивительно даже, как он еще жив. Однажды, после пары стаканов вина, он так опьянел, что вырвавшись из рук приятелей с криком "Суки коммунисты!", помчался по Сумской. За что его, естественно, радостно арестовали дружинники. Хорошо, что сцену ареста видел Мотрич и тотчас же прибежал в Автомат: "Баха арестовали!" Все находившиеся в Автомате декаденты, интеллигенты, поэты и художники, с полсотни людей, бросились в штаб-квартиру дружинников, находящуюся рядом с Зеркальной струей, а то бы не миновать Баху тюрьмы. Официальный поэт Аркадий Филатов — харьковский Вознесенский, потрясая билетом члена Союза писателей,

с большим трудом уговорил дружинников выпустить Вагрича из лап. Баху повезло, что все это произошло в шесть тридцать вечера, после окончания рабочего дня, и Автомат был полон своих людей. Опыней Бах в четыре часа дня... уф, страшно представить себе, что бы с ним было.

В другой раз, в присутствии Генки, Эда и Фимы, пьяный камикадзе (они проходили мимо забора какого-то завода) вдруг повис на полотнище флага, висящего у проходной. Повис и, сорвав флаг, издал воинственный клич, бросился бежать. Менее пьяные ребята, перепуганные, делать нечего, побежали за ним. Из проходной выскочили охранники и бросились их догонять, стреляя. В воздух ли они стреляли или в ребят, так и осталось невыясненным, ибо никто не оглянулся, бежали как спринтеры. Хорошо, что было уже темно. Их никого не поймали и не ранили. Флаг Вагрич сбросил с моста в воду речки Харьков, и он медленно и неловко тонул, набухая грязной водой. Армянин, южный человек, казалось бы, должен пить вино ведрами и не пьянеть... Нет, Баху пить нельзя совсем, он становится бешеным.

Генка оделся, и они отступают между вольерами и клетками к оврагу. Когда хорошо знаешь местность, то оперировать на местности легко. Они немного задерживаются, переправляя массивную Анну Моисеевну через ограду.

— Предлагаю развалить ее на хуй, чтобы раз и навсегда обеспечить себе спокойный проход на территорию зоопарка, — говорит Ленка.

— Пидармерия сразу же отстроит, — мычит Поль. — Приедет дюжина гегемонов с лопатками и цементом и заделают дыру.

— Да еще стеклышек поверх ограды в цемент натыкают, — хихикает пьяный Викторushка.

Приземляясь уже вне зоопарка, Анна сломала каблук, и теперь идет босиком. Наблюдая в профиль пару слоеных подбородков и нос располневшего за последний год мсье Бигуди, идущего рядом, Эд вспоминает портреты, выполненные Павлом-Полем, такие же слоеные, как его подбородки, выполненные в режущих глаз цветах. Особенно много у экс-матроса желтого цвета в его работах. Желтый цвет ассоциируется с какой

болезнью? — думает Эд. — С паранойей?

Интересно, что сказал бы доктор Вишневецкий по поводу Поля? Ясно, что сказал бы он по поводу Анны. А вот Поль, нормальный человек Поль или нет? По его рисуночкам судя, он ненормальный, и скорее всего параноик. Доктор Вишневецкий... Мучитель Эдуарда. Палач, фашист и ученый...

12

— Вы опять утверждаете, что вы здоровы, Эдуард? — слабо-зеленоватые, как выцветший глазок приемника, глаза доктора иронически щупают лицо "больного". — Основная характеристика каждого живого существа, от самых примитивных существ до человека — наличие инстинкта самосохранения. Поместите пинцет в каплю воды, населенную амебами, и вы увидите под микроскопом, как эти примитивные одноклеточные убегают от пинцета, опасаясь его. Это простейшее проявление могучего инстинкта самосохранения. А у вас, дорогой Эдуард, этот инстинкт отсутствует. Вы пытались убить себя, перерезав себе вены, выпустив кровь из тела. Следовательно, вы больны.. — доктор торжествующе смотрит на сидящего перед ним юношу в большом не по росту застиранном фланелевом халате, белые штанины кальсон торчат из-под халата, босые ноги утопают в гигантского размера шлепанцах.

— В такой одежде хоть кого можно сделать больным, доктор. Вас одень в такие тряпки, вы тоже станете больным. Я не верю в то, что я больной.

— Ни один психически больной никогда не признает себя больным, — иезуитски улыбнулся доктор тонкими губами и захрустел, вставая из-за стола, крахмальным халатом. — Спросите ваших соседей по палате — больны ли они? Каждый ответит — "нет"... — Доктор, подойдя к окну, заглянул в осенний парк. За зарешеченными окнами был грустный бессолнечный осенний день, теплый и хмурый. Корпус был окружен необъятным парком, называемым Сабурова дача. Несколько больных в стеганых синих фуфайках граблями сгребали с газонов листья.

— ... К тому же... — высокий и тонкий доктор повернулся и грациозно, одним пальцем вдвинул выше на нос очки в золоченой оправе, — к тому же вы не захотели сообщить мне реальные причины вашего поступка.

— Я же вам сказал, что у меня нет причин. Нет... — Эдуард подумал, что все же лучше разговаривать с этим фашистом, чем сидеть в палате с сонными товарищами больными. Второй месяц он в больнице. Неделю назад его перевели с буйного отделения, куда его равнодушно бросили в ту странную ночь в октябре 1962 года. Месяц промучился он в буйном, в окружении параноиков, шизофреников всех мастей и тяжелых психопатов. За "хорошее поведение" перевели его на "спокойную" половину корпуса. На спокойной половине его тоже окружают шизофреники, параноики и психопаты, но тихие. И на спокойной у каждого своя койка. На буйной первую пару недель ему пришлось делить кровать с мутноглазым мальчишкой, младше его. Однажды ночью Эдуард проснулся от того, что мутноглазый гладил его член. Пришлось дать мальчишке по челюсти.

На спокойной половине Эдуардом заинтересовался доктор Вишневецкий. Каждый вечер он теперь вызывает Эдуарда на собеседование или заставляет его решать разнообразные тесты, большей частью очень глупые.

— Именно потому, что вы не можете сколько-нибудь связно изложить причины, толкнувшие вас на попытку самоубийства, вы и лежите здесь, дорогой мой юноша! — доктор сдержанно, одними глазами, улыбается.

Сотоварищи больные, а на Сабуровой даче лежат люди с опытом, есть такие, которые лежат лет по двадцать, с небольшими перерывами, говорили Эдуарду, что молодой доктор Вишневецкий явно хочет сделать из него, Эдьки Савенко, показательное врачебное дело, может быть, написать по его истории болезни диссертацию. Начальница доктора Вячеслава Ивановича Вишневецкого — зав. отделением — профессорша "Нина", Нина Павловна, в отделении почти не бывает, потому Вишневецкий что хочет, то и делает. — Рвется, сука очкастая, к власти. Хочет стать зав. отделением, — говорят опытные больные за киселем.

— Доктор, в конце концов это моя жизнь, не ваша. Если

даже я хотел умереть, то это мое дело! И не называйте меня, пожалуйста, "дорогой юноша". Вы всего на шесть лет старше меня. Выпустите меня отсюда, веду я себя прекрасно. Ни один медбрат не может сказать, что я возбуждаюсь. Я терпеливо жду второй месяц. Нина Павловна обещала меня выпустить к октябрьским праздникам. Но уже и праздники прошли...

— Мы не можем вас выпустить, пока не узнаем причину или причины вашего аномального поведения, Эдуард. Мы не можем взять на себя такую ответственность. Если вы могли поднять руку на свою собственную жизнь, с куда большей легкостью вы можете завтра решиться оборвать чужую жизнь — убить человека, — доктор Вишневецкий со спокойной улыбочкой святого глядит на "больного". Светлая прядка волос упала на его гладкий спокойный лоб.

Больной сплетает и расплетает пальцы рук, сложенные на коленях. Доктор Вишневецкий похож сейчас на злодея — фашистского ученого из Аушвица — думает больной. Сказать ему об этом? Если сказать — никогда он, сука, может быть не выпустит меня из этой тюрьмы. Хулиганство одерживает верх над инстинктом самосохранения, и больной, кладя ногу на ногу, большой шлепанец свисает, обнажая розовую пятку, роняет: — Знаете, доктор, вы напоминаете мне эсесовских докторов из Аушвица. Я видел таких, как вы, в кино. Вы готовы замучить экспериментами тысячи людей, лишь бы доказать правоту вашей теории.

— Причина тому — халат, мой дорогой юноша. И только, — ни одна мышца не шевельнулась на лице Вишневецкого. — Белый халат — символ моей профессии. В белом халате можно совершать злодеяния и спасать людей от смерти. Халат как армейская униформа. Армии покоряют, порабащают, но и освобождают тоже. До вашего прибытия в отделение у нас был больной Приймаченко. Деревенский парень. Попал он к нам по той же причине, что и вы — пытался покончить с собой. Повеситься. Спасли его случайно. Сестра зашла в сарай за каким-то деревенским пустяком — ухватом может быть, веником. Он висит. Срезали, откачали, привезли к нам. Зимой он пролежал у нас. Вел себя безукоризненно. Весной мы его выписали под ответственность родителей... — Вишневецкий остановился и тор-

жествующе поглядел на юношу, зло заскрипевшего стулом. — Он зарубил сестру и мать через две недели... Так-то... А теперь займемся нашими тестами... С вашего разрешения мы пройдем в лабораторию...

13

Эдуард лежит на кровати и смотрит в потолок, хотя подчиняясь уставу отделения, должен был бы спать. По идее Нины Павловны, их палата "сонная" — т.е. их лечат сном, всех четверых. На деле огромный грузин Аваз занимается онанизмом, накрывшись одеялом с головой, "хроник" дядя Саша, уже восемнадцать лет живущий в "гостинице Сабурка", как он ее любовно называет, читает книгу. Интеллектуал Михайлов, напротив, никаких книг не читает и единственный спит, как положено.

Сабурка хуже тюрьмы — думает Эдуард. В тюрьме хоть отсидел свой срок и вышел. А здесь — неизвестно, когда тебя выпустят. И пожаловаться некому. Раньше, говорят, можно было выписаться под расписку отца и матери или других близких родственников, которые расписываются нести за тебя ответственность, приглядывать за тобой, чтобы ты не натворил непозволительных дел на свободе. Сейчас, после случая с Приймаченко, выписаться под расписку невозможно. Эдуард запугал отца и мать, рассказав им, каких ужасов он тут насмотрелся, и те согласились взять его под расписку домой, но администрация и в первую очередь его личный враг — доктор Вишневецкий — противятся.

— Эй, Аваз, прекрати на хуй! Позову медбрата! — кричит дядя Саша, оторвавшись от книги. Пружины под мощным телом Аваза сотрясаются все чаще.

— Дай человеку кончить, дядь Саш! Тут озвереешь от скуки, сперма из ушей полетит. Потом он же человек южный. — Эдуард не любит труса дядю Сашу. Аваз — громадный богатырь — веселый румяный парень. Единственное неудобство, происходящее от него в палате, состоит в ежедневных сеансах онанизма, всякий раз в одно и то же время. Но в буйном отделении Эдуард насмотрелся на куда худшие вещи. Суку дядю Сашу по-

селить бы с бывшим лейтенантом-ракетчиком Игорем Романовым, тот онанировал 24 часа в сутки и при этом еще орал как раненая кошка. А татарин Булат, обосранный и бегающий по палатам голый, весь в пуху от разодранных им подушек? А кататоники? Жирный дядя Саша выебывается...

Грузин, застонав, замирает под одеялом.

— Кончил! — с презрением констатирует дядя Саша.

— Как странно, — думает юноша. Он хочет как можно скорее вырваться отсюда на волю, а дядя Саша, напротив, страшно боится того, что его выпишут. Нина Павловна держит его по знакомству, она предпочитает иметь таких больных "хроников", с ними меньше возни, лежат себе да лежат. Но мест для всех сумасшедших Харькова и харьковской области и Украины не хватает в знаменитой больнице, посему, кажется, дядю Сашу скоро выпишут. И он этого боится ужасно. Здесь он наел морду, регулярно и неплохо питается, по вечерам смотрит телевизор в красном уголке, хорошо спит, и главное — не работает. Потеря свободы его как будто не волнует. К тому же санитары и врачи спокойно пускают его гулять на весь день, если он хочет, не во двор, как всех нормальных сумасшедших, но в парк, и он сколько хочет может шляться между корпусами (их на территории Сабурки штук десять-пятнадцать) — дышать воздухом. Не жизнь, а малина.

— Дядь Саш, давай я за тебя на волю пойду? А ты за меня здесь останешься?

— Нельзя. Не позволено.

— Ебанный мудака, — думает Эдуард. Хуже кататоников. Те хоть лежат растениями не по своей воле — больные. Им соки через трубочки вливают в желудок. Кататоники и не разговаривают. Они поражены болезнью. А этот толстомордый ничего не хочет от жизни. Лежит, книгу читает, потом пойдет манную кашу с маслом жрать. Тьфу, мерзость какая! И не он один такой. На Сабурке много "хроников", и лишь часть из них производит впечатление больных.

Ой, как ему здесь невыносимо! Он каждый день проклинал себя за то, что может быть желая произвести впечатление на Вальку Курдюкову, перерезал себе вены. Краснощекая, бегающая зимой в мужской шапке-ушанке, менструирующая с

девяти лет Валька до больницы была его подружкой...

Роман их начался летом на Журавлевском пляже. Загорелый бездельник Эд и четырнадцатилетняя Валька бродили, обнявшись, утопая в песке по щиколотки, или лежали, обнявшись, на раскаленном песке у бурой воды, порой становящейся кровавой. Единственный на весь город пляж был расположен рядом с кожевенным заводом, и время от времени завод выпускал в воду свои ядовитые соки... Валька... Тогда как раз запустили в космос Терешкову, и имя Валя было модным. "Браво, Валя, браво-браво, Валя /Браво-браво, Валя/ — бис!..." — пел польский квартет или квинтет из репродукторов, висящих на столбах пляжа. Атлеты-спасатели в шлюпках расправляли свои каменные мышцы...

Когда Эдуард лежал в буйном отделении, она приходила часто, смешная, энергичная, веселая под окна, и они переговаривались через форточку. Валька кричала ему: — Не грусти, Эд, тебя скоро выпустят! — Несколько буйных, наглядевшись на рослую крупную Вальку, отправлялись в кровати онанировать. Первое время Зорик — еврей-психопат — глава мафии в буйном отделении (в мафию порезанного Эдуарда быстро и охотно приняли. Да, читатель, и в сумасшедших домах люди создают мафии!) и его ребята разбегались вслед за онанистами, чтобы дать им каждому минимум по шее "за осквернение образа любимой девушки нашего друга", как выражался Зорик. Потом Эд перестал обращать внимание на такие пустяки, а Валька стала приходить все реже и реже. За все время, пока Эд лежит в спокойном отделении, она еще не пришла ни разу. Грустно.

Неизвестно, впрочем, перерезал ли он себе вены именно из-за Вальки. Трудно сказать, почему он это сделал. Расставаясь с ней в вечер, предшествующий "той" ночи, в ответ на ее реплику "Увидимся завтра, да?" он почему-то ответил: "Если завтра еще будет..." Почему он так сказал? Может быть, ему показалось, что Валька сделалась к нему равнодушной? Родители Вальки старались тогда разорвать их связь. Отец и мать Вальки приходили к его родителям. Угрожали, кричали... Дегенераты. Раиса Федоровна нашла родителей Вальки вульгарными.

Капитан Зильберман вызвал его к себе в детскую комнату милиции и предостерег его от связи с несовершеннолетней.

— Если подполковник Курдюков захочет, он сможет посадить тебя в тюрьму, — сказал Зильберман. — Я тебя предупреждаю по старой дружбе, Эдуард. Потому что знаю тебя уже восемь лет... Что тебе, мало совершеннолетних девушек на Салтовском поселке? — поинтересовался Зильберман.

— Да Валька совершеннолетнее самых совершеннолетних, — возмутился Эдуард. — Она крупнее старшей сестры Виктории. Она рано созрела.

— Ты прав, — неожиданно согласился Зильберман. — Я на твоей стороне. Я ее видел. Она очень крупная девочка с развитыми формами женщины. Но закон есть закон. Ей только четырнадцать лет. И закон строго карает за связи с несовершеннолетними.

— Я сам несовершеннолетний...

— Увы, уже нет, поэт, — улыбнулся Зильберман, и его усики чуть приподнялись под длинным носом. — Восемнадцать тебе исполнилось, если не ошибаюсь, в феврале. Ты уже не малолетка. Ты даже не имеешь права сидеть в моем кабинете. Тобой должен заниматься общий взрослый отдел. — Зильберман, довольный, отклонился на спинку стула. — Это Валентиной Курдюковой я занимаюсь по просьбе ее родителей, а не тобой, — Зильберман побарабанил пальцами по столу. — Ты знаешь, что твоему дружку Коту заменили расстрел двенадцатью годами?

— Знаю. Я думал, пятнадцатью...

— Двенадцать тоже немало. Притом никаких половинок срока за хорошее поведение. Будет сидеть от звонка до звонка. За особо тяжкие. — Зильберман помолчал. — Надеюсь, тебя это напугало?

— Несправедливо... — промямлил Эд. — Кот даже и не урка, он — романтик...

— Ну вот и получил. "Романтик". Закон есть закон — он не разбирает... — Зильберман вздохнул, очевидно комментируя вздохом свои какие-то мысли. — Ну, выметайся отсюда. И чтоб больше никаких. Забудь, где живет Валентина Курдюкова!

Эдуард пошел к двери.

— Стихи еще пишешь? — догнал его вопрос Зильбермана.

— Пишу иногда.

— Пиши, не бросай, ты талантливый. И помни о Коте. Жизнь свою изуродовать очень легко...

Напуганные взрослыми, они стали встречаться реже. — Нужно, чтобы родители успокоились, — объяснила Валька. — Если ты еще раз явишься домой пьяная, я застрелю твоего ту-неядца! — сказал Вальке отец и стал ежевечерне встречать дочь у школы по окончании занятий.

Валька пришла домой пьяная только один раз, и Эд был в этом не виноват. Они вместе были у Сашки Ляховича на дне рождения. Эд даже не заметил, как Валька напилась. Кажется, она свалилась от коньяка с шампанским. Даже если бы Эд и хотел проследить за Валькой и не давать ей пить, выполнение задачи было бы невозможным в толпе из полусотни гостей, разбредшихся по всем трем комнатам Сашкиной квартиры. Ему пришлось тащить мягкую и сонно мычашую Вальку на себе. Не отвести ее домой, отпустить одну было бы немыслимо. Она бы свалилась под первым же забором. С трудом подняв Вальку на второй этаж, он поставил ее у дверей ее квартиры. Он собирался позвонить в дверь и уйти, так как предвидел ужасный скандал, но Валька клонилась и сползала на пол, рискуя расшибиться о каменный пол. Эд поддержал падающую подружку, и в этот момент высыпала из квартиры вся семья: мать, старшая сестра Виктория и коренастый, стриженный ежом подполковник Курдюков, в майке, синих армейских брюках и тапочках на босу ногу.

— Мерзавец! — подполковник, почему-то подняв кулаки вверх, бросился к юноше. Мать и сестра повисли на руках подполковника. — Что ты сделал с моей дочерью, мерзавец?!

— Отец! Отец! Папа! Гриша — не надо! Гриша!

— Ты споил мою дочь, подонок! — подполковник, волоча за собой женщин, как раненый кабан волочит за собой стаю повисших на нем собак, рвался к все еще придерживающему Вальку Эдуарду.

— Ну подходи, подходи! — поманил его юный криминал и сунул руку в карман. В кармане у него была бритва. Салтовская шпана, среди которой вырос юноша, уважения к старшим никогда не имела.

Страхнув с себя женщин, подполковник почему-то ринулся в квартиру, а не бросился на юношу.

— Беги! — закричала Виктория, хватая Эдуарда за руку и

пытаясь швырнуть его к лестнице. — Беги, дурак, чего стоишь! Беги, пока отец тебя не убил!

— Это еще неизвестно кто кого... — пробурчал юноша.

— Я хо-ччу, чтоб он остался со мной... — сползая на пол, сказала на момент вернувшаяся в реальный мир Валька. — Пусть он спит со мной!

— Убью-ююю! — заорал подполковник, выскакивая из квартиры с охотничьим ружьем.

— Отец! Гриша! — женщины вновь вцепились в своего мужчину.

— Мою дочь... Негодяй! — подполковник вскинул ружье. Оставив Вальку падать, юноша уже скатывался по лестнице. "Ба-фф!" — шарахнул выстрел, и окно в подъезде разлетелось вдребезги.

— Ну и мудак! Старый мудак! — выругался юноша, выскакивая из подъезда в летнюю салтовскую темноту. — Нарочно выстрелил в окно!

* * *

Может быть, он хотел остановить начавшийся между Валькой и им процесс охлаждения? Перерезал себе вены, чтобы опять обратить ее внимание на себя? Когда он ответил Вальке: — Если завтра наступит, — Валька насторожилась. — Что ты хочешь этим сказать? — обернулась она. — То, что завтра может не наступить кое для кого. — Перестань болтать глупости, — сказала Валька. Люди всегда считают, что ты болтаешь глупости, пока ты не докажешь делом важность своих слов, — думал он, выбираясь из валькиного двора, который одновременно был двором еще десятка домов, в том числе и дома Борьки Чурилова. У выхода со двора он встретил Толика Толмачева.

Толик тогда уже ходил с цыганкой Настей, на которой он позже, через несколько лет, женился. Толик позвал его к цыганам. Они купили несколько бутылок в закрывающемся гастрономе и пошли. Цыгане жили в Валькином дворе! Дом, где жили цыгане, был старой постройки — с коридорной системой, то есть из широкого как проспект коридора двери вели в отдельные комнаты. В комнате кроме двух голых кроватей с панцир-

ными сетками не было никакой мебели. Вся компания цыган кочевала в это время где-то на юге Украины, и цыганка Настя с младшей сестрой жили в комнате одни. Зимой же в комнате собирается пятнадцать, а то и больше цыган — сообщил ему Толик. Настя и ее сестра спали на полу, на содранных с кровати матрацах, а кровати не употребляли. — У них такая привычка, — объяснил Толик.

Полночи они пили с цыганками портвейн, целовались и смеялись. Настя пела под гитару песни, а когда постучали в стену соседи, Настя стала петь еще громче. И все они хохотали как сумасшедшие.

— Бери Машу, — сказал ему Толик, когда, провожая, вышел с ним во двор. — Хорошая девка. Цыганка уж полюбит, так полюбит... Не то, что твоя подполковничья дочка. По-моему, ты Маше понравился... — И Толик вернулся к цыганам, а Эдуард пошел домой по знакомым улицам, под листвой широколиственных деревьев, во множестве живущих на улицах Салтовского поселка.

В то время он опять жил с родителями. Хотя точнее было бы сказать, что он несколько ночей в неделю спал с ними под одной крышей.

Отец был в командировке. Мать спала. Усевшись между письменным столом и телевизором, он взял из шкафа "Красное и Черное", решив перечитать некоторые приключения Жюльена Сореля. Мать вздохнула во сне и пробормотала с кровати: — Ты дома? Ложись спать. — И уснула опять. Эдуард сопровождал в это время Жюльена в спальню госпожи де Реналь, дрожа от страха ступал вместе с ним на скрипящие французские половицы.

Далее произошло именно то, что карьерист доктор Вишневский объясняет полнейшим отсутствием инстинкта самосохранения, имеющегося даже у низших животных. "Амебы, и те разбегаются, если погрузить пинцет к ним в каплю воды". Эдуард не убежал прочь от книги и своего состояния. Напротив, ему необыкновенно понравилось всемогущее и проникающее это состояние, в котором ему в одно мгновение стала ясна трагедия жизни человеческой, ее бессмысленность и ненправленность. Утверждать, что он пожелал умереть — в корне

неверно. Он скорее пожелал что-то сделать, каким-либо образом подчеркнуть свое существование, в резкой и опасной форме убедиться, что он жив...

Оказалось, что лезвие безопасной бритвы не режет вену. Лезвие безопасной бритвы легко прорезало кожу, но от тугой ткани вены на локтевом сгибе левой руки лезвие отскочило. Вена, видная в разрез кожи, синяя, скользкая и пружинистая, разрезаться не желала, хотя Эдуард и полосовал по ней лезвием резкими движениями вновь и вновь. Тогда он достал из нагрудного кармана свою опасную бритву... "Красное и Черное" оставалось открытой все на той же странице, Жюльен все еще крался в спальню мадам де Реналь. Из книги был слышен звук трущихся друг о друга паркетин старого чистого французского пола. Положив руку на книгу, Эдуард поместил лезвие опасной бритвы на вену и, отвернувшись, дернул бритву на себя. Фонтан горячей крови лизнул ему подбородок, и тотчас снизившись, полил на книгу, на стол и на пол. С чувством облегчения после выполненного задания юноша прижался боком к столу и стал ждать, когда из него вытечет вся кровь. Кому он обещал выполнить задание? Вряд ли Вальке. Младшая дочь подполковника ему нравилась. Нравилось, что крупное современное существо, водруженное на туфли-шпильки, четырнадцатилетнее, вонзая каблуки в раскаленный асфальт, идет рядом с ним, вызывая зависть ребят. "Здоровенькая девочка!" — сказал кто-то из ребят по поводу Вальки. Однако не наличие в его жизни Вальки заставило его взяться в ту октябрьскую ночь за бритву, а скорее отсутствие некоей безымянной то ли женщины, то ли духа...

Когда вытекло из него порядочное количество крови, он упал со стула лицом вниз, однако успев защититься руками и испытывая курьезное чувство одновременно стыда от того, что мать сейчас проснется и увидит его в таком виде, и желания, чтобы она проснулась. Уже лежа на полу, он чувствовал, как холодеют руки и ноги, но зато в груди скопляется приятная тихая и уютная теплота, и в эту теплоту уходит весь он — скопляется все то, что от него осталось... Потом он услышал отчетливые чавкающие звуки, как будто идешь в рваных калошах по осенней грязи и воде. "Чавк-чавк-чавк-чавк" — это билось

его сердце. Сотрясаясь вокруг пол — вокруг него бегали, очевидно. И он потерял сознание.

Впоследствии, через много лет, знакомый доктор утверждал, что умереть от потери крови, разрезав только несколько вен на одной руке, невозможно. Что, дескать, для этой цели необходимо разрезать вены по меньшей мере на обеих руках. Может быть. Как бы там ни было, проснувшаяся от звука упавшего на пол тела мать Раиса Федоровна нашла сына лежащим лицом в луже крови. Сосед, натянув штаны, побежал в находящийся через несколько домов подпункт "Скорой помощи". Телефон в 1962 году на Салтовском поселке было катастрофически немного. Санитары, прибывшие через несколько минут вместе с наконец проснувшимся соседом, повозившись, остановили кровотечение, сделали молодому самоубийце укол и, водрузив его на носилки, увезли. Вначале в хирургическое отделение оставшейся неопознанной больницы, где ему сделали переливание крови и зашили вены, а потом прибывшие с Сабурки санитары радостно забрали его на Сабурку.

14

Десять часов вечера. Из глубины парка раздается условный вой Кадика. Свистеть он не умеет. "Вууу-у! Ву-ууу! Ву-ууу!" Волков на Сабурке нет. Глупо.

Эдуард скидывает с себя одеяло. Вскакивает. На нем, на удивление жирного дяди Саши, не больничный халат, но гражданская, уличная одежда. Черные брюки Кадика, его же рубашка. Из-под подушки он вынимает туфли, натягивает их, из-под матраца — кожаную куртку. — Аваз, пора! Аваз! — трясет он за плечо грузина.

Аваз, зевая, встает. Он всегда спит после того, как прононирует. Огромный, в пижаме, пижама не больничная, но авазовская, босиком, он подходит к окну и, взяв раму за ручки, напрягшись, вынимает ее всю из стены. Дядя Саша с ужасом наблюдает за происходящим. Он не посвящен. Он не знает, что рама уже раз была вынута и вставлена. Вынув раму, Аваз с помощью юноши прислоняет ее к стене. Затем Аваз хватается ручи-

щей-лапой подпиленный у основания прут решетки и отгибает его в сторону... И второй прут. Прутья юноша подпилит ножовочным полотном. Из темноты, через разделяющее их стекло еще одной рамы, Эдуард видит радостно кривляющееся лицо Кадика. Гвозди, удерживавшие вторую раму, давно выдраны или подпилены, потому Эдуард без особого труда открывает ее, распахивая створки наружу, на Кадика. Ветер и тревожный запах осеннего парка врываются в палату. Дядя Саша ныряет с головой под одеяло.

— Привет, чувак! — Кадик стоит на лестнице. Лестница — сверх программы. Был предусмотрен только приход Кадика. — На, глотни, чувак! — Кадик просовывает в дыру бутылку. Коньяк. Эдуард делает здоровенный глоток и передает бутылку грузину, который с удовольствием всасывается в нее.

— Ну, пока, Аваз! Спасибо! — он крепко жмет грузину руку.

— Не за что... Я бы тоже свалил, но Нина обещала, что на той неделе выпишет. Нет смысла. Будь здоров! Представляю себе рожу этого педераста Вишневецкого завтра...

Юноша протискивается в дыру и, не желая пользоваться лестницей, прыгает. Невысоко, впрочем, второй этаж только. Уже спустившийся Кадик оттаскивает от стены лестницу и прячет ее в кустах. Чем позднее они обнаружат, что больной Савенко сбежал, тем лучше. Аваз обещал отогнуть прутья в прежнее положение и вставить раму в стену.

В парке стоит крепкий, настоявшийся за медлительную и красивую харьковскую осень запах постепенно умирающих на зиму растений. Крутой и волнующий запах жизни.

— Поздравляю, чувак! — хлопает его по плечу Кадик. — Следуй за мной. Моя малышка ждет нас снаружи за забором. — У Кадика в руке фонарь, и Эдуард послушно шагает за ним по невидимым во тьме тропинкам, старательно избегая тюремного вида корпусов, там и тут прячущихся за деревьями. Опять жизнь.

Это был изумительный и квалифицированный побег. Обычно убегали "легкие" больные, которым было разрешено гулять в самом сабурочном парке, а не в тщательно охраняемых трехметровоозаборенных дворах, примыкающих к корпу-

сам. Один из медбратьев, работавший на Сабурке уже тридцать три года (!), утверждал впоследствии, что это был самый блестящий побег за весь тридцатитрехлетний период.

Однако, его арестовали уже наутро. Дело в том, что он допустил банальнейшую ошибку, такие ошибки допускают большинство убежавших из тюрем или других карательных учреждений — убежав, он явился к своим. Выпив с Кадиком и его подругой "малышкой", он отправился ночевать к Толику Толмачеву. У Кадика в девятиметровой клетке разместиться на ночлег было невозможно, а то бы его забрали еще раньше. А так к девяти утра, когда санитары и милиция встали в изголовье большой кровати, где он и Толик дрыхли каждый в своем углу, беглец хотя бы успел выспаться.

Санитаров и милицию привела мать. Толмачев не был самым близким другом Эдуарда, потому к нему явились уже после того, как посетили Борьку Чурилова, Кадика, Юрку-боксеру по кличке "Жирный", Сашку Тищенко и даже Вальку Курдюкову, вызвав тем неопиcуемый гнев ее отца.

— Эх вы, сына заложили! — укоризненно сказал Раисе Федоровне компактный, по-бандитски горбоносенький красивый Толик, закосив глазами в пол, стеснялся и не мог не осудить. И криво ухмыльнувшись, Толик пожал голыми плечами, не понимал, как мать может привести мусоров к сыну. Так он и стоял в одних трусах у стены, поглядывая на Раису Федоровну с презрением. Эдуард в это время одевался.

— А вы молчите, Толмачев, — сказал лейтенант, — а то мы вас привлечем за укрытие преступников.

— Как же, большой преступник, — проворчал Толик. — Вы бы лучше настоящих преступников ловили, чем за мальчишками гоняться. Пять лбов приехали за одним пацаном. Подумать только...

Они шли по широкой лестнице вниз, дом, в котором жил Толмачев, был большой, новый, отец Толика был инвалид, потому семья и получила квартиру в самом красивом доме на Салтовском поселке, мать держала сына за руку и оправдывалась.

— Я не заложила тебя, как сказал этот вор и бандит, твой приятель. Тебя сегодня же выпишут, Эдик. Нина Павловна

клятвенно пообещала мне... Но ты должен поехать с ними туда, только чтобы оформить документы на выписку... Простая формальность. Они ведь отвечают за тебя... Они боятся. После истории с Приймаченко, зарубившим мать и сестру...

Сын слушал задыхающиеся оправдания матери и думал, что если он сейчас прыгнет в пролет лестницы, хуй они его поймают. Он свернет за угол, перебежит дорогу и протиснется в дыру в заборе школы. Через школьный двор легко пробраться невидимым, там полно деревьев, и выскочив со двора, легко затеряться в скоплении сараев и гаражей...

Он не убежал. Поверил матери. И заплатил за это очень дорого. На Сабурке его опять бросили в буйное отделение. Дежурила все та же бригада медбратьев, с дежурства которых он убежал в прошлую ночь. Для начала они привязали его полотенцами к кровати. — Если бы не профессорша, с каким удовольствием я отбил бы тебе печень, гаденьш! — прошипел старший медбрат, лысый жлоб Василий, нависая над привязанным беглецом. За убежавших больных медбратьев наказывали — лишали премий.

Ему назначили инсулиновое лечение. Нина Павловна и Вишневецкий ему даже и не показались. Пришла сестра, медбратья привязали его, чтоб не сожрал сладкого, и вкололи. Вероятнее всего, в инсулиновом лечении он не нуждался, это была месть. Медперсонал Сабурки мстил ему за то, что он посмел убежать с Сабурки. Каждый день количество вкалываемого инсулина увеличивали. Если при первых уколах Эдуард успевал дочитать поэму "Черный человек" Есенина до самого конца, то ближе к коме он успевал едва ли прочесть по памяти несколько строк...

После первой комы, тупо пожирая плитку шоколада и запивая ее сладчайшим киселем, неудачливый беглец подумал, что фашисты врачи наверняка залечат его, если он в ближайшее же время не выйдет отсюда. Безумие комы, которое он видел на других, и которое теперь применялось к его мозгу, не проходит даром для обезглюкоженных мозговых клеток. Он видел людей, прошедших несколько курсов лечения инсулином. Медлительные и вялые, заплывшие жиром, не выражая никаких эмоций, гомункулусы прогуливались парами по дорожкам парка. Очень спокойные.

В воскресенье он вышел к матери в зал свиданий, хотя до этого отказывался видеть мать, наказывая ее за предательство. — Пойди к Толмачеву и попроси его, что пусть придет вместе с тобой в следующий раз.

— К этому бандиту, — сказала мать. — Нет!

— Ты пойдешь. Ты мне должна. Ты меня бросила сюда.

— Я не знала, что они станут колоть тебе инсулин...

— Пойди к Толмачеву и приведи его! — сын встал и вышел из зала свиданий.

15

Толик в кепочке и плаще, белая рубашка и галстук в открытой груди плаща, выслушал его. — Хуевые дела, — признал он. — Ты говоришь, они тебя каждую ночь проверяют?

— Да. По несколько раз за ночь. Подходят прямо к кровати.

Толик задумался. — Я вижу, чтобы попасть в буйное, нужно преодолеть четыре двери... Слишком много дверей...

— И каких! Окна они тоже проверяют теперь. Потом, убежать с буйняка, это не из сонной палаты. Даже дверей ведь в палатах нет. Все открыто. И всегда минимум двое медбратьев сидят в коридоре.

— Единственный выход — запугать их. Нажмем... окажем психологическое давление... Я поговорю с ребятами... — Толик встал.

— Сделайте, а Толь? — попросил узник. — Сил моих нет. А то я действительно свихнусь тут на хуй от инсулина. Я уже думал санитаров передушить. И Гришку-психа подговаривал.

— Попробуем тебя вытащить, — сказал Толик серьезно. Он принадлежал к категории серьезных людей. За что впоследствии и получил большой срок.

Они пришли через несколько дней. Пришли ночью, зажгли костры вокруг отделения и стали швырять в окна камни. — Эд! — кричали они. — Даешь свободу! — и опять: — Эд! Эд!

Закрывшись одеялом с головой, он плакал. Пришли! Шпана пришла! Салтовская шпана и, может быть, и тюренская.

Голосов было много, зарево костров мощно полыхало в окна буйного отделения. Одних он не любил, даже иногда дрался, с другими, напротив, дружил, ходил на дела, воровал,пил с ними, встречался каждый день на танцах, у гастронома и просто на улицах, учился в одной школе. — Какие молодцы! — думал он, лежа в темноте под одеялом и прислушиваясь к крикам. Пришли его выручить! Как на штурм Зимнего явились. "Эд!" "Эд!"

Заволновались, закричали больные. Забегали медбратья и медсестры. Остановились, невидимые, несколько над его кроватью.

— Спит, — сказал голос.

— Притворяется, — сказал другой. — Егор позвонил в милицию и разбудил дежурного врача.

— При чем здесь дежурный врач! — раздраженный вмешался женский голос. — Звоните опять в милицию. И в пятнадцатое и в девятое. Их нужно торопить. Скажите, напала банда хулиганов. Большая банда...

— Открой только глаза, — прошипел, приближаясь к нему, голос. — Мы тебе все кости переломаем, ублюдок! — Несмотря на угрозы, голос был испуганный.

С прибытием милиции шпана ушла, растворилась, отступила в кусты и овражки и развалины эпохи второй мировой войны, сохранившиеся на обширной территории Сабуровой дачи. Милиционеры, явившиеся на двух автомобилях, потоптались вокруг отделения с полчаса, шибая вокруг тьму автомобильными фарами, и уехали. Эдуард, так и не покинувший своей кровати, уснул.

Они пришли и на следующую ночь. Опять были костры, крики, даже через мегафон (наверное, дело рук Кадика), и все окна буйного отделения были выбиты. Наутро больной Савенко удостоился чести быть вызванным самой Ниной Павловной.

— Эдуард, мы передадим вас милиции, и вас будут судить за подстрекательство к мятежу!

Больной, не спрашивая разрешения, уселся в кресло и нагло поглядел на профессоршу. Впервые после комы он почувствовал себя сильным и уверенным. — Вы говорите языком дореволюционного полицмейстера, профессор. Я предлагаю

вам включить в ваш полицейский лексикон словечко "крамола". О чем идет речь, кстати?

— А вы не знаете, невинный юноша? — раздражилась Нина Павловна и встала, нависая над большим письменным столом. Очки, стриженные в скобку, как у комсомолок тридцатых годов, но седые волосы. — Полюбуйтесь на этот ультиматум, который нам подбросили вчера ваши дружки-бандиты! — Нина Павловна протянула ему большой кусок красной бумаги, небрежно оторванный, может быть, от плаката, посвященного прошедшему дню сорок пятой годовщины революции. "Если вы не выпустите братишку, гниды, мы сожжем ваше медицинское гнездо к ебеней матери! И никакая милиция вам не поможет — убийцы в белых халатах!"

Больной пожал плечами. — Я их не просил. Они сами.

— Эдуард, немедленно скажите своим бандитам, чтобы они прекратили налеты. Будет хуже и вам и им. В следующую ночь милиционеры сделают большую облаву...

— Не проще ли действительно выпустить меня, раз уж они меня так хотят? — невинно заметил больной.

— Ты думаешь, ты нам так уж нужен здесь?! У нас коек не хватает, люди месяцами на очереди стоят.

— Ну и выпустите, койка освободится, и все будут довольны!

Нина Павловна вздохнула. — А кто будет отвечать, если ты выйдешь и убьешь человека? Тебя привезут сюда же, только в другой корпус, а меня снимут с работы. — Нина Павловна сняла очки и, глядя в сторону, сообщила: — Завтра прилетает из Москвы старый профессор Архипов, специалист с мировым именем. Освидетельствовать одного специального убийцу. Так вот, он согласился заодно посмотреть и на тебя. Если он решит, что ты безопасен для общества, мы тебя выпишем... А теперь сделай одолжение, дай приказ своей банде, чтобы они от нас отстали. Не говоря уже о разбитых стеклах, больные в истерике.

Эд попросил разрешения позвонить. Он набрал номер мастерской, где Кадик ремонтирует электроприборы. — Кадиллак, это я! Скажи ребятам, что все в порядке. Отбой операции... Может быть, завтра... Надеюсь. Пока.

Нина Павловна надела очки и убежденно сказала: — Умрешь в тюрьме.

Профессор Архипов, усталый, морщинистый старик с простым лицом дедушки-крестьянина, сидел в кабинете Нины Павловны за ее столом. На нем была темная, в клетку рубашка без галстука и толстый пиджак-букле. По левую руку от него сидела китаянка в белом халате, по правую — необычайно резко выделяющийся на фоне белого халата улыбающийся негр.

— Здравствуйте, поэт Эдуард Савенко! — крестьянин-профессор встал и протянул юноше руку. Недоумевая, больной Савенко руку взял. — Это мои аспиранты, — представил китаянку и негра профессор. И китаянка, и негр пожали руку больного. — Садитесь, устраивайтесь поудобнее!

Юноша сел и забросил ногу за ногу. Ему было неудобно перед китаянкой и негром за нелепость своего больнично-банного одеяния. Хотя медбратья заставили его одеть на это свидание новый халат, новые кальсоны и новые тапки. Показушники!

Профессор Архипов, мягко улыбаясь всеми своими морщинами, смотрел на больного. — Я прочел твою историю болезни, поэт, — сказал он, вдруг переходя на "ты".

— И что? Что вы решили? — больной агрессивно поглядел на профессора.

— Ты авантюрист, — сказал профессор спокойно. — Но авантюризм не болезнь, и посему ты не по праву занимаешь место в стенах этого почтенного заведения. — Негр и китаянка улыбнулись, как будто они понимали по-русски. — Сегодня тебя выпишут.

Больной обалдело глядел на профессора. Он ожидал, что его выпишут, но не так... Старичок весело и устало смотрел на больного. — Но ведь я же... я же пытался покончить с собой...

— Глупости. Я не верю в то, что ты серьезно собирался умереть. Ну-ка, покажи руку?

Больной отвернул широкий рукав халата и показал профессору шрамы. Профессор помял руку и жестом пригласил китаянку и негра взглянуть. Что-то сообщил им на английском языке. Китаянка и негр согласно кивнули и опять заулыбались. — Желаящий покончить с собой не заботится об аккуратности разрезов, дружок, — сказал профессор. — Смотри, ты даже не перерезал вену полностью, а только взрезал ее. Ты явно боялся

переборщить, боялся задеть сухожилие. Ты хотел жить, и умирать не собирался. Возможно, что ты не отдаешь себе отчета в этом, но поверь мне, это так. И со стула ты упал намеренно, чтобы мать проснулась и могла тебя "спасти". Ты хотел внимания от мира, поэт. Очевидно, мир не уделял тебе достаточно внимания... — Больной молчал, слушая странного профессора.

— Но за внимание мира нужно бороться. Резать вены — далеко не самый совершенный способ борьбы за внимание... — профессор отклонился на спинку кресла и, склонив голову набок, как бы полюбовался Эдуардом. Во всяком случае, на лице его отразилось удовольствие. — Авантюрист... авантюрист... — повторил он. — Люблю эту породу людей. Я сам авантюрист, — закончил он. И встал. — Иди, и не делай больше глупостей. Тебя выпустят под мою личную ответственность. Живи, гуляй и помни, что я тебе сказал...

— Спасибо, — пробормотал больной, повернулся и вышел. — Какой удивительный старик, — подумал он. — Как он все быстро и верно определил. Ведь я и вправду умирать не собирался. Не от чего мне умирать. Жизнь просто скушная... Ведь последний год даже грабить магазины стало скушно...

К вечеру пришел отец в шинели и они вместе, по вдруг выпавшему снегу, пошли домой. Отец не ругал его. Может быть, старик Архипов поговорил с отцом, а может быть, отец сам догадался молчать или говорить не о Сабурке.

16

Генка, Поль и Фима пошли в Автомат, повели отмывать Леньку Иванова. Эд и Викторущка провожают Анну до самого дальнего выхода из парка. Анна идет босиком, держа туфли в руках.

Анна хотела сломать и второй каблук, чтобы не идти домой. Она боится, что Эд опять убежит с ребятами без нее, и одним развлечением меньше будет в ее жизни. Но из сломанного туфля торчит гигантского размера шуруп, и вытащить его нет никакой возможности, потому Анне приходится идти домой за другими туфлями.

У выхода из парка на улицу, перпендикулярную Рымарской, Эд и Викторюшка останавливаются под акацией. — Все. Дальше вали одна. Нам нужно поговорить с Виктором. Встретимся через полчаса в Автомате. — Эд, взявшись за ствол акации, быстро обернулся вокруг дерева.

— Ты что, молодой негодяй, не можешь пройти еще сотню метров и довести свою Анну до дому? — Анна Моисеевна, без туфель ставшая маленькой и круглой, обиженно моргая глазами, потерлась задом о гранитную тумбу, пышно воздвигнутую у выхода из парка.

— Аннушка, — весело и пьяно Викторюшка расшаркивается перед Анной, — ничего не бойся. Я за ним поспежу.

— Вы правда будете в Автомате?

— Правда. Генка ведь пошел в Автомат.

— Разумеется, как же ты можешь бросить своего дорогого друга Генулика больше, чем на пятнадцать минут! Анну ты можешь бросить без стыда! Страдалица Анна!

Страдалица поворачивается и плетется в сторону Рымарской. Эд смотрит вслед подруге, размахивающей туфлями и сумкой, и думает, какая все же большая у подруги задница. С усмешкой. Добрый Эд.

— Хочешь скажу, как называют твою Анну за глаза? — хохочет вдруг Виктор.

— Скажи.

— А обижаться на меня не станешь после этого?

— Чего ради...

Викторюшка мнет, потирает жесткую свою немецкую щеку со шрамом. — "Царь-жопа", — выдавливает наконец инструктор гитлерюгенда и, облегчившись, опять становится наглым. Ухмыляется.

— Царь-жопа... Не очень лестно, но справедливо, — думает Эд. — А если разобраться, может быть даже и лестно. Жопа-царь.

— Ну тогда уж скорее царица-жопа, — смеется Эд. — Анна утверждает, что это у нее от неправильного обмена веществ такая задница. Все остальные части тела у Анны нормальные. А неправильный обмен веществ у нее будто бы оттого, что она "шиза"...

— Анна — фрейлайн что надо, — уже серьезно говорит Вик-

торушка. — Красивая. Физиономия красивая. Мне бы такую!

— Ты бы с Анной жить не смог. Она хочет во всем участвовать. Ты, насколько я тебя изучил, Виктор, любишь, чтобы женщина знала свое место.

— Ты прав, — легко соглашается Виктор. — Умные фрейлайн меня раздражают.

— Умная ли Анна? — думает Эд. — Черт его знает. Иногда — да. Но то, что Анна может быть разрушительно остроумной — несомненно. Иной раз на нее нисходят как бы припадки ядовитого сарказма, и тогда держись, окружающие! Эду достается меньше всех — он свой, хотя и он уже отлично знает от Анны, что рот у него "как куриная жопка", а глаза — "мама спичкой проковыряла". Не считаясь ни с какими нормами поведения, Анна способна выговорить человеку в лицо именно то, что он тщательнее всего скрывает. Поэтому многие в том обществе, к которому принадлежат Эд и Анна, Анну Моисеевну боятся и недолюбливают. Резкая женщина.

Не торопясь, дует легкий августовский ветерок, день сползает чуть заметно к вечеру, Эд и Викторушка идут вверх по Сумской.

— Между прочим, мон копэн, ты мне остался должен пятерку за последние "лессон франсэз"...

— Возьми, пока есть, — Эд вынимает нетронутые пятнадцать и протягивает Викторушке пятерку. Генка никогда не позволит Эду истратить деньги, пока его, генкины деньги, не кончились. Генке бы быть меценатом, покровителем людей искусства.

— Зайдем в пирожковую? Хавать опять хочется. Слопаем по пирожку с мясом. Я угощаю, — предлагает Виктор. Они шагают наискось через парк Шевченко.

Виктор — человек небогатый. На ногах у него сандалии, которые Эд не надел бы, даже если бы его заставляли. Хаки-брюки ему сшил Эд в счет уроков французского. В сущности, Эд очень мало чего знает о Викторе, в его доме на Тюренке он никогда не был. А если ты не был в жилище человека, не видел его вещи, трудно решить, кто такой этот человек. Как и личность мсье Бигуди, личность Виктора покоится на пьедестале языка, на фундаменте немецкого. И на языке уже вырастает

Виктор — компактный, сухой, неустойчивый инструктор спортивных молодых гитлеровцев, идущих в поход со скатками за плечами. Впереди Виктор в шляпе из соломки, объясняющий голоногим гитлерюгендовцам пейзаж: "Вот это, мальчики — замок Теплиц... Правое крыло разрушено. Когда наш бравый король Фридрих...", и тому подобное... Виктор с Тюренки. Эд прожил по соседству с Тюренкой десяток лет и знает многих тюренцев... Викторушка должен быть более или менее провинциален, даже если он этого и не хочет, немного жлоб.

Выйдя из широколиственных лабиринтов накаленного зноем и как всегда пыльного в августе парка, дождей не было месяц, они выходят к памятнику Тарасу. Вислоусый возвышается над парковыми деревьями, глядит хмуро. Может быть, ему не нравится, что "москали" так и не ушли с его родной Украины, а напротив, окопались здесь и укрепились. Вероятнее же всего у бывшего крепостного, насильно отданного в солдаты, просто плохой характер. Чуть пониже Тараса расположились его герои — Катерина, бандиты — гайдамаки (сейчас бы их называли "фридом-файтерс"), а еще ниже гранитный цоколь уходит в только что высаженные осенние цветы — хризантемы и астры. Парковые рабочие Харькова — необыкновенные умельцы. Они преспокойно высаживают из цветов даже портреты вождей. Кого хочешь высадят — Ленина, Сталина, Маркса... У ног Тараса можно было бы высадить его стихи, что-нибудь самое известное, вроде:

"Садок вышнэвый коло хаты
хрущи над вишнямы гудуть..."

Хрущ уже не гудит над вишнями Украины и России. Хрущева сняли в том же году, в котором Эд поселился вместе с Анной и ее матерью, стал жить единственным мужчиной в еврейской семье.

Бодро вышагивают Викторушка и Эд по потрескавшемуся асфальту. Кожаные босоножки Виктора и плетеные туфли поэта стучат энергично, будто по важным делам идут молодые люди, на деле же — только в пирожковую. Спустившись по нескольким широким гранитным ступеням к Сумской, глядят налево... направо, и пересекают самую прославленную, довольно узкую артерию города. Старый Центральный Гастроном

встречает их грудью, а налево — против Гастронома, через небольшую улочку, вливающуюся в Сумскую, чтобы в ней закончиться, — пирожковая в подвальном помещении. Новенькая, с сосновыми светлыми прилавками. На стене — фреска из камушков — танцующие украинец и украинка с косами и лентами, в сапожках. За такие фрески хорошо платят художникам. Стульев нет — чтобы съели пирожки и уходили, иначе будут скопляться. Харьковские люди любят скопляться — им повод только дай. Эд и Викторושка спускаются в светлый полуподвал. Пирожковую как бы взяли и из какой-нибудь Риги перевезли в Харьков. Эд был в Риге в 1964 году, он знает, там таких заведений множество.

В светлой пирожковой над сосновыми прилавками наклонились с десяток жующих.

— Привет, Виктор! Привет, Эд! — Один из жующих, обладатель черепа, начисто лишенного затылка, почтительно приветствует их, отвлекшись от пирожков. В отличие от Виктора, Виктора Сухомлинова зовут Виктором или Сухомлиновым. Сухомлинов вежлив, длиннонос, стеснителен, имеет привычку хихикать в кулак. Художник газеты "Ленинська Зміна" (газета расположена в полсотне метров выше по Сумской) напоминает чеховского героя, каким-то образом оказавшегося в советском времени. По авторитетному мнению Баха, Сухомлинов хотя и модернист, но вялый. Большей частью Сухомлинов откровенно подражает не первой свежести польским модернистам, которые сами кому-то подражают.

Сухомлинова иногда приводит на Тевелева 19 Милка — одна из девочек Мотрича, это Милка и Вера присутствовали в ту снежную ночь в парке, когда Эд впервые услышал "живого поэта". Со времени снежной ночи Милка вымахала в здоровенную кобылу, и черноволосая баба в метр восемьдесят ростом хочет замуж. Штатный художник "Ленинской Змины" подает надежды в будущем стать штатным художником какого-нибудь органа покрупнее, выйти за него замуж респектабельно, — очевидно думает Милка, но, кажется, ей с Сухомлиновым скушно, и она с удовольствием напилась бы с Мотричем.

Сухомлинов вежливо отодвигает тарелку с останками дожевываемых им пирожков, чтобы дать возможность Виктору

поставить на сосновый прилавок их тарелки. — Как поживаете, Виктор? — спрашивает он робко. Сухомлинов робеет перед чужеземным и иностранным, будь то журнал, брюки, туфли, картина, гравюра или Поль и Викторушка, в совершенстве знающие иностранные языки.

— Поживаем, гуд. А вы, герр Сухомлинофф? — кривляется Викторушка, подвигая Эду его два пирожка.

— Спасибо, неплохо, — вежливый Сухомлинов аккуратно обтирает салфеткой углы безгубого тонкого рта. — Мне пора, господа.

— Какие у него удивительно дореволюционные манеры, — думает Эд. — Может быть, на нем незримо, но властно сказывается влияние его допотопной фамилии. Кажется, один из министров Временного правительства звался Сухомлинов? Или царский министр? Интересно, влияет ли фамилия на человека?

— Куда же вы так быстро исчезаете, герр Сухомлинов? — Викторушка без церемоний жадно заглатывает пирог, взяв его обеими руками. — Могли бы угостить приятелей стаканом портвейна.

— К сожалению, меня ждет работа, господа, — Сухомлинов стеснительно улыбается. И совсем непонятно, то ли он действительно сожалеет, что не может угостить стаканом портвейна, или же рад сбежать от слишком волевых приятелей.

Глядя, как несгибающийся, короткоостриженный, беззатылочный Виктор в серых штанах, рубашке и пуловере выбирается из пирожковой по в виде полиграфического знака американского доллара стелющейся лестнице, Викторушка говорит громко, чтобы Сухомлинов слышал: — Скажу тебе, Эд, мин герц, этот тихий жмот мог бы и поставить нам бутылку портвейна. Бессчетное количество раз он приходил к вам с Анной, занимал ваше время и пил ваше вино.

— Ты хочешь портвийну? — спрашивает сзади голос. Обернувшись, ребята видят пьяного человека в белой рубашке. Конопатая крупная физиономия опухшего от выпивки непородистого блондина. Стрижка под полубокс, нарочито старомодная, как и мешковатые брюки. На босых ногах такие же сандалеты, как у Викторушки. Корявые пальцы ног вылезли из сандалет. Ногти больших пальцев совсем черные, как будто пьяному со-

всем недавно свалился на ноги сейф. Человек вынимает из-под расстегнутой на груди рубахи бутылку.

— А! Третий великий украинский поэт Корнийчук! — ликует Викторушка. — Что ж, мы не откажемся. А из чего пить?

— Який барын найшовся. Пий з бутылки! — названный третьим великим украинским поэтом сует бутылку Викторушке. Вино в бутылке взболтано до пены, а может быть, это слюни великого третьего.

Почему он изъясняется на этом тарабарском языке — не украинском и не русском, — думает Эд с недоумением. — Во дурак-то!

— Нет, херр Корнейчук, зачем же отвергать благо цивилизации — стакан, когда ничего не стоит получить его у персонала пирожкового заведения. — Не отдавая бутылки, Викторушка молодцевато шагает к прилавку и, произнеся несколько волшебных слов в адрес румяной девушки с прыщом на щеке, одетой в белый колпак, возвращается с тремя стаканами. Пить алкогольные напитки в пирожковой запрещено. Но так как из новых окон пирожковой видны старые окна Гастронома, то естественным образом происходит постоянная миграция народа оттуда — сюда. Персонал пирожковой не возражает: пьющие и закусывают пирожками, и оставляют бутылки: каждая 12 копеек. Милиция, та — да, возражает.

— Я понимаю, в полевых условиях, херр Корнейчук, — продолжает Викторушка, — когда на квадратные километры вокруг ни в одной хате не найдешь ни одного стакана, все суки немцы позабирали, и к тому же убили брата Миколу, — тогда можно пить из горла...

Ребята выпивают теплую жидкость. Эд с содроганием, вспомнив пену или слюни в бутылке.

— Разбаловались, измягчали вы все, — скрипит Корнейчук. — Под влиянием москалей и жыдив...

— Во, экземпляр! — думает Эд. И откуда он такой взялся. К числу декадентов, интеллигентов, мистиков, физиков, сюрреалистов или фарцовщиков он, такой, разумеется, не принадлежит. По всей вероятности, он из компании "Ленинской Змины". Комсомольская газета выходит на украинском языке. Вокруг газеты — свой круг людей. "Дядьки" — называет их

Мотрич презрительно. Хотя иной раз Мотрич и прошагивает две сотни метров, отделяющие Автомат от "Ленинской Змины", дабы вытащить из дядьков пару рублей. (Даже беззатылочный Сухомлинов и другой художник ЛенЗмины — Крынский, по стандартам Автомата тоже отсталые люди, выглядят авангардистами рядом с "дядьками"). Дядьки все ходят на работу с толстыми портфелями, одеты они в пыльные, широкие, на пару размеров больше, чем необходимо, костюмы. Похожи они на огородных пугал. И говорят между собой по-украински, может быть для того, чтобы не забыть язык. А может быть, чтобы в случае, если Советский Союз распадется на республики, переселиться чуть выше по Сумской в колонный небоскреб обкома партии и выступать оттуда перед народом, говоря народу что-нибудь на отлично сохраненном украинском языке. Пьяный Корнейчук из их компании... Эд вдруг окончательно вспоминает, что это о Корнейчуке рассказывал ему Мотрич. Конечно. Стихи конопатого и краснорожего Корнейчука вышли отдельной книжкой в Канаде. И в Канаде же, где, говорят, живет много украинцев, какой-то украинский националистический журнал назвал Корнейчука третьим по значению украинским поэтом. Первым они называли киевского поэта Виталия Коротича. Эд читал стихи Коротича, они показались ему украинским переводом стихов Евтушенко. Корнейчук, значит, третий. Может быть, по этому поводу он пьет, пуская слюни в бутылки?

Третий по значению отламывает кусок от пирога Викторушки и, неряшливо жуя, предлагает: — Ну што, хлопцы, выпьемо ще? Я маю пару карбованцев...

— Нет, — отвечает на вопросительную мину Викторушки Эд. — Мы должны идти. Нас ждут.

— Ну який гордый. "Нас ждуть", — передразнивает его третий по значению. — Хлопци з ЛэнЗмины казали, шо ты с жидивкою жывэш. И тоби не соромно, а? Ты ж Савэнко, Савэнко ж твоя фамилия, я знаю, шо ж ты с жидивкою? Ты ж наш...

— Эй, ты что, охуел, милый? — ласково говорит Викторушка и легонько касается плеча Корнейчука. Когда тот поворачивается к нему, Викторушка с улыбкой бьет его левой рукой в живот, а ребром правой — по горлу.

Третий по значению отлетает к стене, пересекая луч солнца, исходящий из окна. В луче после пролета украинского поэта плавают пылинки. Он сбивает девушку-студентку с ног, еле удерживается на ногах, но упрямый, двинув кадыком, кричит: — Хоч убийте мене, не стану мовчати! Ви з жидками зв'язалися й їм жопи лижте! Вона жидівка тобі дурня своєю юшкою менструальною напоила, вот ты и забав шов ты Саванко и назвав себе Лимонов и жидкам служишь!

— Ну ты и мудак! Фантастический мудак! — бросает Эд третьему украинскому. — Идем, Виктор, ну его, урод, на хуй!

Викторушка, уже было снявший свою шляпку из соломки, чтобы не помять в драке, водружает шляпу на голову, и они, к облегчению всех посетителей пирожковой, поднимаются по лестнице. Украинский поэт взбирается за ними. Они выбирают на Сумскую. Стоя в дверях пирожковой, рубаха расстегнулась совсем, обнажая белое брюхо, Корнейчук орет:

— Схамэнися Саванко, схамэнися! Ще маєш время. Но прийде година и як Тарас (Корнейчук указал через улицу на памятник другому Тарасу) Бульба стану судити я тебе! Ну што, запрошу, допомогли тобі твої жиди? Схаменися, Саванко, не запизнися!

Ребята хохочут. Поворачиваются и идут к Автомату.

— Что он там буровил о менструальной юшке, Виктор?

— Неграмотные пейзажи утверждают, что напоив мужчину менструальной кровью, возможно навечно приворожить его. Говорят, что это делают цыганки и еврейки...

— Ну и мракобес! Откуда он свалился на Сумскую, такой Корнейчук, из какой далекой деревни прибыл?

— Ты не бери в голову, Эд. Анна самая положительная и понимающая фрейлайн, которую я встречал.

— У Анны нет национальности! — Эд вдруг разозлился на оставшегося в дверях пирожковой насосавшегося портвейна клопа. И на себя, за то, что не среагировал дать клопу в морду. Виктор среагировал, а он нет. Нужно было врезать за Анну. Правы и Генка, и Бах — Эд Лимонов стал очень уж осторожным. То, что он боится попасть в руки мусоров — ясно, он — тунядец и шьет, не платя налога. Однако его приятелям, может быть, кажется, что он трус. — Анна — выродец! Анна — ши-

за. У шиз нет национальности. Анна ненавидит своего дядю академика — благополучную суку, и называет его "жыдом", Виктор... А этот урод!.. Бля, попадись он мне еще раз... — Эд останавливается и оглядывается назад, в сторону пирожковой.

— Успокойся, партгеноссе... То, чем ты сейчас занимаешься, у французов, язык которых ты изучаешь со мной за пятерку в неделю, называется "разговоры на лестнице". По-нашему "после драки кулаками махать". В следующий раз — бей. Не думай. Только и всего.

Виктор прав. Он старше Эда на шесть лет, но ближе к природе. Наш юноша, может быть, перегнул палку и стал слишком интеллигентен. Забыл простые законы Салтовки и Тюренки. Чтение книг и написание стихов развивают робость и замедляют мышечную реакцию, долженствующую быть немедленной. "Бить или не бить" — вместо простого животного рефлекса-решения становится философской категорией.

— Не терзайся, партгеноссе, — подбадривает его опять Викторushка. — Ты ударил, я ударил, какая разница. Главное — он получил свое. Вот Бах не мог наказать Черевченко, твой новый приятель, как ты знаешь, на полторы головы выше Баха, и здоровый лоб, мы его побили — "СС".

— Насколько я знаю, он от вас сбежал.

— Сбежал потом, но побить мы его успели. Фима сбил его с ног, а Полюшко наш битловскими сапожками по ребрам его бил и приговаривал: "Не будешь стишки писать, не будешь стишки писать!" — Виктор хохочет. — Только после хорошей порции сапожек по ребрам морячок вывернулся и, оттолкнув Фиму, сбежал в парк. Быстро бегают твой приятель...

— Ты что меня осуждаешь, Виктор? Бах с Сашкой давно помирился.

— Помирился, — согласился Викторushка и сплюнул, — а зря. И человек он хуевый, и поэт говенный. Ирке баховской хуйню какую-то о Шляпном переулке, где Ирка живет, сочинил. Мне Бах показывал. Придумал, что якобы Есенин себе в Шляпном переулке шляпы покупал. Вот за есенинские шляпки его Полюшко сапожками и потюкал. — И остановившись у входа в Автомат, Виктор изобразил озабоченного обработыванием ребер Сашки Черевченко мсье Бигуди. "Не будешь стишки писать... Не будешь стишки писать..."

Весной 1967 года Сашка Черевченко взял Эда с собой в командировку. Почему? Просто по своей прихоти, очевидно. Сашка как раз тогда получил премию Ленинского комсомола и стал специальным корреспондентом киевской газеты "Правда Украины" в Харькове. Чтобы понять значение этого поста, достаточно отметить здесь, что "Правда Украины" — это эквивалент газеты "Правда" на территории Украинской ССР. Сашке только что исполнилось 26 лет.

Какие именно нити вдруг связали совсем неофициального Эда Лимонова и сверхофициального Сашку Черевченко, посвятившего последний сборник стихов экипажу крейсера "Дзержинский", на котором Сашка служил по окончании Севастопольского военно-морского училища, и с которого он был комиссован по состоянию здоровья? Большой знак вопроса. Что вообще связывает людей? Взаимная симпатия?

Эд постоянно сотворял себе кумиров. Устаревший, не оправдавший надежд, или уличенный в жульничестве кумир безжалостно свергался, и его место занимала свеженькая статуя. Сашка заменил Эду Мотрича, разложившегося у него на глазах и превратившегося в полубродягу алкоголика, вымогателя рублей или даже двадцати копеек у знакомых. Стихи теперь служили Мотричу средством добычи алкоголя. Все без исключения человеческие существа имеют, как и растения, свои годы роста, буйного цветения и затем усыхания или загнивания, если почва слишком влажная и жирная. Заласканный и декадентами и официальными, Мотрич в 1967 году начинал день с обхода Рымарской и Сумской в поисках опохмелки. Впоследствии в Москве — столице нашей родины — Савенко-Лимонов встретил местных Мотричей, и вовсе не был удивлен, когда жизнь проиграла перед ним опять и опять тот же вариант судьбы поэта.

Как и человеческому растению Владимиру Мотричу, Сашке Черевченко было назначено его, сашкино, время цветения и увядания. В 1967 году Сашка цвел. Высокий, "длина шага" у Сашки выражалась куда более значительной цифрой, чем у всех других брючных клиентов Эда, широкоплечий, ширококоротый,

с шапкой светлорусых кудрей, Сашка добровольно, как мы увидим, полез в пасть к удаву, согласился послужить привередливому юноше кумиром. В биографии Эдуарда Савенко-Лимонова не раз появлялись уже и будут появляться могучие фигуры как бы старших братьев — указатели пути. Геннадий Гончаренко продержался в кумирах дольше других, но к весне 1967 года Эд уже убедился в генкиной несомненной слабости. Без кумира Эдуард Лимонов жить не умел. Так Сашка стал его новым старшим братом.

Статую нового кумира, однако, с самого начала раскалывала видимая Эду трещина. Сашкины стихи, хотя и небесталанные, Эду не нравились. Они казались ему слишком обыкновенными. Ну, стихи о море, ну и что? Пусть в сухопутном Харькове стихи о море и звучат романтичнее, чем в приморских городах. Были среди стихов Сашки очень лиричные, грустные стихи. Ну и хули из этого. Тысячи людей пишут такие обычные прелести, — думал Эд, наблюдая за своим временным героем. Уже понимая, что и этот долго не удержится в героях.

Здесь уместно будет привести образчик творчества молодого лауреата премии Ленинского комсомола:

”Когда пустеют пляжи
Крепчает ветерок
Когда у мыса пляшет
Единственный буюк...

Я снаряжаю яхту
Бросаю в форпик плащ
И приезжаю в Ялту
И прихожу на пляж...

Пловучая пустыня
Республика медуз
Осколки грампластинок

.....

Ну и пустые пляжи, и осколки, и что? Большое дело! Все равно сашкин молодой человек, высадившийся на ялтинский пляж с яхты, виделся Эду обычным ручным дисциплинирован-

ным советским молодым человеком, а, увы, не страшным майским пиратом, и даже не романтическим героем, скажем, Багрицкого.

Эд поехал с Сашкой в командировку еще и по совету Анны. Анна Моисеевна очень хотела, чтобы молодой негодяй пусть когда-нибудь в будущем, пусть чуть-чуть, но был причастен к официальному искусству. — Дружи с Черевченко. Он хороший парень.

— Хороший парень не профессия, — съязвил тогда Эд, но "по большому счету" (одно из любимых выражений Анны Моисеевны) он и сам считал, что Черевченко парень дружелюбный и симпатичный.

Анна же познакомилась с Сашкой, работая в магазине "Поэзия". В магазин считали своим долгом заглядывать хотя бы раз в день едва ли не все харьковские поэты. Официальные и неофициальные. В "Поэзии" можно было увидеть и Мотрича, и Аркадия Филатова, и здорового дядьку Василия Бондаря, автора книги стихов "Макы на дроту" (выжив в Освенциме, Бондарь впоследствии пьяный погиб под трамваем), и самого Бориса Ивановича Котлярова — секретаря правления Харьковского отделения Союза писателей.

Не только новые книги привлекали поэтов в магазин. Четыре девушки, четыре Музы работали в магазине "Поэзия". За каждой музой волочилось по меньшей мере несколько поэтов. Впрочем, мишенью для либидо харьковских пиитов на практике служили только три девушки. Четвертая Муза — очкастая Люда Викслерчик, на ней и держался весь магазин, она была настоящая рабочая лошадка, эта муза — была замужем, и каждый вечер ее ревнивый еврей являлся встречать Люду после работы в компании двоих детей. Начальницу Свету — ленивую, с расшлепанным носом, невысокую и неопределенного цвета — встречал начальник Борис Иванович Котляров, старая красная морда торчала из аккуратного костюма с галстуком. Злые языки утверждали, что Света спит с Борисом Ивановичем для блага магазина. Музу Анну Моисеевну Рубинштейн до появления эксталевара встречали попеременно некоторые харьковские поэты. Увы, весной 1965 года Музу Анну "выжили" из магазина "Поэзия". Валю — красивую мясистую украинку с глазами-

вишнями и крупными ляжками встречал одно время Сашка Червченко. Валя была самой младшей из муз — ей было двадцать. Однако Червченко недолго встречал Валу, очень скоро поэт уступил место целой очереди фарцовщиков. Куда более смелые, нахальные и богатые фарцовщики делили с поэтами и декадентами не только Автомат, но и харьковских красавиц. Увы, сплошь и рядом фарцовщики одерживали победы над поэтами, оставляя поэтов, красавицы уходили к ним. Подробнее о фарцовщиках читателю будет сообщено далее.

Анна, по всей вероятности, скрывает от Эда некоторые подробности своей холостой жизни до его появления. Иногда, в плохом настроении, Эд подозревает Анну в том, что она имела сексуальные отношения со всеми без исключения харьковскими поэтами, включая Бориса Ивановича Котлярова и Сашку Червченко. (Кстати, Котлярова наш герой вспомнил только после полугода чуть ли не ежедневных столкновений с ним в магазине "Поэзия". Это Котляров вручил когда-то пятнадцатилетнему подростку Савенко грамоту победителя поэтического конкурса...). Познакомив в свое время Эда с Червченко, Анна обронила: — Саша самый многообещающий молодой поэт Харькова... Он за мной ухаживал...

Тогда Эд разозлился и позже к вечеру, чтобы Анна Моисеевна не зазнавалась, трахнул ее стоя, в подсобке магазина. Прижав Анну к полкам с книгами, Эд насильно стащил с нее трусы и трахнул кокетку. Кажется, Анна была довольна, хотя возбужденный шагами покупателей за портьерой и тем, что с минуты на минуту должна была появиться начальница Света, Эд кончил в свою подругу довольно быстро.

Впервые появившись в поле зрения Эда под руку с красивой Валецкой, Червченко мелькал все эти годы поблизости. Иногда они перебрасывались несколькими фразами то в Автомате, то на поэтических вечерах, при этом дружелюбно друг на друга поглядывая. И даже принадлежность Эда к "СС", очевидно, Сашку Червченко не смущала. Впрочем, нападение "СС" на Червченко случилось еще до появления салтовчанина Савенко на основной харьковской сцене. Отношения между Бахом и Червченко давно были урегулированы, тем более что в 1966 году Вагрич и Ирина стали мужем и женой. (Брачную ночь мо-

лодожены провели в комнате на Тевелева 19, на полу, укрывшись переделанным из отцовской шинели пальто Эда).

В феврале судьба резко бросила Эда и Черевченко друг к другу. Приглашенный Аркадий Филатов привел с собой к Эду на празднование дня рождения неприглашенного Черевченко.

Сорок один гость сидел на ковре вокруг бутылей вина и блюд с шашлыком. Полмешка баранины купил портной Лимонов накануне на Благовещенском базаре. Выпив основательно, гости Лимонова, как водится, начисто забыли о новорожденном и заняты были тем, что изображали в миниатюре модель человеческого общества. После полуночи явственно определились вышедшие из четверть-финальных и полу-финальных битв только два лидера: Юрий Милославский — поэт, юноша на пару лет моложе Лимонова, — красивый крупный еврей с барственным глубоким голосом актера и диктора, и харьковский Вознесенский — поэт Аркадий Филатов. Читатель по собственному опыту знает, что такова природа самца человеческого — состязание и драка с другими самцами — его самое большое удовольствие в жизни.

Два поэта изошрялись в остроумном высмеивании друг друга и интеллектуальных подковырках, с успехом заменявших им каменные топоры. Генка — герой полутени — в публичных состязаниях никогда не участвовал, пасовал. Сашка Черевченко смирно беседовал с подругой Анны — полной блондинкой Тamarочкой, и время от времени взглядывал на двух петухов и иронически улыбался. Забытый обществом новорожденный забрался в задний ряд зрителей к шкафу и тихо мечтал о том, чтобы все ушли. А он принялся бы убирать тарелки, салфетки, остатки шашлыков и выметать сигаретные окурки. В собственном юбилее, оказывается, не заключалось для него никакого интереса. Изошряться в публичном остроумии в этот вечер ему не было надобности. Бойцы в основном старались для и обращались к избранной аудитории из нескольких красивых и свободных женщин. Выигравший полемику-турнир будет, несомненно, награжден телом лучшей из них, уйдет с ней в февральскую поземку. Эд в любом случае должен был остаться с Анной.

С дня рождения Черевченко ушел рано и один, в дверях

хитро подмигнув новорожденному. — Я хотел бы придти послушать твои стихи, Эд. Без толпы, разумеется... — кивнул он на остающихся. Они договорились.

Через пару дней он пришел с Филатовым. Они настолько часто появлялись вместе, что их считали близкими друзьями, что не соответствовало истине. Эд прочел им только что написанную поэму "Птицы Ловы". Поэма — страннейшее произведение, повествующее о борьбе героев Александра и Павла с птицей — "пичугой М." — поразило не очень изощренное воображение вполне нормальных товарищей Черевченко и Филатова.

— Так писать нельзя, — хмуро сказал Аркадий Филатов.

— Почему же? — осведомился Автор.

— Это не стихи.

— Почему же не стихи. Есть и ритм и даже точные рифмы там и тут.

— Стихосложение — это игра, у которой есть свои правила. Ты же отказываешься следовать правилам. То, что ты написал, — интересно, но это не поэзия...

Черевченко поблагодарил, сказав, что он поражен. Коллеги прослушали еще несколько стихотворений Лимонова и ушли хмурые, сославшись на назначенное деловое свидание. Эд же был готов читать еще.

И вот весной Черевченко пригласил Эда поехать в командировку по заданию "Правды Украины". — Какой все-таки хороший парень Сашка, — подумал тогда Эд. Более циничному, чем герой, автору, привыкшему искать под каждым хорошим парнем замаскировавшегося злодея, кажется, что у приглашения был другой мотив. Возможно предположить, например, что два коллеги-поэта отреагировали на обеспокоившие их стихи по-разному, но в сущности цель этих реакций была одна — отделаться от стихов, вычеркнуть их, тревожащие, из жизни. Аркадий Филатов успокоил себя, зачислив тревожащее в категорию непоззии, Черевченко же решил приблизить к себе автора. "Раскусив" автора, отделаться тем самым и от его странных произведений, чтобы опять верить в себя и продолжать писать обычные стихи о республике медуз.

Маршрут командировки привилегированный Черевченко выбрал сам. Харьков — Бердянск — Феодосия — Алушта — Ял-

та — Севастополь. Хорошенький, прекрасенький, солнечный маршрутик. Их все время сопровождали в поездке солнце и ветер. В Бердянске по солнцу и ветру они отправились прямоком в обком партии и вошли туда следом за генералом с алыми лампасами, приехавшим в лаковом автомобиле. Нахальный Сашка вбежал в обком по пятам генерала, испугав его. Фотограф Эд бережно поддерживал на боку кофр, набитый, впрочем, не фотоаппаратурой, но его личными вещами. В кофре лежали зубная щетка, паста, полотенце, несколько пар чистых носков, трусики и, разумеется, блокнот, в котором поэт намеревался записывать путевые впечатления. Сам секретарь обкома (Первый!) принял специального корреспондента крупнейшей украинской газеты и его фотографа, одетого в необъятный, доходящий фотографу до колен свитер цвета старого болота... Невероятно, но факт — путешественник водрузил на новенькие очки без оправы, только сверху стекла были схвачены позолоченной рейкой. Очевидно, поэт желал хорошо рассмотреть города, в которых ему предстояло побывать. Таким образом, путешествие ознаменовалось важнейшим событием в личной жизни Эдуарда Лимонова — он нашел в себе силы не снимать очки в общественных местах.

Секретарь обкома с горькой улыбкой сообщил друзьям, что увы, отправиться с рыбаками на лов бычков в родное и мутное море секретаря обкома они не могут, поскольку бычки в этот год почему-то не пришли к берегам Азовского моря, и несчастным рыбакам пришлось ограничиться вылавливанием в море других пород рыб. Целью Сашкиной поездки, как обнаружилось, были именно бычки. С бычками, оказывается, происходили фантастические вещи. Бычки, оказывается, вымिरал как индейцы редких племен в Америке. Виноваты в этом, согласно секретарю обкома, были и план, требовавший от рыбаков вылавливать слишком много бычков каждый год, и осоление моря, и сами рыбаки, пользующиеся слишком мелкими сетями и многие годы вылавливавшие бычковый молодняк. Сашка записал горькие жалобы секретаря, они сходили в обкомовскую столовую, где откушали жареных бычков с желтым картофельным пюре, сняли номер в гостинице и взяли билеты на теплоход, идущий из Бердянска в Феодосию на следующее утро.

Азовское море маленькое и посему, если в Азовском море случается буря, то корабль, находящийся в это время на его поверхности, швыряет как игрушечную уточку, взятую ребенком в ванну. Через час после выхода из порта мутное Азовское засипело и заколебалось под теплоходом, Сашкой и Эдом. Бывший моряк обрадовался качке и отправился в ресторан выпить, оставив Эда в каюте. Помучившись немного, поэт-авангардист обнаружил, что он не подвержен морской болезни и вполне способен двигаться и соображать и вовсе не расположен блевать, как ему показалось в первые полчаса качки. Выбравшись в пустой ресторан, на стеклянные стены его набрасывалось с урчанием море, поэт-авангардист Сашки в нем не нашел. Официант сообщил ему, что его друг отправился пить коньяк в капитанскую каюту. — Товарищ капитан-инструктор пригласил вашего товарища, — сообщил официант. В голосе его звучало уважение.

Постучавшись в капитанскую каюту, поэт застал там краснолицего капитана и Сашку, распивающих коньяк с лимоном. Морские волки пригласили юного Рембо к столу, и он тоже выпил за пятибалльный, как оказалось, шторм, ревущий за иллюминаторами. Стало вдруг так темно, что пришлось включить свет. Уютно было пить коньяк и глядеть в сбесившееся месиво мутной воды за иллюминатором. В дополнение к плескам и всхлипам воды хлопали жестко неизвестные двери и люки, и тесно шептался и поскрипывал переборками теплоход.

Капитан оказался капитаном дальнего плавания, по случаю ремонта его далекоплавающей посуды посаженным на азовский теплоход капитаном-инструктором и назначенным наблюдать за человеком, который в первый раз находился на территории Азовского моря в качестве капитана теплохода. Второй капитан был где-то на капитанском мостике или рядом с рулевым и очень волновался. Капитан-инструктор совсем не волновался, а пил коньяк и беседовал с Сашкой о Порт-Саиде, где они оба побывали, об Азорских островах и других чудесных местах, от одного звука имен которых у поэта-авангардиста сладко переворачивался в желудке коньяк вокруг лимона. Морские волки беседовали с пресыщенной ленью и снобизмом все в жизни повидавших морских волков, запросто обсуждали

достоинства портов и борделей мира. Безукоризненно белая рубашка капитана, его галстук под черным кителем сообщали праздничность и вносили порядок даже в выпивку. И хотя авангардист уже побывал в кр^ымах, кавказах и азиях, жажда путешествий и охота к перемене мест опять заворочалась в его душе. — Приеду в Харьк^ов и сразу в Моск^ву, — подумал он. — Бах ждет. Он уже в Моск^ве...

В Феодосии пахло рыбой, пыльные акации с корявыми телами толпились на каменистых улицах. Суп-харчо в ресторане им подали с плавающими в супе черными маслинами, и по маслинам и по остроте супа поэт-авангардист вспомнил о близости Греции, всего лишь через Понт, о мраморных безголовых статуях, о том, что может быть, такой суп хлебал Одиссей. В Феодосии, вытащив на улицу стулья, аборигены с потрескавшейся от солнца кожей сидели у своих дворов и разглядывали прохожих. Камни были в Феодосии каменные, а не те вовсе некаменные булыжники, какими вымощены харьковские мостовые... Во дворе дома, в котором они остановились на ночлег, запросто бродил павлин, а среди книг, обнаруженных Эдом в шкафу хозяйки, были романы Гамсуна и пара переводных Фрейд^ов.

В Алуште Сашка напился и подрался на танцплощадке. Он влез в окно маленькой гостиницы уже под утро, физиономия в синяках и ссадинах, и не раздеваясь уснул. Эд-авангардист, накануне вечером отказавшийся от похода на танцплощадку, ук^оризненно покачал головой, увидев старшего товарища в поврежденном виде, и презрительно вздохнул. В статуе кумира появилась еще одна трещина. Сашка проснулся только к полудню. — В кого ты такой благоразумный, Эд? — сказал Сашка, лежа на спине и улыбаясь. — В папу? В маму? В Анну Моисеевну? Почему я тебя не послушал вчера? А теперь вот что будем делать?

Побив основательно бывшего моряка, местная молодежь, оказывается, не отказала себе в удовольствии опорожнить его карманы. Все Сашкины командировочные деньги исчезли. — Никогда не держи все деньги в одном месте... — заметил опытный Эд.

Хорошо, что тоже опытная Анна заставила Эда взять с со-

бой немного денег "на всякий пожарный случай". В Ялте они уже спали в комнате, где помещалось шесть коек и храпело еще четверо мужиков.

В Севастополе они пробыли несколько дней. Здесь обычно не высказывавший никаких желаний авангардист изъявил желание посетить развалины Херсонеса.

В Херсонесе поэт влез внутрь древней гробницы-пещерки, но обнаружил там только кучу свежего человеческого дерьма. Сашка улегся под теплой, защищенной от ветра стеной вздремнуть, а юный авангардист бродил в тщательно разрытых развалинах и пытался представить этот город живым, полным воинов, купцов, гладиаторов и женщин. Поверху ползли не оставиваясь мокрые, время от времени сочащиеся на землю быстрым дождем, протекающие весенние тучи. — Что такое годы? — размышлял юный авангардист, забравшись на скользкие отполированные камни древней крепостной стены и разглядывая низкие соленые воды, окружающие Херсонес большими мутными лужами. Козы паслись неподалеку, две черные и одна белая коза, на длинных грубых веревках, привязанных к вделанным в камень, может быть древним, кольцам. — Что такое время? — думал поэт, обозревая коз и тучи. Сашка простонал во сне и, перевернувшись, накрыл нос шарфом. — Почему существуют "тогда" и "сейчас"? И почему "тогда" не может появиться хотя бы на некоторое время опять? В ворота крепости войдут, скрипя кожей, воины в колонне, заорут купцы, сойдутся в бою насмерть гладиаторы... Потому что "тогда" умерло и разрушилось, исчезло из живых предметов? Значит, время и пространство — одно и то же? И разрушая вещи пространства, время разрушает самое себя?

Проснулся Сашка. Привезший их в Херсонес пару часов назад бывший товарищ Сашки по военно-морскому училищу, ныне лейтенант-подводник вернулся за ними и сигнализировал им теперь с дороги из автомобиля, гудел. Оба поэта спустились по древним лысым пригоркам к шоссе.

Вечером они уже пили коньяк с офицерами атомных подводных лодок в пустой квартире одного из них. И сбросив мундиры, элита русского военного флота — пять лейтенантов, две женщины — жены, и два поэта напились вдрызг, слушая

сашкины стихи. Менее всех пьяный Эд открыл, что здесь, в компании лейтенантов, сашкины стихи звучат лучше его собственных. Лейтенанты кричали, хвастались, говорили об облучении, очевидно преувеличивая опасность, которой подвергались, чтобы выглядеть еще большими молодцами, чем они были. А они были молодцами, и золотое шитье на мундирах, и сбруя кортиков, и загар молодых шей — все было им к лицу. Наслушавшись сашкиных стихов, стали читать Гумилева. При чтении строчек "Лейтенант, под огнем неприятельских батарей водивший канонерку..." одна из женщин расплакалась, а Сашка, нервно заморгав, вдруг вскочил и закричал излишне резко: — Предлагаю выпить за победу русского оружия, господа! — и все закричали "Ура!" и выпили, и кто-то выругался и сказал: — Хуй нас кто-нибудь победит!

Сказать, что авангардист не участвовал во взрыве военноморской национальной гордости, было бы глупейшей несправедливостью к нашему герою. Сделать вид, что он, не участвуя, скептически улыбался, глядя на олухов, готовых облучиться и заживо сгореть или утонуть в красивых мундирах во славу России (которая будто бы не чиста на руку, как твердят журналисты, президенты и целые нации) — значит согрешить против истины и пойти на поводу у моды. Даже и индивидуалистов — мечтателей типа нашего героя — трогают такие вещи. У авангардиста щипало в глазах, и большую часть вечера он присутствовал в квартире без мебели, хотя время от времени опять обнаруживал себя на мысе Херсонес, рядом с козами и стоячей, стального цвета водой, у стыдливо обнаженных древних стен, где под сочащимися тучами само себя разрушает пространство-время.

— Может быть, я думаю об этом потому, что в кармане у меня лежит древний камень, который я отколол от гробницы? — спросил себя Эд. — Может быть, камень испускает лучи, которые, проникая в мое тело, заставляют меня думать о месте, откуда я взял камень?

Переночевав на газетах, постеленных поверх лакированного паркета неизвестно для какой цели, поэты рано утром отбыли в Севастополь. В Севастополе шел дождь. Над бывшим Сашкиным училищем, куда юноши пришли по просьбе Сашки,

тоже шел дождь. Из-за высокой, из частых толстых прутьев ограды, далеко в пространстве, отдаленно, как храм, возвышалось строгое здание училища. Из ворот вышел человек в черной шинели и, крепко топоча ботинками по тротуару, отправился к остановке автобуса. — Боцман! — испуганным и одновременно восторженным шепотом сказал Сашка, дернув Эда за плечо. — Мой боцман! Эх, Эд, если бы ты знал, какой же он гад!

Несколько минут Сашка нервно размышлял над дилеммой, наброситься ли ему на боцмана или нет. Медленно идя за боцманом и таща за собой Эда, Сашка спросил его: — Ну что, отпиздим боцмана, Эд? — как бы желая свалить решение на младшего братишку.

Братишка-дипломат промышчал неопределенное "М-нда-нни!" Что при желании могло сойти и за "да" и за "нет".

Сашка решил боцмана не бить. Он объяснил это позже тем, что к поясу боцмана был пристегнут кортик, а у Сашки и Эда никакого оружия с собой не было. К тому же два часовых со штыками в ножнах стояли у ворот училища и вне сомнения вступились бы за боцмана.

В Севастополе они сели на поезд, и поезд потащил их в Харьков, останавливаясь на многих, совсем никому не нужных станциях.

В Харькове Эд забыл снять очки и явился на Тевелева 19 в очках, вызвав очками недоумение и замешательство всего коридора. Херсонесский камень с гробницы древнего жителя грел ему ногу в кармане. Жег его лучами древнего мира.

18

— Проститутка! Что тебе нужно от него! — горячая тучная плоть Анны Моисеевны розовым пушечным ядром выскакивает из-за газетного киоска и, задев Эда и Белого Боба, отчего они отлетают в сторону, ударяется в ни в чем не повинную Ирму. И вцепляется в нее. Сменив туфли, Анна сменила и платье — розовый льняной мешок, сшитый Эдом, покрывает теперь тело пушечного ядра.

— Анна! Охуела совсем! Что ты делаешь! — Эд хватается Ан-

ну сзади и пытается оторвать ее от волос и плеча Ирмы. Немногочисленные прохожие, плетущиеся по раскаленной Сумской, останавливаются. Из дверей Автомата выходят фарцовщики Сэм и Шамиль и, довольно улыбаясь, скреещивают руки на груди, устраиваются, наблюдают сцену.

— Сука! Ты с ним ебешься! Проститутка! — кричит Анна и наматывает длинные белые волосы Ирмы на руку.

— Сумасшедшая! Она сумасшедшая! — хрипит Ирма, голова ее следует за рукой Анны Моисеевны, чтобы не было больно, она наклоняет голову.

Эд, схватив буйную сзади, старается вывернуть руки безумицы, хотя бы одну, за спину.

— Анна, успокойся... Что с тобой? Ты что, пизданулась? Анна... — Белый Боб бежит вокруг Анны Моисеевны, Эда и Ирмы, склеившихся, как скульптурная группа Лаокоон, и не знает, что предпринять.

Подруга Ирмы, имени ее Эд не знает, в испуге прижалась к стене киоска и глядит на непонятную ей сцену. Руки она прижала к груди. — А-ааааааааа! — вдруг истерически солирует она. — Милиция!

— Я тебе покажу, как ебаться с моим парнем! — Анне удастся накрутить еще один виток белых волос себе на руку. Из глаз Ирмы, согнувшей голову до уровня талии Анны Моисеевны, брызжут слезы.

— Боб! Приведи ее в чувство! — командует Эд. — Пока не прибежали мусора!

Белый Боб исполнительно наносит Анне один несильный удар в живот и затем хлещет ее по щекам четыре раза. Анна выпускает волосы Ирмы, и волосы возвращаются к владелице.

— Хватит, Боб. Анна! — Эд сильно трясет подругу. Всклипывая, Ирма и неизвестная девушка убегают.

— Фашисты! Вы избили меня! Негодяй, ты приказал своему наемнику ударить меня! — Анна Моисеевна плачет. Припадок, как будто, начинает проходить.

Эд опять встряхивает подругу. — Ты что, охуела, мать? Что с тобой? Мы себе мирно разговаривали, вдруг выплетаешь ты и набрасываешься на ни в чем не повинную девку... Что она тебе сделала?

— Анна, — вступает Белый Боб, — у тебя, должно быть, затмение. Это мои соседки. Эд даже и не знает их, правда, Эд?

— Впервые в жизни вижу.

— Ты ебешься с ней! — отрывая руки от лица, визжит Анна.

— Слушай, ну тебя на хуй. Очнешься, поговорим! — зло бросает поэт. — Идем, Боб! — Оставив Анну у киоска, ребята быстро взбегают по ступеням в Автомат. Наглые фарцовщики лениво отодвигаются, чтобы дать им дорогу.

— Я всегда утверждал, что жить с бабой старше тебя — последнее дело, — громко говорит большеносый Сэм, обращаясь к Шамилю.

— Если только она тебя не содержит, — замечает Шамиль.

Фарцовщики подъебывают поэтов, поэты их презируют. К большому сожалению, Автомат в городе один, и "изобретателям" и "приобретателям", а именно на эти две категории делил род человеческий Велемир Хлебников, приходится сосуществовать. Иногда происходят мелкие инциденты.

— Называется, сменила туфли девушка! — возмущенно обращается Эд к Белому Бобу, они проходят по Автомату, кивая и пожимая руки. — Ни хуя себе! Ладно бы я был действительно виноват, Боб. А то устроила скандал на пустом месте. Я Ирму вижу второй раз в жизни...

— Четвертый... — поправляет Боб.

— Ну четвертый... Но я же не ебусь с ней, ты же знаешь это, Боб!

— Ты ей нравишься, можешь, если захочешь, ее выебать. Женщины такие вещи чувствуют. Твоя Анна заметила, какими глазами Ирма на тебя смотрит...

Оглянувшись, Эд видит большое розовое пятно, пробирающееся в их направлении. — Слушай, вон она идет за нами, Анна! Бежим, Боб, ну ее к Богу...

Они поспешно отступают к автоматной двери номер два, тоже выходящей на Сумскую. У самого выхода Викторущка, сняв шляпу, стоит у высокого стола с доскою под мрамор и старательно пьет кофе. — Вы куда, джентльмены?

— Анна идет... — Эд кивает за спину. — Мы валим в парк, подходи, если хочешь, к памятнику.

— Фройлайн Рубинстайн в агрессивном настроении? — оживляется Викторюшка. — Я задержу ее. Всегда готов лечь на амбразуру дзота.

Куда провалились Генка, мсье Бигуди, Поль и Ленька Иванов — неизвестно. Ясно, что они где-то рядом на Сумской — у Струи, в Гастрономе, в Блинной, в Парке, но их не видно. Приходится ограничиться компанией Белого Боба. Перейдя Сумскую, ребята входят в парк, впрочем, всего на десяток шагов, и садятся на широкую диванообразную скамью. С десятков их стоит здесь, и автоматные люди постоянно курсируют между Автоматом и скамейками под широколиственными каштанами. На скамейках пусто, только на одной сидит дядя Вася Чапаевец, в орденах и кубанке, несмотря на жару, в сапогах, и наигрывает на гармошке, положив на нее ухо.

— Сбесилась твоя подруга? — комментирует Белый Боб, общаривая глазами двери Автомата, хорошо видимые со скамеек. — Часто она так?

— Редко. Раньше мы жили куда спокойнее, несмотря на то, что я пил куда больше, и пару раз в неделю приходил мертвецки пьяный.

— Пьяный ты хороший. Я вот когда пьяный — ужасное говно. Буйный... А твоя Анна, я думаю, стареет. Может, у нее климакс, а Эд? Сколько ей уже?

— Тридцать исполнилось в марте.

— Ну вот, тридцать, а тебе двадцать три?

— Угу... Ну и что?

— Да то, что вы друг другу не подходите по возрасту, вот что. Я, конечно, понимаю, что тебе с Анной удобно... — Белый Боб запинается, его татарские черты лица, оживленные светлыми волосами и фиолетовыми кляксами глаз блондина, стеснительно искривляются, — ... живешь в центре, и жилплощадь неплохая, своя комната, но... — бобовское лицо искривляется еще больше, — ... я, Эд, не верю, что ты ее любишь как бабу.

Боб замолчал. Эд глядит на приятеля и думает, что сейчас устами Боба глаголет автоматное общество, смесь фарцовщиков и интеллектуалов, автоматный народ высказывает через Боба свое мнение о его и Анны содружестве. Ты себе живешь, а общество следит за тобой и выносит суждения — приговоры,

хочешь ты этого или нет. Ну что ж, даже интересно.

— Я, Боб, вправду люблю эту женщину, несмотря на то, что сантиметр, обведенный вокруг ее задницы, сходится на цифре 128, объем бедер больший, чем у кого бы то ни было из моих заказчиков... Народу же из Автомата, разумеется, трудно понять, почему вдруг появляется молодой человек с окраины города, знакомится с их центральной бабой с репутацией легкодоступной пизды и вдруг начинает с ней жить, и ко всеобщему удивлению живет как с женой уже несколько лет...

— Да, — радостно соглашается Боб, — народ удивлен, как Анна может быть такой постоянной.

— Чему еще удивляется народ, Боб? Ну-ка, раскалывайся, что говорят...

— Да я ничего такого не знаю... Всякую хуйню говорят... Одни утверждают, что ты сутенер, и что тебя Циля Яковлевна и Анна содержат, другие — напротив — говорят, что ты содержишь Анну и Цилю Яковлевну, и они заставляют тебя шить брюки, шить все больше брюк... — Боб смеется.

— Во-первых, мужчина, живущий за счет женщины, называется альфонс, сутенер — это тот, кто заставляет женщину prostituiровать. Во-вторых, додуматься до того, что никто никого не содержит, а все живут сообща, и Циля Яковлевна получает свою пенсию, Эд шьет брюки, а Анна работает то в одном, то в другом книжном магазине, народ, конечно, не может. Такая обыкновенная модель жизни нашей семьи их не устраивает, народ хочет страстей и злодейства...

— Не в этом только дело, Эд. Очень уж вы контрастно выглядите. Анна с полуседыми волосами и 128 сантиметров задницей выглядит старше тридцати, а ты выглядишь куда моложе твоих лет, вы как мать и сын выглядите, вот что! Она рядом с тобой как мать! Поэтому все постоянно пиздят по вашему поводу.

— Недовольны? Да? Я что им, угождать должен? Выбрать себе безмозглую курицу двадцати лет, тощую по моде, красивую и глупую, как девки фарцовщиков? У Анны есть мозги и чувство юмора, во многом благодаря ей я из рабочего парня, Боб, заметь, стал поэтом... Может быть, я и не люблю Анну страстной любовью египетских и индийских фильмов, в моей

любви к ней содержится больше товарищества, благодарности и признательности, чем сексуальности, ну и что? Ну их всех на хуй! Корчат из себя ебаное высшее общество. Подумаешь — Харьков... Да таких городов в Союзе еще десяток наберется. Уеду на хуй в Москву!

— Что ты разнервничался... Успокойся, Эд! Я лично на твоей стороне. Это твое дело, с кем ты живешь. Я только честно тебе скажу, мое мнение такое, что ты с Анной долго не проживешь...

— Пока что мы собираемся в сентябре переезжать в Москву вместе.

— Серьезно? Ну и дурак будешь. Один ты спокойно познакомишься там с москвичкой, женишься и пропишешься. Вместе, оба без прописки, вы там пропадете на хуй, или вернетесь.

— Не пропадем. У Анны в Москве есть друзья...

— Эд! Негодяй! — злая Анна Моисеевна Рубинштейн, легка на помине, появляется из-за скамейки. Неизвестно каким образом она сумела зайти к ребятам в тыл. Недобрая улыбочка на губах, сумка в руке, приближается Анна, пятнышки пота видны на розовом платье вокруг подмышек. Не успокоилась. К сожалению. Хитрая, пересекла Сумскую вне их поля зрения, и теперь надвигается, грозная. Дядя Вася Чапаевец вдруг меняет мелодию и играет бравурный марш...

— Бежим! — шепчет Эд Бобу. Они вскакивают и несутся изо всех сил по аллее, идущей параллельно Сумской. У большой умирающей райской яблони, тучно завешанной маленькими красными райскими яблочками, они сворачивают и бегут вглубь парка.

— Эд! Стой! Стой! Негодяй... — Анна Моисеевна некоторое время трусит за ними, но скоро отстает. На высоких каблуках и при ее весе бег по пересеченной местности — нелегкое занятие. — Сволочь, молодой негодяй! Сволочь! Ну, ты придишь домой, и найдешь закрытую дверь... Сволочь... — бурчит Анна Моисеевна, садится на скамью под райской яблоней, открывает сумку, вынимает оттуда зеркальце и тюбик помады, подкрашивает губы. Затем несколькими движениями расчески придает волосам форму. Трет нос. Загорелое лицо Анны Моисеевны на фоне розового платья смотрится свежо, и аквамариновые глаза

плещутся в зеркале, полном солнечного света. — Привет, Анютка! Страдалица! — говорит Анна себе и улыбается. В конце концов все не так плохо. И, пожалуй, молодой негодяй не трахается с коровой Ирмой. Молодой негодяй гуляка, как и его друг Генка, он не по этому делу. Не по женщинам специалист. Молодой негодяй специалист по стихам, и он гуляка. За все время совместной жизни Анне не удалось поймать молодого негодяя на измене. Очень возможно, что он ей и не изменяет совсем. Или если изменяет, то немного. Анна пудрит чуть-чуть нос пудрой для загара и опять улыбается себе. — Вот, Анютка, как он змеєю вкрался в твою жизнь. Жила ты себе, горя не знала, веселой девушкой была. И пришел заводской парень, "хазэрюка" — называет таких тетка Гинда, подстриженный как в армии, с голой шеей, стал сидеть в углу, смотреть на тебя тяжелым взглядом и молчать. Потом выяснилось, что у него большая близорукость, и он даже тебя не видит. — Эд, одень очки и посмотри на меня в очках, может быть я не такая красивая, как тебе кажется без очков? — сказала я ему. Он не надел...

Анна встает, оправляет платье. Впервые заметив над собой яблоню, заинтересованно смотрит на нее. Встает на скамейку, срывает несколько яблок. Умывается на скамье опять. Кусает яблоко. — Фу, гадость какая! — выплевывает откушенный кусок. — Молодой негодяй изнасиловал тебя собой, Анюта. Ты ведь совсем не желала жить с ним, ты была вполне удовлетворена своею жизнью свободной женщины, с кем хотела, с тем и спала. И ведь он тебе даже и не нравился с самого начала. Армейский какой-то он был. Недаром, видимо, папа офицер у него. Яблочко от яблони... — Анна поднимает голову и смотрит на яблоню, вверх. — Украинский мальчик с окраины. И чего в нем хорошего? Глаза — мама спичкой проколола, рот — как куриная жопка. Нос как у Марлен Дитрих... Но упрямый какой! Всех пересидел и выжил. И Толика Кулигина. И бедного художника-беспредметника Толика Шулика побил... — лицо Анны принимает нежное выражение, — бедный красивый Толик, седой в девятнадцать лет... Эд ударил его и вытолкал за дверь, чтобы остаться со мной... — Анна расчувствовалась, отклонилась на спинку скамьи, тень яблоневого ветки покрыла ей лицо.

— Эй, Анюта, ты спишь или мечтаешь?

— Ганна Мусливна ловят кайф, я так понимаю.

Анна открывает глаза. Большие губы, прищуренные глаза, из них — всегда струится в мир насмешка, русское широкое лицо, — ее лучшая подруга Вика Кулигина стоит перед Анной в белой юбке и шелковой кремовой блузке, как новобрачная. Рядом ее давний любовник и друг бывшего мужа — красавчик Леня Брук. Точнее, он один из любовников, потому что в количестве мужчин Вика себя не ограничивает. Белорубашечный, чернобровый, темные брюки — Леня как спустился с экрана кинотеатра, демонстрирующего арабский фильм.

— Ой, Видуля! Как я рада, что тебя встретила! — Анна радостно вскрикивает. — Вы куда же направляетесь?

— Я прогуливаю твою подругу. Посмотри, какая она бледная. Не выходит из постели. Ебется и пишет стихи, и не бывает на солнце.

— Загар не сексуален на женском теле. Незагорелое тело куда сексуальнее. — Вика закуривает. — Леняка вдруг вспыхнул ко мне любовью опять, Анна. Подарил мне ночную рубашку. А на рубашке он вышил, представляешь, Анна, какой талантливый, своими руками вышил прелестную маленькую мышку. — Вика поощрительно хлопнула Леню по темной щеке. — Лапочка, Леняка... А теперь он хочет, чтобы я родила ему ребенка. "От Кулигина у тебя есть ребенок, — сказал он мне, — а от меня — нет!" Как же, он не может быть хуже своего друга Кулигина.

— Кстати, мы только что встретили твоего сожителя, Анна, — скалит зубы Леня Брук. — Бежал куда-то с красивым рослым хулиганом. Что это вы отдельно развлекаетесь?

— Молодой негодяй убежал от меня с Белым Бобом... Сволочь, молодой негодяй! Придет он у меня ночью домой. Я закрою дверь на задвижку!

— Да, Анна, ты закроешь дверь на задвижку, — серьезно соглашается Брук. — Чтобы, поворочавшись в постели, через пять минут встать и открыть задвижку.

— А чем он провинился, Анна? — Вика хохочет. — Убежал? Ты что, гналась за ним?

— Очень он мне нужен... гналась... Возьмите меня с со-

бой? Прогуляй и меня, Ленька? Если, конечно, вы не идете трахаться... Мне совершенно нечего делать...

— Мы только что оттрахались. Пойдем выпьем в "Пингвин", что ли? А почему ты не в киоске, Анна? — Вика берет подругу под руку.

— Послала маму постоять за меня. Мне этот киоск уже вот где сидит, — Анна проводит пальцем по шее. — Скорее бы в Москву.

— Блажь. Чем тебе Харьков не подходит?

— Молодой негодяй хочет в Москву. Он говорит, в Харькове ему уже неинтересно. Здесь он уже всех победил. В Харькове, он считает, он пишет лучше всех, потому хочет в Москву. Он считает, что для того, чтобы научиться играть в шахматы лучше всех, следует играть с партнерами, которые сильнее тебя, а не слабее.

— Он что у тебя, стал шахматистом? — Ленька улыбается.

Вика останавливается, забегает вперед Брука и Анны, прижимает руку к груди и произносит псевдотрагическим голосом из чеховских "Трех сестер": "В МОСКВУ! В МОСКВУ! В МОСКВУ!" Вика вместе с Бруком в свое время посещали театральную студию при каком-то Доме Культуры. Вика хотела стать актрисой. Брук играл Гамлета.

— Я могу угостить дам стаканом портвейна? — галантно осведомляется Брук.

— Дамы будут счастливы получить оный из ваших рук, — приседает Вика в реверансе.

19

— Кто же работает в этом городе, Эд? — спрашивает Белый Боб патетически. — Кто? Даже молодежь не работает.

— Я работаю, — темноволосая Нина опускает глаза. — У меня перерыв.

Нина теперь стала Нина Иванова, а раньше звалась просто Нина, и во время отсутствия Цили Яковлевны (та полгода жила в Киеве у старшей дочери и зятя Теодора, отдыхала от Анны и Эда) снимала вместе с девочкой Олей большую комнату

Рубинштейнов, спала под лоскутным одеялом. Окончив медицинский техникум, Нина и тогда, и сейчас заражала мышек в научно-исследовательском институте, вкалывала им вирус. Для того, чтобы Нина не занесла мышкам вместе с нужным вирусом еще и ненужные институту вирусы, Нине выдавали и выдают чистый спирт в пузатых бутылочках. Дезинфицировать шприцы. Большая часть спирта дезинфицировала желудки Эда, Генки и Фимы.

— Да, ты же работаешь где-то здесь рядом... — вспоминает Эд.

— За Госпромом... Моего не видел? Должен был встретить меня возле НИИ, хотели вместе пообедать, и почему-то не встретил...

— Видел. Он на верблюде проехал.

— На верблюде?

— Угу. На одnogорбом. А потом с верблюда свалился и проехался на локтях по пустыне.

— Шутишь, Эд?

— Нисколько. Мы были в зоопарке. И два деятеля — Фима и твой Леньчик — покатались на кораблях пустыни. Вся кодла должна быть где-то здесь — у памятника может быть, — Леньчик, Генулик, Фима, мсье Бигуди...

— Супруг называется, — Нина вздыхает. — Выходи замуж после этого. Жена работает, а он на верблюде катается. Хотите спирту, ребята? — Нина открывает сумочку и показывает прозрачную пузатую бутылку. — Двести граммов. Мужу несла, но так как он разъезжает на верблюдах, то пусть разъезжает без спирта.

— Конечно, мы хотим спирту, — Боб заглядывает в сумку, может быть для того, чтобы получше разглядеть спирт. — А как пить-то его будем? Пойдем в пирожковую?

— Зачем в пирожковую? Или ты не мужчина, Боб? Видишь автомат с газированной водой? Все, что нам нужно. Пошли?

— Я, пожалуй, съела бы бутерброд, — Нина протягивает бутылку со спиртом Эду.

— Мы пойдем с тобой, только хлопнем по стакану. Минутное дело.

Цокая каблучками, Нина идет с ними. Остановившись у трясущегося газоводного ящика, Эд нажимает на перевернутый днищем стакан, моет его и, вынув из запечатанной парафином бутылки пробку, наливает в стакан спирту. — Учись, как следует пользоваться современной технологией! — бросает он Бобу. Ставит стакан под кран газ-автомата, опускает монету в щель, и из крана брызжет пузыристая вода. Эд выхватывает полный стакан и, задыхаясь, пьет. Пить пузыристый спирт тяжело. Особенно при температуре воздуха 27 градусов Цельсия. Но Эд мужественно доглатывает последние кубические сантиметры пузырящегося огня. И, взяв у Нины из пачки сигарету, закуривает. Боб с ужасом глядит на него.

— Полный пиздец! — говорит Боб. — Страшное дело! Сколько же там должно быть градусов?

— Если в неразбавленном больше 90, наверное 92, с газовой будет градусов 60... — гордо объясняет Нина, как будто она и Эд — одна сторона, преобладающая, а Боб другая сторона — требующая снисходительного к себе отношения.

Однако Боб личность не слабая. Росту в нем добрых метр восемьдесят, он моложе Эда — ему двадцать, и от выпивки Боб никогда не отказывался. Он решительно выливает оставшийся спирт в стакан и начинает шарить по карманам, ища монету. Сзади ребят уже собралась небольшая очередь, судя по лицам — провинциалы, приехавшие сдавать экзамены в Университет. Все ждут, пока Боб найдет монету. Наконец Нина дает ему копейку. Боб, выхватив стакан, глотает адскую воду, и его фиолетовые глаза выкатываются из глазниц. Допив огненную водичку, он судорожно схватывает ртом воздух, как задыхающийся ерш, выброшенный на берег взмахом удочки рыболова. "Бля-аа!"

— Ты, Нина, цветешь, — осматривает экс-квартирантку Эд. Compliments он делать не умеет и знает это. Поэтому ограничивается обычно пародиями на комплименты. — Цветешь, — морщится он. Нужно было еще добавить "пахнешь".

Нина стеснительно отворачивается. Когда Нина жила в соседней комнате, Эду порой казалось, что он ей нравится. Однажды, как раз перед свадьбой, Нина напилась, и у нее случилась истерика. Обычно молчаливая и хмурая девочка разры-

далась и сквозь слезы призналась, что не любит Леньку, что он ей скушен, и любовь его, и сюсюканья его, "Ниночка" после каждого слова, ей противны. Истерика произошла с девчонкой на холодном журавлевском пляже, куда они — Эд, Генка, Нина и Фима приехали на такси, машина стояла рядом, колеса в песке, и жирно оплаченный шофер их ожидал. Несмотря на мелкий и сухой снег с небес, ребята искупались в реке, предварительно заглотнув каждый грамм по двести спирта. Нина тоже купалась. После купанья они все прыгали, закусывали холодным мясом, обтирались полотенцами, пели и кричали. Потом Нина плакала и целовалась с Эдом, крепко обнимая его за шею.

Пьяную, в слезах, Эд и Генка привезли ее под вечер к дверям дома номер 19 на площади Тевелева, и Эд, поцеловав девчонку, втолкнул ее в подъезд. "Иди!" Ленька сидел наверху, беседовал с Анной, ждал свою Ниночку. Как потом оказалось, в этот день он пришел сделать официальное предложение. Эд сел в такси и укатил с Генкой. Нине нужно было выйти замуж, чтобы прописаться в Харькове и не возвращаться в совсем маленький городок на юге Украины. Нина вышла замуж за Леньку. Эд был свидетелем на их свадьбе.

Нина сжилась с супругом Ленькой. Ленька любит свою "Ниночку". Очень любит. Ленька парень надежный. Правда, какой-то второсортный. Вроде бы и неглупый, и знает литературу не хуже Мелехова, и умеет приподнято и энергично болтать, чуть скосив рот в сторону, а вот однако "пропадающая сила". Выражение это, кажется, пришло к Эду из лексикона неизвестного прогрессивного русского критика 19-го века. Может быть, Белинского, Эд точно не помнит. Имеется в виду, что в Леньке есть сила, он и рисует хорошо, и пишет неплохую прозу, а вот все равно сила эта пропадает в Леньке, Ленька как бы зарыл "талант свой в землю". Даже в Харькове, где легко прослыть творческим человеком, Ленька не прослыл ни "художником", ни "писателем". Ленька Иванов, и все тут. Без звания.

Эд вот не зарывает свой талант в землю. Он упрямо пишет стихи, и не понимает, как можно их не писать. Иной раз, одна нога в двери, он дописывает, наклонившись над ломберным столом... Сейчас стихи идут у него на удивление легко и сами собой. Все вокруг него превращается в стихи. Азиатская

летняя жара в резко континентальном Харькове получилась в стихотворении "Жара и Лето... Едут в гости..." Простой аквариум и в нем золотая рыбка, увиденный в доме Владика Семернина, остранился сам собой по методу Шкловского и опозовцев, и получается, что:

"В губернии номер пятнадцать
Большое создание жило
Жило оно значит в аптеке
Аптекарь его поливал
И не было в общем растеньем
Имело и рот и три пальца
Жило оно в светлой банке
Лежало оно на полу..."

Эд бегает по улицам Харькова, пьет с Мотричем или с Генкой и еще с десятками приятелей помельче, однако успевает и шить брюки, и писать стихи. Ленька же как будто ничего не производит. Трудно даже понять, что он делает целые дни. Иногда он устраивается работать. Истопником, как когда-то Мелехов. Или сторожем. Чтобы день был свободен. Впрочем, это его дело.

20

К ногам гранитного Тараса, пробежав по цветам, прильнул ниже фигур гайдамаков и наймичек и знаменитой Катерины — Ленька. Рядом с ним, обезьянны соскалившись, инженер Фима. Стали в позы.

— Видишь своего супруга, Нина?

— Боже мой, Эд, почему Ленька такой сумасшедший? Ты мне можешь объяснить? Ты вот не полезешь на клумбу...

— В клумбу Эд, может, и не полезет, но я лично был свидетелем того, как он прыгнул здоровенному мужику на спину, свалил его и стал бить ногами... — говорит Боб. — Есть такой Жданов. Похож на носорога. И силы такой же, и такого же ума. Эд — он осторожный, но непредсказуемый. За что ты решил побить Жданова, Эд?

— Не знаю. Я был пьяный. Жданов был пьяный. Мы шли

по парку — я, Генка, Ирка, Бах и Боб. Носорог взял Ирку за руку и стал крыть ее матом...

Со скамейки, густо усаженной молодежью, им машут Генка и мсье Бигуди. Видна соломенная шляпа Викторушки. Стоит спиной к ним, покачивается, в непомерно узеньких брючишках Мотрич. Он не любит сидеть. Он любит топтаться перед скамьей и выступать перед сидящими. У Мотрича в руках бутылка. Ленька, завидя свою Ниночку, перепрыгивает через клумбу и бежит к ней. Фима, соскочив на асфальт, изображает обезьяну, скачет на четырех, далеко вперед выбрасывая руки и отталкиваясь ногами. Фима едва ли не старше всех, ему 28 лет, старше только Мотрич, но ведет себя всегда так, как будто ему шестнадцать. И всегда улыбается большими негритянскими алыми губами на обезьяньем лице. Короткие черные волосы Ефима торчат щеткой. Ефим необыкновенно похотлив. "Поставить пистон" — его основная забота в жизни. Из-за своей похотливости он постоянно попадает в истории одна другой глупее и красочнее. Последняя такова:

Фима несколько дней "ставил пистон" женщине, одиноко живущей в частном доме на улице двух евреев, как ее называют харьковчане — на Москалевке (улица Моськи и Левки). Оба были счастливы, но женщине нужно было уезжать в отпуск. Уезжала она рано утром, а так как утомленному постановкой пистонов Фиме хотелось еще поспать, он попросил подругу оставить ему ключ от дома, он, дескать, дом запрет. Женщина уехала, Фима опять уснул, а когда проснулся, ключа не обнаружил. Крепкая, обитая железом дверь оказалась запертой, железные ставни были закрыты снаружи стальными планками и заперты на большие амбарные замки. Фима пытался взломать дверь и окна, но безуспешно. Он выл и кричал в щели окон, но только через три дня ему удалось остановить прохожего (по Москалевке в том месте ходило мало людей), которого он убедил позвонить по телефону Генке и сообщить ему адрес дома-тюрьмы, в котором он томится. Генка приехал на такси, с помощью шофера сломал один из амбарных замков и освободил Фиму. Фима рычал от голода. Подруга, оказывается, уезжая на месяц, очистила холодильник от еды, и в доме ему удалось найти только один бублик.

— Какой же ты после этого еврей, Фима! — смеялся Генка. — Где же твоя национальная ловкость, смекалка, умение выходить из трудных ситуаций?

— Ну я и вышел... — скалился виноватый Фима.

Генка повез его кормить в блинную. Генка до сих пор с восторгом вспоминает о том, сколько съел Фима.

* * *

— Эд, тебя Анна разыскивает. — Генка подвигается, и Эд садится рядом с ним, предварительно обменявшись рукопожатиями с Мотричем и юношей по фамилии Соколов. Юноша Соколов — франт. На шее у него, несмотря на жару, — бабочка в горошек. Поверх рубашки с короткими рукавами — подтяжки.

— Ну пусть поищет... Она совсем озверела. Набросилась на ни в чем не повинную Ирму-корову. Мы трепались — я, Боб, Ирма и ее подруга — вдруг бомбой вылетает Анна и вцепляется в волосы Ирме...

— Ганна Мусиевна переживает период активности. Влияние луны. Скоро полнолуние. Может быть, даже сегодня, — пьяно говорит Мотрич. Он пьян, но не очень, посему это еще не Мотрич Отвратительный, Мотрич Обоссанный, Мотрич Блюющий и говорящий мерзости Мотрич, но вполне благопристойный хорват, сутуловатый, занесенный судьбою в украинский город и ставший здесь поэтом.

— Фрейлайн Анне обидно, что вы, досточтимый поэт, шляетесь целыми днями по зеленому городу в окружении блестящих, красивых, остроумных и талантливых джентльменов приятелей, а она вынуждена продавать курсантам военной академии газету "Социалистична Харькiвщина" и журналы "Роботниця" и "Здоровье" докторицам из находящейся на углу Большой Больницы, — вещает со своего места Викторущка.

— Что можно сделать? — пожимает плечами Эд. — Я умею шить брюки, потому работаю дома и сам распоряжаюсь своим временем. Анна не умеет продавать газеты и журналы, точно так же, как не умела продавать книги в магазине "Поэзия" или академкниги в "Академкниге", и мебель в мебельном магазине, но это единственный способ заработать деньги. У меня, к сожалению, не так много заказчиков.

— Мне нужны брюки, Эд! — Соколов растопыренной пятерней убирает белый чуб со лба.

— И мне срочно нужны брюки, — Мотрич иронически глядит вниз на свои пообносившиеся узкие брючины. Два года Мотрич говорит о том, что ему нужны брюки, и никогда не собрал еще денег даже на материал. Иногда Эд почти готов купить Мотричу ткань на брюки на свои деньги, но хорошие отношения между ним и Мотричем никогда еще не продлились достаточно долго. Соколов, тот, пожалуй, соберется сшить брюки. Соколов юноша основательный, хотя и несколько романтический. Голос у него еще не установился, срывается то в хриплый тенор, то вдруг даже в бас.

Ленька, обняв свою Ниночку, пристроился на дальнем левом фланге компании, высадившейся на полукругом установленных скамьях. Ленька что-то шепчет своей хмурой и независимой жене, может быть оправдывается. Нина досадливо морщится на Ленькины нежности. — Морщится, — думает Эд, — но факт есть факт, живет с косолапым Ленькой, не уходит от него. Могла бы, уже прописавшись в Харькове, свалить и оставить Леньку с носом. Как видно, верный и преданный парень на дороге не валяется. Что, интересно, с ними будет, с Ниной и Ленькой? Интересно бы заглянуть в будущее. А что будет с Мотричем? Мотрич только недавно освободился от костылей — по пьяному делу сломал ногу. Хорват неостановимо спивается, и надежд на то, что он вдруг остановится, мало. А может остановиться?

А что будет с Генкой? Трудно себе представить. Вдруг умрет Сергей Сергеевич, как станет жить Генка, где будет брать деньги? А ведь когда-то же он умрет... Что будет с Генкой, представить куда труднее, чем будущее Мотрича... Мсье Бигуди? Поль слишком опасно ненавидит жизнь вокруг него. Поль любит Францию и знает о ней все. Поль недавно показал компании новую серию акварельных работ. Тот же интенсивный цвет, что и в его сумасшедших портретах, но улицы Парижа, а не портреты. Нечто вроде работ Утрилло. — На кой в многотысячный раз воспроизводить в акварелях парижские улицы? — подумал Эд, разглядывая рисунки, но вслух соврал, сказал, что рисунки ему нравятся. — Выполнено в прекрасной цве-

товой гамме, — сказал Эд. Мсье Бигуди хмыкнул-хрюкнул на его замечание. Может быть, он презирает Эда и всех ребят и даже ненавидит их, как он ненавидит харьковское население — "пидармерию"? Очень может быть. Ведь мсье Бигуди даже отказывается разговаривать с населением, и если к нему обращаются с каким-либо вопросом на улице, зло хрипит: "Не понимаю по русски!" Трудно себе представить будущее такого человека. В Харькове он чувствует себя заключенным. Но и в Москве, куда Польша собирается уехать пожить и поискать путей во Францию, живет та же пидармерия, может быть менее вульгарная, чем в Харькове, но пидармерия. Эд успел заметить это во время своего короткого визита в Москву.

Попасть во Францию... Дело трудное, но не невозможное. Один парень из Харькова добрался даже до Бразилии и стал там хозяином ночного клуба. Тетка Анны Гинда живет с матерью этого Алика в одном доме. Попал Алик в Бразилию легально. Строго следуя разработанному плану, парень сделался монтажником-высотником хорошего класса и был направлен с другими гениями высотного строительства в Польшу, воздвигать в польском поле комбинат. Воздвигая комбинат, он женился на полячке и остался там жить. Законно. Никому не воспрещается жениться на полячках и поселяться в Польше. Уже из Польши перебрался он во Францию. Говорят, это сравнительно легко, поляки, говорят, спокойно шастают туда-сюда во Францию и обратно, что советским гражданам не разрешается. Из Франции же попасть в Бразилию было совсем плевое дело... Может, и Польша сумеет добраться до своей горячо любимой Франции...

Как там у модного сейчас Мандельштама?

"Франция, как жалости и милости

Я прошу твоей земли и жимолости

Правды горлинок твоих и кривды карликовых

Виноградарей твоих в повязках марлевых..."

Звучит красиво. И такое впечатление, что написано после рассматривания цветных фотографий в журнале "Вокруг Света", особенно марлевые повязки виноградарей. Интересно, в тридцатые годы уже был журнал "Вокруг Света"? С повязками или без, но Эду кажется, что и во Франции большинство населе-

ния такая же пидармерия, как и в Харькове. Разве не нашел он ту же пидармерию, путешествуя по кавказам, крымам и азиям Советского Союза?

— Ребята, может еще выпьем? — предлагает давно поместивший пустую бутылку под скамью Мотрич. Особого энтузиазма его предложение не вызывает. Ребята или вяло переговариваются, или, вытянув ноги и водрузив головы на спинку скамей, закрыли глаза. Нина положила голову на плечо Ленки. Даже Фима и Викторущка, самые активные обычно, молчат. Виктор надвинул шляпу на глаза, кажется, дремлет — инструктор гитлерюгенд на привале. Хорошо хотя бы, что между ними и солнцем находятся высокие и тенистые харьковские каштаны. Говорят, что на всех харьковских деревьях висели повешенные евреи, когда 23 августа советские войска освободили Харьков. Может быть, и на этих каштанах...

В Харькове и сейчас много евреев, а до войны, говорят, было триста тысяч. Потому город такой интеллигентный, — думает Эд. Как ни крути, но Цилю Яковлевну не сравнишь с какой-нибудь тетей Мусей с Салтовского поселка. Супруга Анька, конечно, хулиганка и выродок в еврейской среде. Революционер в юбке. Анархистка. Вот дядю Давида, например, она называет "проклятый жадный жид" и испытывает к нему настоящую классовую ненависть. Дядя Давид — академик чего-то, не то химии, не то физики, не то сопротивления материалов.

— У этой жирной бляди, моего дядюшки, — вся квартира в антиквариате! Он не знает, сукин сын, куда деньги девать. За венецианскими бокалами по комиссионным магазинам охотится... И в это время две честные еврейские женщины умирают с голоду! — обычно начинает Анна очередную филиппику в адрес дядюшки. Приступы ненависти к дяде случаются всякий раз, когда Анна видит его прогуливающим собачку, обычно два врага сталкиваются нос к носу раз в месяц. После того, как однажды Анна подошла к дяде и плюнула ему в лицо, и ударила его монографией Врубеля по голове, собачку все чаще выгуливает домработница.

— Но мы не умираем с голоду... — возражает обычно Эд. — И почему ты считаешь, что кто-то обязан нам помогать. С какой стати?

— Да, Анечка, почему Давид должен нам помогать? — пожимает плечами гордая Циля Яковлевна, подойдя с папиросой в руке, другая рука, разумеется, на бедре. — Мы сами прекрасно справляемся без Давида.

— Потому, моя всепрощающая ангел Циленька, что папа Моисей — твой муж — выкормил и выучил этого сукиного сына — младшего брата. Он и академиком стал благодаря папе. Это отец содержал его, когда Давид учился в университете. И он ни разу не пришел к нам, когда умер отец и ты осталась с двумя дочерьми на руках. Трех рублей на нас не истратил! Проклятый жадный жид!

— Аня! Я запрещаю тебе говорить такие слова в моем присутствии!

— Конечно, ты ангел, гордая мама... Ты безропотно пошла работать в эту ужасную техническую библиотеку, похоронила себя среди пыльных книг, чтобы только никого ни о чем не просить. Не нужно было просить, нужно было требовать, мама!

— Перестань, Аня, нельзя быть такой злой...

— Можно и нужно быть такой злой! Эд, ты видел ее фотографии, моей Цилечки в молодости. Она и сейчас красавица... — Анна обнимает мать за талию и любовно смотрит на нее, — и эта красавица, после тяжелого психического расстройства...

— Аня! Перестань вспоминать невеселый период нашей жизни. Вспомни о хороших периодах, — Циля Яковлевна глубоко затягивается дымом.

— После тяжелого расстройства упрятала себя в технической библиотеке, где ее никто не видел. Красивая молодая женщина... Сукин сын Давид. Никогда ему не прощу!

Предания еврейской семьи окружают Эда. Как на картинах Шагала, летают по воздуху евреи и части евреев. С сумками, полными продуктов, которые она "достала" для семьи, плывет вниз головой тетка Гинда. "Труженица" и "добытчица", как ее характеризует Анна. Толстая дочка Гинды — Иркеле — лежит на пуховике в шубе. Анархистка Анька все же завидует шубе двоюродной сестры. Внук Гинды — мальчик Мишка, его Гинда называет Мишкеле, отталкивает от себя пухлой рукой "генеральское" — не хочет. "Генеральское" — это бутерброд

намазанный маслом, красной икрой и, о ужас — поверху вареньем! — Не хочу! — Сейчас отдам генеральское Анькеле, — пугает Мишку Гинда. Всегда готовая откусывать икры Анна в розовом платье плотоядно поглядывает на бутерброд. Ни на что не способный зять Гинды — Фима (и тоже инженер), взобравшись на диван, угрюмо надевает брюки, держа их высоко над полом, "чтоб не потерялись низки". Диван-кровать с благолепной седой старушкой Анькиной бабкой — все называют ее почему-то "бабушка Бревдо" — выныривает из шагаловских туч. Бабушка Бревдо в чистой ночной рубашке в цветочках, и лунного цвета пышные ее, как у всех дам Рубинштейнов, волосы разметались по подушке. На волосах лежит большущий жирный котяра. — Пришел мне конец, Циленька. Больше не встать мне. Головы не могу поднять с подушки. — Мама, но у тебя же на волосах спит Жоржик!

— Смешные евреи, — думает Эд, — какие смешные и разные. Не живи евреи в Харькове, наверное было бы скушнее. Нехорошо, когда у всего населения одинаковый темперамент. Если, скажем, будут ходить по Харькову одни степенные солидные украинцы, — как будет скушно. Евреи оживляют Харьков, делают его базарным, представляют в нем Восток. Наши восточные товарищи...

— Ну так что, выпьем или нет?.. Вы что, уснули? — Мотрич вытягивается перед скамейкой и вдруг всматривается в сторону Сумской, куда-то поверх клумб с мальвами и другими растительными харьковскими жирностями. — А-ааа! — радостно восклицает Мотрич. — Дядьки идут! Сейчас я их расколю на пару бутылок! — Мотрич, как мальчик, взбрыкнув ногами, очевидно очень счастливый тем, что освободился от костылей, убегает.

Возвращается он с харьковским Вознесенским — Филатовым, и журналистом "Ленинской Змины" — Олегом Шабельским. — Вот, наши товарищи из официального искусства хотели бы выпить с товарищами из левого искусства. Выпьете с богомой, товарищи?

"Вымогатель". Внезапно Эд ловит себя на том, что он находит в Мотриче все больше недостатков. Возможно, это нормальный процесс разрушения бывшего кумира? У Эда Лимо-

нова еще сравнительно мало опыта в этом занятии. Впоследствии ему предстоит воздвигнуть для себя и разрушить с полдюжины идиологов или больше, но разумеется, в этот августовский полдень 1967 года, втиснутый между Генкой и юношей Соколовым, Эд этого не знает. Он только думает, наблюдая за коленями Мотрича, прыгающими между горячим черным портфелем умного журналиста Шабельского и горячим черным портфелем харьковского вознесенского: "Как следует относиться к людям? Есть два основных метода. Первый — испытывать к ним человеческие чувства. Второй — предъявлять к ним требования. Критический метод." Все чаще Эд применяет к Мотричу критический метод. (А что вы хотите, неумолимая необходимость заставляет его быть безжалостным. Без разрушения он не вырастет!)

— ... без всяких проблем прыгну и проплыву, — Мотрич, воровато держа окурки в ладони, потягивает из него.

— Ну проплывешь и проплывешь... — спокойно отвечает Филатов.

На лице Шабельского всегдашнее высокомерное выражение. Он презирует авангардистов. Он глубоко убежден в том, что Мотрич и все поэты и художники, собирающиеся в Автомате, люди безграмотные и полуграмотные, и что для того, чтобы решиться на акт творчества, необходимо вначале досконально изучить мировое искусство. — Пока ты будешь изучать, мы преспокойно будем создавать шедевры. Ты изучай, изучай! — ответил ему однажды Мотрич на очередное обвинение в безграмотности.

— Нет, так нечестно... — вступает в разговор Викторушка. — Вы только что сказали, Аркадий, что герр Мотрич не прыгнет в водоем "Зеркальной струи", что он предложил совершить за двадцать пять рублей, а потом за десять. А если прыгнет, сказали вы, то его арестует милиция. Герр Мотрич же заметил на это, что местная полиция давным-давно перестала его арестовывать, потому что им надоело с ним возиться. Якобы местная милиция уже арестовывала нашего поэта десятки раз, и отлично его знает. Теперь вы отказываетесь от своих слов...

— Ой, да не отказываюсь я от своих слов, — злится Аркадий. — Вы, конечно, все хотите выпить, ребята. За бутылку

Мотрич проплывет десять километров...

— Ну, мы не думали, что вы такой примитив, товарищ представитель авангардного официального искусства, — вмешивается в разговор Ленька, оторвавшись от Ниночки, которая, помахав всем рукой, удаляется в сторону Университета. Перерыв кончился.

— Разумеется, дав слово, следует его сдержать, — поддерживает ребят Генка. Он всегда оживляется при появлении мельчайшей возможности хотя бы небольшого приключения.

— Нехорошо! — гудит Белый Боб. — Нехорошо!

Даже молчаливый мсье Бигуди размыкает губы и выдавливают: — Сэ па бон, мерд!

— У-уууу-ау! — выкрикивает и Эд нечленораздельную поддержку.

Смешно и даже глупо, что они его так прямо и грубо раскалывают. Аркадий не дурак. Могли бы просто сказать: — Старик, нам скушно, и ты давно не ставил нам бутылку. — У Филатова деньги есть, он физик, и к тому же его папа — генерал и какая-то шишка в Харьковской Академии.

— Черт с тобой, Володька... Я спорю, что милиция тебя все-таки арестует за купание в "Зеркальной струе". Спорю на десятку.

— Давай на двадцать пять, что не арестуют, а я буду купаться голый, — предлагает Мотрич.

— Слишком жирно будет за удовольствие лицезреть твои хорватские кости и сморщенный член. Нет у меня двадцати пяти рублей, вымогатель! Десятку могу истратить!

— Пошли, — обращается довольный Мотрич к компании. Юноши встают, разминаются, тянутся. Викторущка, расставив ноги, руками по-гимнастически достает до носков босоножек. До кривых ногтей. Очевидно, всю зиму Викторущка носил тесную обувь.

21

Откуда появились милиционеры — понятно. Они постоянно патрулируют сквер у "Зеркальной струи". Все-таки центр

города, должен быть порядок. Однако они неожиданно вынырнули, раздвигая плакучие ивы, купающие свои ветви в пруду, ограниченном цементными бортиками.

— Гражданин! Прекратите и вылезайте! — в другом месте милиционеры покрыли бы Мотрича матом, но не у струи. В глупой каменной беседке-пагоде над водоемом столпились зрители — визжат дети, кричат женщины, с восторгом и стыдом лицезрея голую амфибию Мотрича, он все-таки купается голым по собственной инициативе. Чтоб выдать Аркашке полноценное зрелищное мероприятие за его десять рублей.

— Хуюшки, — отвечает Мотрич из воды. — Не вылезу. Плывите сами сюда. — Мотрич хохочет в воде. Белое хорватское тело скользит на середину водоема и переворачивается на спину, темный хорватский член поэта плещется вместе с ногами.

— Гражданин! Прекратите безобразие в общественном месте! — Крепкие губы старшего из милиционеров с трудом выговаривают непривычно вежливые фразы. Туголицый, с крепким затылком, лет под пятьдесят старшина, без сомнения, привык к куда более сильным выражениям. Другой "мусор" — деревенского вида парень вдвое моложе, очевидно, пришел в милицию сразу после армии. Раньше на улицах Харькова разгуливали только старые мусора. Теперь появляется все больше и больше молодых. Они тоже жлобы, как и старые, но менее злы.

— Гражданин! За нарушение общественного порядка получите пятнадцать суток. Немедленно плывите к берегу! — милицкий ботинок воздвигся на бортик пруда, другой попирает собой тщательно высаженные майоры и маргаритки. Ивовые листья свисают с погона старшины, как аксельбант. Младший мусор раздумывает — лезть ли ему тоже в цветы, или остаться на асфальте. — Гражданин! Плывите к берегу!

— Зачем же я поплыву получать пятнадцать суток. Мне тут очень хорошо. Прохладно... — Мотрич выбрасывает руки вперед и, как дельфин, выпрыгивает по грудь из воды, чтобы показать, как ему хорошо.

— У-уууууу! Браво! Человек-амфибия! Уууу-ууууууу! — кричит, свистит, задыхается от восторга собирающаяся постепенно по периметру водоема толпа. Обычно скушно и в безводном пыльном Харькове, и у струи.

Эй, моряк! Ты слишком долго плавал!
Я тебя успела позабыть!
Мне теперь морской по нраву дьявол,
Его хочу любить...

— запекает вдруг Мотрич из воды куплет из только что прошедшего по экранам Харькова фильма "Человек-амфибия". Он оборачивается вокруг себя в пятне солнца, радостно фыркает и опять выкрикивает: "Его хочу любить!"

— Его хочу любить! — орет Викторущка в восторге.

— Его хочу любить! — орет Белый Боб.

Тощий и бледный физик харьковский вознесенский хотя и не кричит, что ему по нраву морской дьявол, но ситуация ему нравится. За десять рублей такая потеха.

— Гражданин! В последний раз предупреждаю. Вылезайте! Хуже будет! — от бессилия и злости старшина сделался багровым. Молодой мусор, напротив — улыбается.

— А что ты со мной сделаешь, старшина? — спрашивает Мотрич из воды и быстро плывет к беседке, как будто собираясь выбраться там на берег. Мусора бегут вдоль берега к беседке. Однако, не доплыв до берега нескольких сантиметров, Мотрич подныривает под себя и, шумно всплескивая руками, плывет обратно, к центру водоема... Старшина из беседки грозит ему кулаком. "Мне теперь морской по нраву дьявол! Е-го хочу лю-биии-ть!" — вопит Мотрич.

— Народные развлечения! Господин поэт Мотрич принимают публичные ванны... — Язвительный, глубокий, хорошо поставленный голос, вне всякого сомнения, принадлежит Юрию Милославскому. Актер кукольного театра, поэт, диктор, автор кошмарных сюрреалистических "Приключений Пети Жопина" — Милославский немаловажный персонаж на харьковской сцене.

Эд оборачивается. Он не ошибся. Он видит перед собой скептическую физиономию Милославского. Рядом, сложившаяся в менее удачную скептическую гримаску, физиономия прыщавого юноши поэта Верника. — Господин поэт Моржич купаются... — Верник пытается быть таким же язвительным, как Милославский.

— Привет сионистам! Как поживает мировой сионизм? —

Язва Филатов радостно набрасывается на вечного своего оппонента. Аркадий явно воспринимает Милославского как соперника, хотя между ними не стоит женщина. Филатов ревнует Милославского к публике, к Харькову, к почитателям, к юношам, которыми постоянно окружен Юрий. Вы помните, они сцепились на юбилее юноши Лимонова.

— Прекрасно поживает мировой сионизм. Как вы знаете, уважаемый оппонент, в июне наши танки были в пятидесяти километрах от Дамаска. — Милославский шутливо наклоняет голову, имитируя светскую беседу.

— Почему же вы, Юрий, опоздали прибыть туда, на Голанские высоты, и не дрались с сирийцами за Эль-Хама и Кунейтру? — Аркадий любит щегольнуть своим всезнанием физика. Откуда он взял названия населенных пунктов, за которые израильтяне дрались с сирийцами во время шестидневной войны? Из газет, наверное. Надо же, запомнил, дотошный физик...

— Как вы знаете, уважаемый оппонент, существуют известные трудности в сообщении между городом, на асфальте которого мы с вами сейчас стоим, наблюдая известного поэта-алкоголика, купающегося в хлорированном водоеме, и землей обетованной...

— Убежал! — кричит Викторushка. — Голый... — Викторushка и Ленька, в руке которого одежда Мотрича, ликуют. Милиционеры, Мотрич сумел их обмануть, вдруг внезапно выбравшись на сушу в неожиданном месте, топая, бегут за бледнозадным поэтом, который мчится по центральной аллее, пугая прохожих. Неожиданно он виляет и прыгает в заросли. В перспективе главной аллеи видны оба милиционера, всматривающиеся в заросли, но не лезущие в них. Младший вдруг хохочет. Погоня за голым — смешное занятие даже для харьковского милиционера.

— Сядем? — предлагает Милославский, как у себя дома предложил бы сесть гостям. Он на своей территории. У "Зеркальной струи" штаб-квартира сионистов. Сказать, что на нескольких скамейках, расположенных высоко в сквере, параллельно Сумской, собираются только сионисты, было бы неверно, но Милославский и его приятели торчат тут дольше и чаще всех. Кроме Милославского и Верника к сионистам еще прина-

длежит парень постарше — Изя Шлафферман, и еще с десяток других персонажей, но уже второстепенных: Эд Сиганевич, Костя Скоблинский, профессорский сын Вадик Семернин, назвавшийся вдруг евреем...

— Можно... — Аркадий чешет короткоостриженный затылок. Подсознательный и частый жест харьковского вознесенского. — Однако бы неплохо Володьку найти. Я ведь обещал Володьке десятку...

— О, не волнуйтесь, уважаемый оппонент! Господин Мотрич найдет вас с причитающейся ему десяткой. Где бы вы не находились! — Милославский — жестокий юноша. Не прощает папе-Мотричу слабостей.

— Ладно, хватит на Мотрича бочку катить... — неожиданно для себя вступает за папу-Мотрича Эд. — Он — личность в своем роде. Убери Мотрича из Харькова — скушно ведь как станет.

— Сдаюсь! Сдаюсь! — поднимает руки Милославский. — Я не против товарища Мотрича. — И ядовито прибавляет: — Я только не люблю рядом с обоссавшимися сидеть. А так — товарищ Мотрич — хороший товарищ.

Они садятся на скамью. Опять. Сидение на разнообразных скамьях — летний образ жизни харьковских декадентов. Растущая сзади ива низко-низко свисает над скамьей уже далеко впереди ребят, на растрескавшийся и проросший травами асфальт, дорожки в сквере не ремонтировали с незапамятных времен. Перед скамейкой, на которую уселись Милославский, Аркадий, Генка и Шабельский, почва разрушена и взрыхлена до состояния песка. Сионисты за лето перемолотили почву ногами, переживая. В июне ведь состоялась шестидневная война. Кто окрестил "сионистами" компанию Милославского, уже невозможно сказать. Главный харьковский острослов и раздаватель кличек, разумеется, Бах.

Верник, мсье Бигуди, Белый Боб поместились на другой скамье. Структура декадентского общества строго иерархическая. Всеми добровольно соблюдается табель о рангах. Посему Милославскому прилично сесть с Филатовым, с Эдом, с Шабельским и Генкой. А вот Вернику сесть можно, но как бы не по чину, высоко залетит в этом случае. Если же их было бы

только трое, Милославский, Эд и Верник, разумеется сели бы вместе.

— Сидите, недоросли! — свежий, улыбающийся, мокровосый и причесывающийся на ходу Мотрич появляется из-за спин ребят в сопровождении Ленки Иванова и Викторушки. — Ну что, Арканчик, имею я право на твою десятку?

— Имеешь, имеешь... — Филатов поспешно вручает Мотричу розовую десятирублевку.

— Приглашаю всех к себе. Будем пить! — гордо объявляет Мотрич. И увидев удивление на всех без исключения лицах, добавляет: — Маханша уехала на неделю в деревню. Только будем заходить группами по три человека, не больше.

Ага, теперь понятно. Когда мамаша Мотрича, еще совсем не старая простая женщина с крутым характером, дома, Мотрич не решается приглашать к себе приятелей.

2 2

Вдруг в один прекрасный день оказалось, что вокруг полным-полно евреев. Раньше все были поэты, художники, философы, а с июня месяца декадентское общество разделилось на евреев и всех остальных. Владик Семернин, бывший до этого русским, назвался евреем. У него отец русский, а мать еврейка. И он выбрал стать евреем, ибо быть евреем стало модно. Конечно, из-за шестидневной войны. Из-за побед израильского оружия, которые делают Милославского и его друзей все более хвастливыми. Оказывается, израильский солдат — лучший в мире, израильский генерал Моше Даян — лучший в мире. Когда Эд позволил себе усомниться в доблестях израильского солдата и предположил, что если заменить ему противника и вместо плохо организованных и страдающих от коррупции арабских армий выставить против израильтян русских упрямых ребят, то тогда можно будет проверить, так ли уж брав израильский солдат, опьяненные победами своей нации сионисты сказали, что победят и русских. Эд хмыкнул.

Со скамеек у "Зеркальной струи" все с большей самоуверенностью и возрастающей презрительностью глядят на окру-

жающий их Харьков сионисты. Эд Лимонов не любит козье племя, из толпы которого ему стоило таких трудов выбраться, и цену козьему племени знает. Но даже ему неприятно брюзжание сионистов на русский народ. Идет мимо скамеек загулявший заводской Ванька, приехавший с окраины в центр прогулять жену и детей, пьяненький, в раскаленном костюме мешком, штаны по земле волочутся, осовел, ошалел от жары и водки — зрелище, правда, противное... Сионисты на скамейках довольны, хихикают, комментируют: "Класс гэгэмон гуляют, его Величество..." Особенно стараются прихлебатели Милославского. Прыщавый и заикастый Верник туда же, на себя бы поглядел, даже шрамы на роже от прыщей, кривляется, изображая чудовищное произношение Ваньки, давно уже скрывшегося за поворотом аллеи со своей неуклюжей семьей.

— Юра, если вы все в этой стране так ненавидите, — сказал однажды Эд Милославскому, — почему бы вам не уехать отсюда?

— Как, Эд? — спросил Милославский просто и трезво, глядя на него. — Научи?

— Если очень хочешь, уехать можно. Сын соседки анькиной тетки Гинды уехал же в Бразилию. Хотел в Бразилию, и попал туда. — Эд рассказал Милославскому историю Алика-высотника и добавил: — При известной настойчивости и силе характера уехать из Союза можно. Тоже жениться на девочке из соцстраны. На полячке или чешке. Из соцстраны, все говорят, плевое дело свалить.

— Меня лично ни в одну соцстрану уже не пустят, — спокойно сказал Милославский. — На меня, я уверен, в ГБ давно уже дело заведено. В соцстрану нужно мылиться с чистой биографией, а готовиться к этому следовало, что называется, с молодых ногтей. — И Милославский особенным образом улыбнулся, как бы сочувствуя невинной глупости собеседника.

Юрий на несколько лет младше Эда, но держится покровительственно, да и выглядит старше. Он — врожденный лидер, вокруг него сами собой естественным образом группируются ребята. Милославский вышагивает по улицам Харькова крупными шагами, презрительно задрав большую голову, а рядом мелко семячат приятели, ловя Юркины фразы. Одного Мило-

славского увидеть невозможно, он человек общественный. Юркин дед тоже был общественным человеком и лидером, председателем первой в Харькове Советской партийной школы. Юрка же как бы председатель антипартийной школы.

Тут следует ненадолго остановиться на событии, состоявшемся в феврале 1967 года, на событии, впоследствии названном Анной Моисеевной – "Первое чтение Эда", поскольку оно вдруг сблизило (ненадолго, впрочем) Эда с Милославским.

Зимой 1966/67 поэт Лимонов вдруг превратился (только на одну зиму!) в прозаика, написал к полной своей неожиданности целых тридцать рассказов. Анна Моисеевна, может быть отчасти озабоченная их, ее и Эда, местом в иерархии харьковского декадентства, пылко желала, чтобы ее поэт представил миру свое творчество. Проще говоря, она хотела убить всех и превратить комнату на Тевелева 19 в салон мадам Рекамье/Рубинштейн. Каждому салону нужен хотя бы один гений. Гений у Анны Моисеевны был, следовало только дать миру хорошо разглядеть гения. Где выставить Эда и его произведения для всеобщего обзора и поклонения? Анна договорилась с человеком по имени Борис Алексеевич Чичибабин – зарабатывавшим свои шестьдесят рублей в месяц тем, что раз в неделю он выслушивал бездарные стихотворные произведения юных недорослей и престарелых маразматиков в самой грязной комнате Дома Культуры Работников Охраны Общественного Порядка, что Эд прочтет свои творения на его "семинаре". Эд, недолголюбивший "харьковского Солженицына", как он окрестил рослого, рыжего и бородатого Чичибабина, поворчав на Анну, согласился. В те годы, возможно, в каждом более или менее крупном провинциальном культурном центре появились свои местного масштаба Солженицыны, также как непременно имелся в наличии один местный Вознесенский. У Эда не было никаких конкретных причин не любить Чичибабина, но бывший зэк не понравился ему с первого взгляда. Сионисты же, во главе с Милославским, напротив, ценили и даже уважали Чичибабина и часто посещали Дом Культуры Милиции, свили там гнездо.

В назначенный для чтения день харьковский Солженицын сказался больным. Был ли он действительно болен или он так-

же инстинктивно не любил нашего героя и не хотел слушать его творений, отвечая ему взаимной неприязнью, навеки останется глубокой тайною. Как бы там ни было, в тот день занятие вел вместо Чичибабина испуганный усатенький поэт с очень еврейской фамилией, которую Эд Лимонов помнил только один день. Поэт был автором тоненькой в зеленом переплете книжки стихов, изданной в харьковском издательстве.

Милославский и его банда явились и дружно расселись сзади, хлопая крышками стульев и, как обычно, скептически похихикивая. Еще с десятков литературных старушек и стариков и литературных девушек расположились в первых рядах. Виновнику торжества показалось, что запущенный зал — зал суда.

Он, внешней спокойно, но на деле ужасно волнуясь, как-никак это было его первое "официальное" чтение, прочел публике два рассказа. Стоит остановиться лишь на одном из них, на рассказе "Мясник", ибо именно этот рассказ крепко ударил публику по голове. Герой рассказа — мясник Окладников, прототип его Эд, покопавшись в прошлом, без труда нашел в лице реального друга детства Сани Красного, однако существует в атмосфере сюрреалистической, душной и страшной, одновременно напоминающей и сказки Гофмана, и современные "триллерс", о которых в то время наш герой не имел ни малейшего понятия.

"Мясник" публику ошеломил. Растерянный усатенький поэт во всеуслышание сказал, что рассказ гениален. Некий лысый литературный старичок пролепетал было что-то об "угнетенной атмосфере" рассказа, но его неожиданно затюкали и освистали сионисты. Им, разбойникам и хулителям всего (именно их мнения боялся Эд Лимонов), рассказ понравился. У выхода из грязной комнаты Милославский сказал ему, что он не ожидал, что Эд Лимонов пишет такую прозу.

— А что, вы думали, я пишу, Юрий? — спросил уже нахальный автор "Мясника".

— Ну, что-нибудь под французов... Этакое бодлеристое...

Эд хотел сказать, что это стихи Милославского можно обвинить в блатной парижской романтике (а как еще можно было воспринять, например, строки "О Лотрек, все ли бары ли

нынче облазил? / Всех ли баб перелапал...), но будучи в благодушном настроении победителя, не сказал. Вместо этого он пригласил Милославского на день рождения. На знаменитый день рождения Милославский и Вадик Семернин преподнесли Эду сочиненную ими пародию на рассказ "Мясник". Героиней пародии была многодетная вдова. Впоследствии, в скитаниях по странам и континентам, наш герой потерял пародию, исполненную высокими буквами черно-ржавыми чернилами на мелованной бумаге, и только всплывают в его памяти строки:

И вдова отошла коридорами злыми на кухню

Где евонные дети блудили, забыв коммунальную

совесть...

Само оригинальное произведение, рассказ "Мясник", также, зевнув и потянувшись, проглотило с бульканьем время. Как и двадцать девять других произведений, написанных той зимой.

Мы с нашей позиции, читатель, видим, что подаренное рассказу "Мясник" официальным советским поэтом с еврейской фамилией восклицание "Гениально!" не выдерживает никакой критики. Правильнее было бы воскликнуть "Оригинально!" Дело в том, что наше юное дарование соорудило рассказ в редкой манере. Молодые дарования того времени подражали или только что вновь открытому Андрею Платонову, или вялой прозе Пастернака, головуразламывающей прозе Цветаевой, усыпляющему стилю Андрея Белого. Наш же человек сумел в те годы, изведя тысячу листов серой бумаги, под строгим и неусыпным присмотром круглолицего Толи Мелехова, создать свою оригинальную манеру. Создав ее в стихах, он автоматически перенес ее в свои немногочисленные опыты прозой. Свежая манера письма нашего героя покоилась на свободном ритмическом народном стихе и была, к чести нашего поэта, ни на что не похожа. Куда можно было определить все эти "Шарики, шарики! — говорит, — несите меня! — и ножкою оттолкнувшись..." На эстрадную трескучую поэзию тех лет опыты нашего юноши никак не подходили.

(Возможно предположить, что цветастой живописности в произведениях Эда Лимонова того времени мы обязаны влиянию на него еврейской семьи, в которой жил наш юноша, цве-

тастым оборотам речи Анны Моисеевны и Цили Яковлевны, легендам и мифам еврейской среды, в которой вдруг очутился наш "хазэрюка" в столь нежном еще и восприимчивом возрасте. Его шарики и оттолкнувшаяся ножка не напоминают ли вдруг известные нам картины Шагала с его оттолкнувшимися в зеленое небо любовниками? Впрочем, наша цель не исследование поэтического творчества Лимонова и влияние на это творчество еврейского фольклора, но более скромная задача выяснения деталей процесса превращения рабочего парня и экс-криминала в поэта).

От сионистов нет, не исходил на нашего хазэрюку сладкий цветной дым и запахи фольклора. Они, настаивающие на своем еврействе, были евреями без запаха и вкуса, в то время как Анна Моисеевна, себя считавшая вырожденком, на деле была пышной еврейской розой. Правда, на розу время от времени обрушивался шквал безумия, но после этого она еще больше благоухала. К тому же экс-сталевару посчастливилось познакомиться с Анной уже после большого шквала, следующий затреплет розу только в 1970 году.

"Настоящим" евреем среди сионистов был, пожалуй, только старший и примкнувший к ним позднее Изя Шлафферман, коренастый и широкоспинный, похожий на Бабеля губами и носом и лысеющим черепом. (Есть отчетливый тип мужчины-еврея, похожий на Бабеля, но не все мужчины-евреи похожи на Бабелей, читатель). Побывав в "хате" Изи на окраине города, наш юноша нашел там и полагающуюся по его мнению еврейским домам по штату особую духоту, и запах нафталина, смешанный с запахом селедки, и отца в трусах, и седую картую маму. Кто внушил украинскому юноше Савенко, каким должен быть еврейский дом и как он должен пахнуть? — спросит читатель. Опыт, о многоуважаемый читатель! Если в доме одноклассника Яшки Славущкого пахло смесью селедки и нафталина, то вырастая, украинский юноша продолжает думать, что и во всех еврейских домах должно пахнуть селедкой и нафталином. Если подруга молоденькой мамы украинского юноши — еврейская девушка Роза, торговавшая в киоске на Красноармейской улице мылом, ватой, одеколоном и другими предметами медицины и гигиены, наклонена была над затре-

паннами, с желтыми страницами пухлыми романами Жорж Санд "Консуэло" или "Графиня фон Рудельштадт", то через двадцать лет украинский юноша безуспешно копается среди книг Анны Моисеевны, пытаясь обнаружить еще более изношенный томик "Консуэло".

* * *

Именно после шестидневной войны они взбесились. Вдруг возможно стало одним махом зачеркнуть личные неудачи, личное безволие, сонность, робость или недостаток таланта, объяснив себя евреями и свалив причину неудач на чужую им страну, в которой они себя обнаружили. Опять фараон был злом, а евреи стали безусловным добром. Не спрашивая ни Моше Даяна со стивенсоновской фишкой на глазу, ни его ребят — пост-гудериановских танкистов, прущих в пыли по дороге на Багдад, еврейские юноши во всем мире и в Харькове присвоили себе эту победу, присосались к победе самовольно. Поверх каждого цивилизованного пиджачка, невидимая ванькам, но видимая самому юноше, запестрела маскировочная куртка десантника. Танки, остановившиеся на Багдадской дороге, увязли по башни в землю под грузом самовольно влезших туда туш еврейских юношей со всего мира, харьковских тоже. Разумеется, евреям очень нужна была победа. Как отсталому восточному народу (сравним индийцев, завоевавших свою независимость у англичан в 1947!), независимость им досталась поздно, ох, пусть они будут счастливы на своей кошке, со своей независимостью!

"Сионисты" сидели в сквере у Зеркальной струи героями, поблескивая очками как орденами и медалями и высмеивая скверное местное население, не героев, не танкистов, но неуклюжих, грубых и пьяных ванек чужой страны, союзников побежденных арабов, и потому тоже как бы побежденных ими. "Что мы тут делаем? — очевидно спрашивали они себя. — Почему мы не дома, а на земле друзей наших врагов? Скорее домой, к нашим танкам, к нашей победе, домой!.." Они еще не знали, как.

Можно ли винить их за этот стихийный национализм, вдруг вспыхнувший в них? Статистов, шестерок — тех винить

за что? Им во все времена необходимо общее дело, за которое они могут уцепиться, дабы преодолеть индивидуальное ничтожество. А вот талантливого Милославского винить можно. Талант не имеет права втискиваться в башню национального танка еще одной безымянной тушей. И даже в бессознательном возрасте двадцати лет.

23

Пыльный город Харьков в тот переломный момент от лета к осени можно было сравнить с чуть увядшей, жаркой хризантемой, тысячи их ядовито цвели в тот август в городе. Или же с Анной Моисеевной можно было сравнить город, с изумительно крупной белой, чуть увядшей плотью Анны Моисеевны: необъятное, неупакованное мясо зада, неправильно развившиеся пышнолягие ноги, спускающиеся к маленьким ступням. Декадентский, скушный, красиво-уродливый как Анна Моисеевна, о родной город героя! Харькова, как и Анны Моисеевны, наш герой будет позже стесняться и в то же время будет гордиться, что у него, юношеского, такая седая полубезумная подруга. Харьков, как и Анна Моисеевна, будет всегда неопровержимо указывать на серьезность и трагичность юноши, и влияние уродливого стыдного города, в котором ему суждено было сформироваться, будет сказываться на нем, даже когда он удерет от Харькова на тысячи миль...

Пройдя через парк Шевченко (в какой уже раз!), юноши вошли в Рымарскую и, миновав бабу Мотрича, торгующую семечками рядом с театром оперы и балета, остановились, чтобы небольшими группами просочиться в комнату деревянного человечка. Деревянный человечек Мотрич не живет в чердачной комнате, в которую ведут сто ступенек винтовых. Он живет в помещении, дверь в которое находится за шифоньером в комнате матери Мотрича. В комнату ведет узкий, как прямая кишка, десятиметровый коридор. За несколько столетий существования города в глубинах его сросшихся внутренностей образовались тайные пещеры и лабиринты, созданные случайно, о существовании которых, может быть, не подозревает ни мили-

ция, ни городские власти. Много раз разнесенный на куски налетами различных авиаций и колотивших друг друга артиллерий, Харьков обзавелся и катакомбами развалин. В отрогах одной из руин незаконно живет поэт Мотрич. Единственное окно, высоко под потолком, пропускает в комнату слабый свет, сочащийся с неизвестного, заросшего бурьяном пустыря. Типичное жилище проклятого поэта.

Одни мужчины явились к проклятому обмывать славный заплыв. Филатов (но без Шабельского), Эд, Белый Боб, Викторushка, Ленька Иванов, Генулик, мсье Бигуди, Фима набились в экзотическое жилище поэта, уже вооруженные бутылками и минимальным количеством закуски.

Шумно смеясь, оперируя бутылками, снабжая друг друга кусками хлеба, колбасы и плавленого сыра, глотая поочередно портвейн из одного стакана ("на всех все равно стаканов нет, давайте лучше пользоваться одним, чтобы не запугаться в том, кто сколько выпил", — предложил хозяин), мужское общество вдруг как бы приподнимается на десяток сантиметров над потрескавшимся линолеумом пола и парит в воздухе. — Левитируем, — определяет привычно пьяный Эд, примостившись рядом с Генкой на раскладной, из алюминиевых трубок, листа парусины и нескольких десятков пружин состоящей, кровати хозяина. — Левитируем, а Ген?

— Да, Эдуард Вениаминович, пора левитировать. Сегодня еще попьем, а завтра завяжем. — Генка иногда исчезает на несколько дней и, как утверждает, в эти дни он не пьет. Под глазами бывшего лимоновского идола, если идол пьет больше обычного, появляются темные мягкие мешочки. Анна Моисеевна утверждает, что у Генки не все в порядке с сердцем. Эд косится и щурится, пытаясь разглядеть Генку попристальнее. Красивый все-таки Генка. Подбородок у Генки крепкий и видный, не то что у нашего героя — невыразительная раздвоенность, а не подбородок. Однако Эд уже догадывается о силе своего характера и начинает подозревать, что фольклорная устная физиономистика, оперирующая большими лбами и твердыми подбородками в качестве идеалов — просто чушь собачья. "Чушь собачья" — из какой деревни, посредством скольких дедов и бабок и прохожих человекoв пришло к нашему герою

его любимое выражение? ”Чушь собачья”— это бессмыслица, это хаос. Когда он произносит свою любимую идиому, Эд обычно морщится. Он — организатор хаоса, он его — хаоса — победитель. Такие люди всю жизнь свою рубят хаос и укладывают его в аккуратные штабеля. Хаос, правда, быстро вылезает сзади джунглями из земли на только что порубленном участке.

Борец с чушью собачьей, участвуя в жизни собравшегося мужского коллектива, прислушивается, как Филатов рассказывает историю о похищении фарцовщика Сэма, взгляд же его блуждает где-то между хорошо построенным, как нос корабля викингов, подбородком друга Генулика, и большим ржавым ведром, стоящим под умывальником. Из мотричевского умывальника в ведро с интервалом срываются капли. Рядом с ведром качаются зачесанный набок чубчик и прямой нос Ленки Иванова. Он сидит на полу. Рядом с машинкой ”Москва”. Это из нее выходят и распространяются по Харькову произведения Мотрича.

— Очевидно, они долго за ним следили, пытаюсь узнать, где же он держит свои бабки. И когда так ничего и не выяснили, решили, пусть он скажет сам. — Филатов сидит у стола Мотрича и возит головой по высокой спинке стула и по стене. Филатов длинноног, тощ, коротко острижен. Как и подобает современному поэту, физику и сыну большого человека, он одет в джинсы, может быть проданные ему тем же Сэмом, о котором он рассказывает. Монотонно Филатов продолжает:

— Сэм стоял в Автомате и пил кофе с коньяком, когда к нему подошел человек и вежливо сказал: ”Сэм, нужно поговорить, дело есть. Можно тебя на пару минут?” Сэм вышел с ним, ничего не подозревая... Он думал, что у человека есть что предложить, может быть антиквариат, может быть чемодан с фирменными шмотками, может быть валюта... Рожа типа была ему отдаленно знакома. Где-то Сэм его видел. Они вышли...

— Во пидармерия, дает шороху... — задвигался на табурете мсье Бигуди, — как роман полисье...

— ... у тротуара стояла машина. Вышли еще два типа и, уже невежливо, схватив Сэма, бросили его в машину. Моя Людмила как раз выходила из Театрального института и видела всю сцену. Людмила решила, что Сэма взяли катебешники. Он сам

тоже решил, что его взяли кагебешники, потому даже не вопил и в машину сел спокойно, так как знал, что нет у них ничего против него. То есть наводок полно, и стучали на Сэма немало, но доказать они не докажут. — Попугают, — подумал Сэм, — и отпустят. — Его уже подобным образом хватали... Однако в этот раз ему не понравилось, что в машине они завязали ему глаза. Тут Сэм стал сомневаться, кагебешники ли эти четверо...

— Трое, — поправляет Мотрич. Он сидит рядом с Ленькой Ивановым на полу.

— Четверо с шофером, — Филатов смотрит на свои электронные часы. — ... Ехали они долго и с Сэмом не разговаривали. По расчетам Сэма, по времени, они его куда-то за город привезли... Хотя очень может быть, что они его спокойно по городу помотали, чтобы он подумал, что за город везут. Вывели они его и куда-то вниз по ступеням, двое за руки держат, свели...

— В подвал, пидармерия, повели! — Поля довольно потирает руки и вдруг даже вскакивает с табурета.

— Что, мсье Бигуди, нравится история? Видишь, какие крутые люди в нашем родном городке проживают... А ты в Париж, в Париж! — Викторушка смеется. Присутствующие, знающие об отношениях Поля с Парижем, комментируют ремарку фырканьем и смешками.

— Развязали они ему глаза... Он смотрит — точно, в подвале он, но стены не каменные, старая штукатурка. Трое в масках уже, и только тот, который его из Автомата вызвал, не в маске. Улыбается он всей рожой и говорит: "Вот что, Сэм, чтоб тебе сразу было ясно — все, что нам от тебя нужно — это твои бабки. Где ты свои бабки держишь?"

"Какие бабки, ребята, вы что, охуели? — взмолился Сэм. — Вы меня с кем-то перепутали, ребята! Откуда у меня, студента библиотечного института, бабки? Да я десятку забыл, когда видел!"

Они расхохотались и этот, без маски, говорит: "Мы тебе, Сэм, не Комитет госбезопасности и не ОБХС. Это ты им можешь заливать... А мы с тобой, Сэм, нянчиться не будем. Ты не выйдешь отсюда, Сэмуля, пока не скажешь, где ты прячешь свои бабки, и пока ребята не съездят туда, и твои бабки не бу-

дут лежать на этом столе”, — и тип постучал по столу.

”Да откуда у студента бабки...”, — заныл Сэм. Те покачали головами, и который без маски взял стул от стены и поставил его в центр подвала. ”Садись, Сэм!” — ”Спасибо, — говорит Сэм, — я не хочу, я не устал”. — ”Садись, когда шеф просит”, — говорит самый здоровый амбал и как врежет хуком Сэму в живот. Сэм схватился за живот и сел на стул. Вот как я сижу”, — Филатов ерзает на стуле и даже чуть приподнимается на нем, чтобы показать, как он сидит.

”Не так, Сэм, — ласково говорит тот, который ”шеф”, — у нас так не сидят. Посадите его, ребята, как следует”. ”Ребята” Сэма схватили и стул под ним перевернули, посадили Сэма вот так... — Филатов вытаскивает из-под себя стул, ставит его таким образом, что спинка стула оказывается обращенной к присутствующим, и усаживается на него верхом, лицом к спинке.

— ... посадили и тащат с него пиджак, и рубашку снимают. Сэм было дернулся: ”холодно у вас тут, ребята, рубашечку-то оставьте, пожалуйста”. — ”Не волнуйся, Сэм, — говорил шеф с улыбочкой, — сейчас жарко тебе будет. А поскольку женщин у нас тут нет, только джентльменс, то и джинсы с него, ребята, снимите”. Сэм дернулся опять, но что он мог сделать? — Филатов вопросительно поглядел на присутствующих, как бы желая, чтобы они оправдали беспомощность Сэма. Действительно, что мог сделать тщедушный маленький Сэм против четверых амбалов, — думает Эд Лимонов. — Подчиниться.

— Голого они его привязали к стулу и какие-то приволокли провода и электроаппаратуру. ”Что это вы, ребята, собираетесь делать?” — спрашивает перепуганный Сэм. ”Согреешься сейчас, Сэм, я же тебе обещал”, — смеется шеф. Один из них между тем надел калоши на ноги, на руки резиновые перчатки, в руки взял обыкновенную металлическую суповую ложку, но к ложке провод припаян...

— Бля! — раздается восхищенный шепот сразу из нескольких глоток. — Ни хуя себе!

— Провод, — невозмутимо продолжает Филатов, — идет к трансформатору и к реле к ручному, чтобы напряжение, значит, менять, а от реле — в сеть. А реле у них очень примитивное ока-

залось. Знаете, такая катушка в полметра длиной с проводом, а по катушке рукою двигают кнопку. Больше напряжение — меньше напряжение. Внизу по раме шкала с делениями... "Ну что, Сэм, не вспомнил, где бабки твои лежат?" — спрашивает шеф. Сэм позеленел от страха, но как же бабки, которые он столько лет копил, отдавать. "Нет у меня денег! — кричит. — Нет!" — "Давай, Витя! — кивнул шеф тому, который с электроложкой, — погладь его по спине, может, вспомнит!" Названный Витей ложку Сэму между лопаток приложил и так проводит ею вниз...

— Какой пиздец! — обычно неругающийся Генка восхищенным этим восклицанием выдал свое отношение к параллельному миру, к людям, с которыми они все ежедневно сталкиваются в Автомате. Собственно, никто из декадентов и не сомневался, что фарцовщики Харькова не слабые люди, но такая история...

— Мучали они его до тех пор, пока он сознание не потерял. И потом они его мучали четыре дня! И эта маленькая гнида своих денег не выдала! Как Павел Корчагин или Олег Кошевой, уперся Сэм и решил, что сдохнет на электрическом стуле, под электрической ложкой, сгорит, но денег не отдаст. Много раз, он мне говорил, собирался он расколотся, но все откладывал, думал — потерплю еще немного... В конце концов он научился сознание терять, как йог... Через четыре дня они, опять завязав Сэму глаза, выбросили его из машины в районс Тракторного завода... В два часа ночи...

— Вот это Сэм! — Мотрич, страдавший без внимания, решил присоединиться к триумфальному завершению аркаш-киной истории. — Маленький, дохлый, как два дня до смерти осталось человеку, а вот тебе, Олега Кошевого сыграл. Не выдал немцам партизан...

— Что же это за команда была? Сэм так и не узнал? — спрашивает Иванов из-под умывальника.

— Сэм считает, что или Зорик или Блу-марин тех ребят на него навели. Он думает, что это были залетные, из Москвы скорее всего гангстеры. Приехали на операцию.

— Но Блу-марин ведь приятель Сэма. Они вместе работают, — Иванов вытаращил глаза.

— Бизнес есть бизнес. Сэм слишком большой сделался, вот кто-то и захотел раздеть конкурента, чтоб не встал... — Филатов вдруг стеснительно покашливает и обрывает поток информации, может быть вспомнив, что ему, физику и поэту, вроде бы не по чину знать так много подробностей о харьковском подпольном мире жуликов и фарцовщиков.

— Да... нравы Дикого Запада. Непонятно только, почему они его не пришили, а на Тракторном вышвырнули. — Мотричу все понятно, но он опять пытается переключить внимание на себя, филатовское долгое председательство его явно раздражает.

— Им его бабки нужны были. Зачем им в мокрое дело вляпываться, — объясняет Белый Боб.

— Непрофессионалы, — решает Генка. — Профессионалы бы вытащили из него признание. Сэм не сверхчеловек. Не умеют пытаться.

— Какой же у Сэма капитал должен быть? — Викторущка чешет нос.

— До хуя у Сэма бабок. Он уже лет десять в фарцовке. До хуя. Трудно нам, простым смертным, и вообразить. Может быть, больше миллиона... — Белый Боб, бедный мутант-татарин, произнося слово "миллион" даже причмокивает.

— В рублях? — спрашивает Викторущка.

— Какой в рублях, в долларах...

Все молчат. Как в немой сцене из "Ревизора", — думает Эд Лимонов.

24

Через полчаса все они, оставив храпящего Мотрича на его раскладушке, перемещаются опять на вольный воздух в парк Шевченко, в аллею, параллельную Автомату, чтобы была видна дверь и можно было заметить входящих и выходящих приятелей. По единодушному мнению "богема" (так называет их только Анна Моисеевна), Мотрич стареет. "Старик Мотрич", как цинично величает его за глаза Белый Боб, уже не может выдерживать напряженного безделья божественной жизни, заполненной многократными поглощениями портвейна, кофе, спир-

та, спорами и изнурительными хождениями по круговому маршруту — парк Шевченко, Автомат, Зеркальная Струя, площадь Тевелева с вариациями. "Пора стариканчику Мотричу взяться за ум, жениться и еще раз завести ребеночка", — издевается над тенью поэта Белый Боб. Анна считает Белого Боба подлым, Эд считает его реалистом. Между Эдом и Белым Бобом всего несколько лет разницы, но для Эда Белый Боб племя младое, незнакомое, и интригующе-циничное. Эд привык к тому, что окружающие его люди старше его. Мотричу — 34, Анне, 30. Эд сидит рядом с юным циником и слушает, не без удовольствия, как тот издевается над храпящим в своем подzemелье папой-Мотричем. Над бывшим кумиром. Над деревянным человеком.

— Старик у пора на покой, в кресло-качалку. Валька из "Поэзии" мне по секрету рассказала недавно, что старик пытался на нее залезть... Смеха ради она ему позволила. Ну, залез... и слез... — Боб хохочет. — Мерзавчик, оказывается, не работает у старика. — Хотя Боб и необыкновенно наглый юноша, все же он произносит последнюю фразу вполголоса, чтобы соседи по скамейке, Ленка Иванов и бывший студент медицинского института, красивый Сережа, его не услышали. Мотрич, узнав о гадостях, которые говорит о нем Белый Боб, не постесняется дать Белому Бобу в морду. Кто кого победит, если будет драка, еще неизвестно.

— Эй, Людка, иди сюда! — кричит Боб, увидав девушку с неестественно яркой желтой шевелюрой. Девушка пьет, пачкая губной помадой стакан, газированную воду у палатки с парусиновой крышей. Почти везде уже ручной труд продавщиц газированной воды автоматизирован, пожарного цвета пылающие ящики заменили палатки, но здесь, у входа в парк Шевченко, еще сохранилась ручная торговля водой. Девушка, названная Людкой, не поворачивает даже головы на окрик Боба, посему он вскакивает и с криком "Вот блядь упрямая!" подбегает к желтошевелюристкой и хватает ее за руку. "Пойдем, я тебя познакомлю с чуваками!"

"Отвали!" — злобно кричит девица и бьет Боба по плечу сумочкой из белого кожзаменителя. Острокаблучные туфли и платье у нее тоже белые. Ногти и помада на губах фиолетовые.

Не слушая визгов девицы, Боб ухватил ее за талию и волочет к скамейке вместе со стаканом в руке. Подтащив, он толкает ее на колени к Эду. "Хочешь товар, Эд! Если нравится, можешь выебать. Соседка".

Все девушки, которых когда-либо Боб представлял Эду, — его соседки. Такое впечатление, что Белый Боб живет в огромном доме, населенном только девушками в возрасте от 20 до 25 лет. Правда, Валька из магазина "Поэзия" действительно соседка Белого Боба.

Соседка Люда, коснувшись коленей Эда горячим задом, поэт успевает почувствовать, что августовский зад девушки необычно горяч и жжет его даже сквозь какао-брюки с подкладкой, ее белую ткань плюс, очевидно, ее трусики, вскакивает. "Гадкий тип!" — кричит она в лицо Бобу и убегает.

— Она, наверное, на свидание вырядилась, а ты ее мнешь... — замечает гуманный Ленка Иванов.

— Что же вы, Эдуард Вениаминович, не удержали девушку в объятиях? — Генка встает. — Я откланиваюсь. Должна придти моя экс-супруга и привести отпрыска. Если хочешь, Эд, приходи попозже к Цветкову, я у них во дворе с сыном буду в обязательный футбол играть. Если хочешь, мы что-нибудь сообразим... — Генка уходит стройный, красивый, уверенной походкой. Иностранец, можно подумать, совсем не харьковский человек. — Даже очень хорошо одетый фарцовщик, — думает Эд, — всегда вульгарен. "Богема", как ее ни одень, все равно старомодно выглядит, кто под Блока подламывается, кто под футуристов. Достоевских типов множество, — вот, например, экс-медицинский студент Сережа, ему бы Раскольникову играть. И только Генка без скидок имеет современную внешность. Генку в любой западный фильм вставь, и он там будет выглядеть своим. Будет себе спокойненько улыбаться рядом с Жаном Марэ и Аленом Делоном.

Конец аллеи оживляется быстродвижущимся темным пятном. Эд видит, что это спешит оттуда от памятника Тарасу человек, но по близорукости не видит подробностей. "Кто это бежит, Боб?" — шурясь, обращается он за помощью к поводырю, который выхваляется стодвадцатипроцентным калибром своих фиолетовых.

— Изя бежит Шлафферман. Охувший какой-то. На себя не похожий... Очки нужно носить, Эд.

Уже и Эд различает теперь необычно возбужденного старшего сиониста в клетчатой рубашке, расстегнутой на крепкой груди, массивные руки, покрытые рыжей растительностью, обнажены, самосшитые Эдом джинсы из хаки-парусины обтягивают крепкие короткие ноги. С недавних пор Изя начал усиленно заниматься поднятием тяжестей и, широкий и крепкий по природе, еще расширился и укрепился. К битвам готовится Изя.

— Ребята, — говорит Изя, добежав до них, взглатывает воздух и широко разводит руками, как будто собирается плыть брассом. — Аркадий Беседин умер. Покончил с собой. — Изя снимает толстые очки, одно стекло которых пересекает трещина. Оголившиеся глаза с белыми ресницами моргают быстро-быстро.

25

Существуют события, которыми вдруг заканчивается одна эпоха и начинается совершенно другая. Смерть переводчика с французского и мало кому известного даже в Харькове поэта Аркадия Беседина дала понять "богеме", что все, баста, капут, их времечко кончилось. Теперь "прошу пана до веревки", как говорят поляки. Погуляли и будет.

Стоит Изя без очков, жаркий ветер шумит в каштанах, нажимая на дно стакана, моет его на брызжущем снизу фонтанчике продащица газированной воды, по аллее, гордо стуча каблуками, проходит мимо них с красивым темноволосым парнем дождавшаяся своего счастья девушка Люда, а эпоха уже другая. Следуя классификации выдающегося реакционно-го философа Константина Леонтьева, несколько мгновений назад кончился для них период цветущей сложности и сидят они, бедные, уже в периоде вторичного упрощения, или упадка. Спит в своем полуподвале под звук падающих в ведро капель упадочный Мотрич. Упадочный Белый Боб (упадочный в двадцать лет!) касается локтем ребра своего друга Эда. Гниют не-

видимой гнилью изнутри Ленька Иванов, Викторушка и мсье Бигуди. Вторично упрощенные, гнилые, готовы они распасться как компания и погибнуть. Около трех лет прожил среди этих людей наш юноша, среди них и с их помощью стал он поэтом Эдом Лимоновым. Теперь сложно, с большим трудом созданному временем и природой сообществу нескольких сотен бездельников, трепачей, острословов, алкоголиков, плохих, но искренних поэтов или художников предстоит рассыпаться и умереть. И сигнал к общественной смерти группы дал своей смертью переводчик с французского, человек с квадратным лицом боксера. Уничтоживший перед смертью несколько длинных поэм, которые привелось прочесть только Изе, Мелехову и Мотричу. Что было там, в его поэмах? Гениальные строки громоздились на еще более гениальные строки, как льды реки Харьков в апреле, или беспомощность плескалась рядом с ordinарным безумием? По Изе, вздыхающему рядом, выходило, что безвременно и добровольно ушел гений.

— Только соберутся в компанию люди, с которыми ты готов прожить счастливо целую жизнь, а уж судьба играет отбой и нужно разбегаться, — произносит вдруг Эд неожиданно для самого себя.

— Куда разбегаться? — спрашивает Виктор, снимает шляпу и ладонью ворошит свои низко скошенные, как поле, волосы. По течению и против течения волос. Викторушка не понял реплики нашего героя.

Может быть, никто, кроме Эда, не расслышал за объявлением о смерти переводчика с французского могучий трубный звук — то судьба объявляла конец спектакля. Ханжи, провинциальные ребята лишь сделали вид, что их ужаснула чужая смерть, и уже соревнуясь, вспоминают покойного, разумеется исполняя его устный портрет розовыми и снежно-белыми красками и избегая черной.

— Он ведь тебя первым похвалил, да, Эд? — шепчет грустный Иза. — Когда же это было?

— В мае шестьдесят пятого. Выставка левого искусства в третьем дворе на Сумской. Желтые бумажки-приглашения отпечатал сам Мотрич на старой верной машинке "Москва". В слове "искусство" Мотрич еще сделал две ошибки...

Где-то после кафе "Пингвин" и еще до улицы, пересекающей Сумскую у границы сквера Зеркальной струи, нарядно одетые (Эд в болотного цвета свитере до колен, Анна в платье цвета опавших листьев и плаще болонья), они свернули во двор. Пересекши его, замечательно освежаемый сушащимся белем обитателей, они прошли во второй двор, более пустынный. Совсем темный и узкий туннель вел в третий двор.

В месте, более подходящем для прогулки заключенных, чем для выставки, действо уже было в полном разгаре. Маленькая Ирочка Савинова стояла у серии портретов жутковатых монстров, прислоненных к стене. Тогда еще буйнобородый Вагрич Бахчанян выставил свои эмали — разнообразно подтекшие пятна тяжелой краски — и "коллажи". Именно в тот день бывший сталевар впервые услышал это слово. Два друга — Эд называл их уже тогда "Басовы" — лосиный юноша Миша (рожденный Басов) и Юра Кучуков (приемный Басов) — представляли на выставке направление, называемое в Харькове сюрреализмом. На самом деле и Басов, и Кучуков производили скорее пост-символистические полотна и рисунки. Штуковские змеи обвивали на них деревья Беклина, недаром "голой девочке бес одевает чулки" была любимая строчка лосинога Миши. Тоненький "беспредметник" Толик Шулик — девятнадцатилетнее влюбленное в себя существо с клоком седых волос над лбом — явился с двумя работами, приблизительно могущими быть отнесенными к абстракционизму.

Боялись, что кагебешники (извини, читатель, за то, что они до сих пор не появились на страницах книги. Скоро я выпущу их на арену, обещаю!) пронюхают и разгонят выставку. Потому приглашения прислали только самым проверенным. Отчасти потому картины стояли на каменно-глинистой почве двора, а не висели на стенах, — скорее будет возможно схватить их подмышку и ретироваться. (Второй причиной была трудоемкость вколачивания гвоздей в кирпичи). На Сумской, у входа

в первый двор, Мотрич поставил на ветру и солнце несколько "левых" хулиганов, которые подозрительными глазами оглядывали прибывающих на выставку интеллигентов, пытаясь выявить кагебешников.

Харьковская интеллигенция дружно явилась на редкое зрелище. Наклонившись и даже присев на корточки, они всматривались в произведения. Щелкали затворы многочисленных фотоаппаратов, и даже стрекотал киноаппарат. Дымились с дюжину трубок, несколько спин обтягивали замшевые куртки — модная в те годы униформа представителей либеральных профессий, зеркальцами ловили солнце несколько пар интеллигентских очков, разбрызгивая солнечных зайчиков по двору... Некто раздраженно кричал: "Как вы можете спрашивать у художника, что он хотел сказать своей картиной! Как вам не стыдно!" Головы обитателей крепости-тюрьмы, выставленные из окон, висели над двором. С одного балкона непрерывно и монотонно лаяла карликовая рыжая собачонка. Железные части балконов были желты от ржавчины, дряхлый кирпич имел цвет мокрого гнилого мяса. Такой цвет приобретает мясо, когда оно пролежит ночь в красном вине и уксусе, замаринованное на шашлык. До выхода из дому Эд с Анной приложились к бутылке портвейна, и мир вокруг нашего героя казался ему праздничной первомайской демонстрацией.

Поэты читали свои стихи. Они всходили по очереди на глиняный пригорок рядом с запущенным, со старыми гнилыми деревянными дверьми, общественным туалетом. Буквы "М" и "Ж", выписанные мелом, указывали на размещение полов. Столь близкое соседство атрибута неореализма, впрочем, не смущало авангардистов нисколько.

Наш герой прочел два стихотворения, которые теперь кажутся ему неумелыми, смешными и не им написанными. Однако та публика была публикой благодарной, довольной уже самим фактом выставки левого искусства. Поэтам аплодировали искренне, и в их лице аплодировали всему левому искусству на земле, в ущерб правому искусству. Именно тогда Изя, уже знакомый Эду, подвел к нему будущего самоубийцу в кожаном пальто. Май 1965 года выдался холодным, и будущий самоубиец, чтобы не замерзнуть, надел на себя кожу. Массив-

ные челюсти повернулись в улыбке, и маленькие очки на боксерском лице подпрыгнули. "... приятно... Интересные... в развитии... вы... чли. Ваши... мне интереснее... ихов "гения". Далеко пойдете". Тип в кожаном пальто пожал Эду руку, и он не смеялся. Вот, собственно, и вся короткая церемония появления будущего самоубийцы в жизни Эда Лимонова. Опять в кадре появились наклоненные спины и задницы харьковской интеллигенции...

— Ну, что вы стоите, как бараны?! — вдруг зло обратился к публике некто по имени Слава Гурин. — Общайтесь, дискутируйте! Есть у вас мнение по поводу прочитанных стихов? Высказывайтесь!

Психопаты во все времена имели претензии к толпе. Им всегда казалось, что толпа недостаточно активна. Обвинять доброжелательных харьковских книголюбов и поклонников визуального искусства, возбуждающихся даже от самого только слова "искусство", в безразличии, несправедливо. Они просто стеснялись, лысые, очкастые, семейные тихие люди, тратящие порой треть бюджета семьи на книги и монографии, стеснялись высказываться. А искусство они ой как еще любили, дурак Слава Гурин. Впрочем, что взять с Гурина. Шиза, он и есть шиза.

Разумеется, "шиза" — сокращенное от шизофреник — не является научным определением. Справедливее было бы определить эту обширную подгруппу харьковской богемы как отряд "интересных людей". "Шизы" не художники и не поэты, хотя могут и сочинять стихи, и малевать картинки время от времени. Основной особенностью шиз является странность и часто гротескная уродливость судьбы и поведения. Анна Моисеевна, сама себя называвшая "шизой" и гордившаяся этим званием, — ярчайший экземпляр подгруппы. Но к шизам же харьковское общественное мнение относило и сверхздорового Борьку Чурилова. Потому что йог, эрудит, книжник, коллекционер Борька катастрофически не похож на нормального рабочего, да еще сталевара. Такие, как Борька, встречаются один на миллион среди козьего племени.

Игорь Иосифович Ковальчук — книгоноша, бывший контролер железной дороги ("таможенник Руссо имел еще худшую профессию", — оправдывается Игорь Иосифович) — тоже

шиза. Какой нормальный мужик в пятьдесят с лишним лет будет общаться с мальчишками по двадцать с небольшим и целые дни проводить на улицах и в Автомате? У Игоря Иосифовича кроме наглости и полного отсутствия комплексов по отношению к своим молодым товарищам есть еще талант находить повсюду и приводить в бегему других шиз. Так, Игорь Иосифович вдруг стал появляться в харьковских салонах (из них комната Анны на Тевелева 19 — самый комфортабельный) и Автомате с молоденькой девицей, удивительно напоминающей Марину Цветаеву. Круглое, несколько расплывчатое лицо, скобка каштановых, подолгу не мытых волос, большая сума на боку, множество платков и темных тряпок окутывало неясную фигуру крупной девушки. Маша Култаева писала стихи. И как можно было не писать стихов в 1965 году, зная, что ты как две капли воды похожа на юную Марину? Маша смеялась глубоким грудным смехом, была остроумна, начитанна, утверждала, что она тоже, как и Марина, профессорская дочка, и охотно напивалась, переходя с Игорь Иосифовичем из одного винного подвального в другой. Порой к ним присоединялся Мотрич, и тогда они слонялись по Харькову втроем. Игорь Иосифович очень гордился своей дружбой с двадцатилетней Машей и был, вне всякого сомнения, в нее влюблен, однако его идиллии не суждено было продлиться долго. Уже в 1966 году Игорь Иосифович на свою голову познакомил Машу-Марину с художником Володи́й Григоровым. Гордая Маша-Марина почему-то влюбилась в белесого акварелиста. Может быть, она охотнее влюбилась бы в Мотрича (в Игоря Иосифовича, облезлого и полинялого, влюбиться было трудно), но Мотрич в те времена публично декларировал, что он "не производитель, но поэт", и предпочитал иметь с пьющими девочками машинного типа дружеские отношения. Белесый Григоров, очевидно менее сложно устроенный, чем прежние машины-спутники (уже женатый ранее несколько раз и имевший по ребенку от каждой жены), соблазнил Машу, такую же щекастую, как и Марина, а безутешный Игорь Иосифович написал горькие шизофренические строки, их с удовольствием долго еще повторяли все декаденты:

Мы искали весы

А талантишко скис

Гой ты Машка еси
А по Фрейду Машки́с

Затем, как во всех бедных странах с недостаточно развитой противозачаточной промышленностью, Машки́с забеременела и родила Григорову очередного, кажется четвертого, ребенка. Далее судьба Машки́с ответвляется от судьбы Марины. Возможно предположить, что Игорь Иосифович в своем психоаналитическом стихотворении-частушке под весами зашифровал мужчину или же мужской половой орган, который искала бледнокожая и щекастая, с каштановыми глазами и волосами, девушка? А когда нашла, то перестала писать стихи и стала обыкновенной коровой-матерью? Монотонны сценарии твои, Господи, как в Голливуде. Однажды придумав сценарий, ты лишь переписываешь его, меняя имена.

26

А "шиз" Слава Гурин был открыто влюблен в Анну. На Новый 1965 год он принес в магазин "Поэзия" выдутого им самим (!) стеклянного оленя и неловко сунул его Анне Моисеевне. "С Новым Годом!" Анна Моисеевна была в полном восторге от глупого подарка и в особенности от того, что Слава сам выдул оленя, она любит нелепости. В другой раз серый, как будто выдутый из куска асфальта, Гурин подарил Анне букет роз. Эд тогда уже жил у Анны, он явился вечером пьяный, зарылся носом в розы и хохотал.

— Слава — джентльмен, не то, что ты — молодой негодяй! — сказала Анна, кокетливо переступив на стальных каблуках-шпильках. Из-за ее веса починка каблучков туфель была постоянной заботой Анны и немаловажной статьей расходов. — Вот возьму и буду встречаться со Славой Гуриным!

Эд не поверил анькиной угрозе. К серому Гурину, даже лицо которого никак не запоминалось, он Анну не ревновал. Вот беспредметник Шулик, глупенькое, но прекраснодушное существо — тот косвенным образом послужил некоторое время объектом, к которому Эд ревновал свою толстушку. Анна, очень гордящаяся успехами у творческой молодежи города, ус-

пела соблазнить беспредметника еще до появления экс-сталева-ра. Развратная сожительница сама рассказывала Эду о своих похождениях того периода, когда она еще "свободной девушкой была". Однажды...

Бывший сталевар, только что совершивший акт любви с необычной подругой, лежал в темноте на спине, глядя как в узком окне пламенеют "Храните деньги в сберегательной кас-се!", и сердце его часто билось от стеснительного шепота подруги. Случилось так (случившееся, скорее всего, было под-строено самой Анной, но она этого не прошептала нашему ге-рою), что страшная буря, ураган, торнадо разразился над Харь-ковым, и отрезанная стихийным бедствием от родного Тевеле-ва 19 Анна Моисеевна оказалась в одной постели с двумя юн-цами — с беспредметником Шуликом и другим юным человече-ком — Левушкой. Оба юнца возлежали по бокам развратной еврейской женщины и с нею целовались. Позже, когда цело-ваться уже не было смысла, так много они целовались до это-го, наступило вдруг безвременье, и наверное с четверть часа все трое лежали они в темноте молча и не двигаясь. Наконец, Левушка (шустрый какой!), пошарив рукою по Анне, нашел то, что искал, и медленно, но целенаправленно и настойчиво влез на Анну Моисеевну и поместил в нее свой семнадцатилет-ний член. Толик-беспредметник сделал тотчас вид, что спит, и дыхание его сделалось намеренно глубоким. Но по мере совер-шения и усиления полового акта между его другом Левушкой и женщиной, в которую он был влюблен, беспредметник не вы-нес притворства и разрыдался. Порыдав, он, однако, влез на Анну Моисеевну тотчас после того, как Левушка удалился с тела развратницы. — Я была первой женщиной в жизни Шули-ка, — горделиво из темноты сказала Анна.

Нам с тобой, читатель, все только что описанное кажется милым, провинциальным домашним и достойным легкой улыбки. Ищущая приключений женщина двадцати шести лет в постели с двумя мальчишками, семнадцати и восемнадцати лет, тот, которому восемнадцать, — девственник. Но бывшему сталевару, тогда еще даже не Лимонову, ночной шепот его подруги, повествовавший о случившемся с ней, был страшен, по-служил предметом переживаний и размышлений, он несколько

раз даже напился по этому поводу, а напившись, назвал Анну Моисеевну блядью и проституткой.

— Ну какая же я проститутка, Эд! — взмолилась Анна. — Все это было до тебя! — Ему пришлось признать, что "все это" — и разведенные супруги Кулигины, и их компания "блядунов" (как их зло называл первое время экс-сталевар), и беспредметник, и другие похождения Анны произошли до него, да. Однако ночная сцена, описанная Анной, долго еще будоражила и оживляла их совместные сексуальные акты, хотя Эд никогда не сказал об этом еврейской женщине.

С беспредметником же он даже подружился на некоторое время. У них нашлась общая страсть и помимо Анны Моисеевны — оба обожали наряжаться. Хотя беспредметник снисходительно утверждал, что в портновском искусстве Эду далеко до известного всем харьковским пижонам портного Бобова, однако брюки шил у Эда, это обходилось дешевле. Иногда взамен денег Эд брал с беспредметника "натурой" — то есть Толик приносил ему точно такой же кусок ткани на брюки, какой покупал себе, вкусу беспредметника Эд доверял. После нескольких обменов труда на материал они стали разгуливать по городу двумя близнецами, подметая Харьков черными клешами.

Беспредметник относился к категории людей (довольно многочисленной, кстати сказать, среди художников), каковые пришли в профессию соблазненные ее внешними романтическими атрибутами. У таких художников, как правило, всегда прекрасные мольберты и лучшего дерева, обширные наборы кистей, и даже бархатные береты возможно увидеть на головах этих романтиков. Их ателье живописны и напоминают монмартрские ателье, может быть... отсутствует лишь конечный продукт творческой активности, а именно — шедевры не стоят вдоль стен в их ателье. Вдоль стен обычно помещаются прекрасно загрунтованные... но пустые холсты.

У девятнадцатилетнего беспредметника не было мастерской, но старший брат, ушедший в армию ("Братец у меня — козел", — невинно посмеиваясь, говорил беспредметник), и мама, трудящаяся большую часть дня вне дома, предоставили ему в пользование две небольшие комнатки, в большей из которых, приплясывая с кистью перед мольбертом под музыку

Битлз, беспредметник гляделся одновременно в (по всей вероятности, специально для этой цели водруженное на стену) большое зеркало.

— А я красивее тебя, Эд! — с удовольствием заметил он однажды, встав рядом с Эдом и отражаясь в своем зеркале. Анна сидела в кресле-кровати, магнитофон беспредметника вздрагивал, распыляя из себя польский джаз:

Закохани в перший раз
Закохани в едэн глаз
Романтычни, романтычни
Закоханя...

— Анна, правда я симпатичнее Эда?

Анна и Эд, не выдержав, расхохотались.

— Нет, серьезно... — продолжал беспредметник. — Если бы не нос, ты, Эд, был бы красивым. Тебе, Эд, нужно сделать пластическую операцию... — Шулик вдруг подпрыгнул и сделал несколько движений обожаемого им в тот сезон шейка. — Шейк! — вскричал он. — Хочешь, Эд, я нарисую твой портрет?

Наивный, почти глупый Толик был, в сущности, добрым Идиотом, таким девятнадцатилетним князем Мышкиным. — Возьми у меня денег, Эд? — предлагал он часто. — Когда-нибудь отдашь, если сможешь. Мне деньги ни к чему... — К алкоголю беспредметник относился безразлично, предпочитая ему мороженое...

27

Уже было сказано, что до появления Эда Савенко в среде "богемы" Анна Моисеевна, веселая и беззаботная сексуально раскрепощенная еврейка, спала себе с кем хотела. А хотела она, по-видимому, едва ли не с каждым эксцентричным творческим юношей Харькова. Может быть, Анна Моисеевна пылко желала выяснить сущность каждого. А как женщина может разгадать сущность мужчины? Единственно по тому, как мужчина ведет себя в постели. Винить Анну Моисеевну в слишком частых выходах на охоту за секретами харьковских юнцов глупо. Однако, экс-сталевару славное прошлое его подруги подчас до-

ставляло несколько неприятных дней или минут. (Сторонись женщин с прошлым, читатель, если хочешь спокойной жизни!)

Однажды в сильнейший зимний дождь Эд столкнулся у бывшего здания дворянского собрания с приемным Басовым — с Юрой Кучуковым. Молодой разночинец, опустив взор в тротуар, а-ля вангоговский треух окружал желтую физиономию, бесстрашно окунал в стихию снега и воды ремесленные ботинки. Один бесформенный и разбухший ботинок был... подвязан бечевкой. "Почему он не купит себе на толкучке такие же, но новые ремесленные ботинки?" — подумал Эд со злостью. Да, Кучуков бедный, это ясно, но кто богатый, и ботинки можно купить за рубль. Нет, желтолицый будет хромать в этих "говнодавах", чтобы иметь возможность свысока смотреть на обладателей крепкой обуви. — Юра! — окликнул Эд разночинца, когда профиль остяка уже превратился в спину.

Басовы, и настоящий и приемный, уже тогда ускользали куда-то в астрал, посему, смахнув с носа и подбородка несколько капель, Кучуков невидяще, глазками-булавочками поглядел на Эда, на его грузинскую кепку и ратиновое благопристойное пальто. — А, Эд... Здравствуй, Эд, хуй тебе на обед! — личико желтолицего с издевкой, углом висело над таким же нарочито убогим, как и ботинки, шарфом.

Эд подумал, что правильно сделал Ермак Тимофеевич, побив юркиного предка и разрушив их желтолицее сибирское ханство. На хулиганскую скороговорку обижаться, может быть, и не следует, однако такие шуточки были уместны на Салтовском поселке, здесь, на Тевелева, в новой жизни Эда Савенко, он их почти не слышит. — Грубо, Юра! — сказал он и хотел добавить: — можно и по роже схлопотать за такие шуточки, — но не добавил.

— Не обижайтесь, сэр, я любя, — остяк всей ладонью вытер мокрое лицо. Желтолицый и рыжеватый, он и вправду смахивал сейчас на последнего представителя вымирающего племени, но поверить в то, что Кучуков происходит по прямой линии от знаменитого властителя сибирского ханства хана Кучума Эд не хочет. Он подозревает, что для того, чтобы сделать свою личность интереснее, Юрка подтасовывает факты.

— Чтобы доказать мое к вам расположение, сэр, хотите, я

поделюсь с вами секретом нового способа совокупления... Как удержаться от преждевременного оргазма. Сможете ебать бабу хоть час, хоть два, как угодно долго. Хотите?

Очевидно не любя папу милиционера, Юрка немало времени провел в детстве на улицах. Позаимствованные им у настоящего Басова — Миши — словечки вроде "сэр" и "совокупление" мешаются в его языке с грубой основной массой слов, которые Эд, радостно набросившийся на новый язык, пытается забыть. — Валяйте, сэр! — он тоже становится насмешливым.

— Чтобы не кончать как можно дольше, Эд, не иди ссать... Продолжай ебаться. — Увидев разочарованно-недоверчивое выражение лица Эда под ратиновым черным блином, Кучуков улыбается, как резиновая игрушка, всей физиономией съехав на сторону. — Я серьезно. Раздувшийся мочевого пузырь давит на канал, по которому поступает сперма, и не дает ей выливаться... Я тут одну бабу как-то ебал... здоровую такую бабищу... — остяк, хихикнув, показал руками, какую здоровую, вылепив в воздухе, как показалось настороженному Эду, что-то вроде Анькиной фигуры. — Она десяток раз кончила, а я — ни одного! Она даже просить меня стала: "хватит, остановись, не могу больше!!" — мокрая рожа, желтолицый провокатором глядит на Эда.

Разумеется, невозможно определить, Анну он имел в виду или нет. Специалистка по лишению невинности творческой молодежи города уже призналась ему, что и наглый желтолицый пал жертвою ее чар. — Давно! — сказала Анна пренебрежительно. Уже отойдя от Кучукова на полсотни метров и перейдя Сумскую, Эд пожалел, что не дал ему в рожу. Наверное он-таки имел в виду Анну.

— Эд! — Эд оборачивается. Скорчившись на другой стороне улицы, желтолицый машет ему рукой. — Помни! Не ссать! — Порыв ветра вдруг треплет Юрку как дерево.

— И где он такие жалостные тряпочки-то достает? — подумал Эд с ненавистью.

Помимо понятной мужской ревности, ревность артистическая мучает нашего героя потому, что все в один голос утверждают вокруг, что Кучуков — гений. И нелегко раздающий подобные награды Милославский, и Мотрич — самовлюбленный и,

в сущности, недобрый к другим, и Басов, может быть ослепленный близостью своего друга. Миша поселил Кучукова у себя. Отец и мать Юрки якобы сожгли его холсты и пытаются посадить его в сумасшедший дом, посему он теперь приемный Басов. Басовы теперь — это Миша Басов, Кучуков и младшая сестра Миши — Наташа. В маленькой квартирке Басовых родители — интеллигентная мама, дочь профессора, интеллигентный и по-видимому чудовищно безвольный папа, и болезненная красавица Наташа — все ходят на цыпочках вокруг желтолицего гения. А гений ежедневно малюет на больших, крупнее человека размером, холстах таких же желтолицых, как он сам, мужчин и женщин. Обычно на болотно-зеленом, как свитер Эда, фоне.

Экс-сталевара называют гением куда реже. Женатый отяжелевший Мелехов отделился от богемы, и мясо-рыбо-трестовские люди окружают его теперь. Муж дочери самого Волкова не имеет права работать истопником, посему Анатолий Мелехов теперь инструктор обкома комсомола. Обком комсомола находится в том же небоскребе на площади Дзержинского, что и обком партии, но в другом крыле. Мелехов следит за Эдом и его успехами и из своей новой жизни, но времени у него меньше. "Богема" вынесла ему суровый приговор за измену, декаденты убеждены, что он "продался", и его лучший друг Мотрич подрался с ним по этому поводу. Мало кто понимает в Харькове, что именно пишет Эд. Отчасти и поэтому он хочет убежать в Москву. Не может быть, чтобы и в Москве эталоном стихотворчества считался старый романтизм мотричевского типа или филоловская вознесенистость. Непризнанный в Харькове "гений", Лимонов с неприязнью поглядывает на признанного в Харькове "гения" Кучукова. Однако здравый смысл парня с рабочей окраины и здоровое презрение, которое он питает к мнению большинства, хотя бы и состоящего из Милославского, Мотрича и Басова, подсказывают ему, что он, Эд, делает куда более интересные вещи в стихах, чем Кучуков на холсте. Желтолицые на болотистом фоне уже были в искусстве, если не в Советском Союзе, то в Европе были, а вот:

Память — безрукая статуя конная

Резво ты скачешь — но не обладатель ты рук

Громко кричишь в пустой коридор сегодня

Такая прекрасная мелькаешь в конце коридора...

хуй ты, Юрочка, это мелькание в конце коридора на своих желто-болотных холстах сумеешь выразить...

Презрительный и властительный Басов Миша, он же лось, не удовлетворился тем, что притащил в семью одного гения. Он постепенно втащил, заманил и приучил к дому и Мотрича. В свое единственное посещение квартиры Басовых Эд застал там спавшего, очевидно, доселе где-то в глубине и теперь зевающего, выходя, и причесывающегося хорвата. Академию устроил Басов у себя. Невидная, мягкой тенью бродила мама по окраинам академии, трудился целый день вне дома папа, зарабатывая деньги на содержание гениев, сцена же была заполнена гениями и болезненной девочкой музыкантшей Наташей. Наташа, все ожидали этого, тоже в свой черед будет (если выживет) гениальной, а пока она служила, пятнадцатилетняя, моделью, музой, вдохновительницей, весталкой, Беатриче и, как подозревал Эд, голой девочкой, которой бес надевает чулки. Нездоровая Наташа фигурировала теперь на всех картинах желтолицего и в поэмах хорвата. Презрительно усмехаясь своим презрительным мыслям, среди устроенного им храма Наташи и искусства похаживал высокий лось Басов. Паркет старой квартиры поскрипывал под ногами гениев, и только один Бог знает, чем они занимались там, когда не писали стихов и полотен. Утверждают, что Мотрич весь свой "басовский" период не пил, а Наташа каждый вечер играла "гениям" на фортепьяно. У Наташи была астма, в доме не курили, и весь 1966 год харьковская богема ожидала, что Наташа умрет. "Басовы" намекали на ожидающуюся смерть Наташки мрачно, но твердо. Очень редко, но в Автомате можно было увидеть стоящего у высокого стола Басова Мишу с чашкой кофе в руках. Спрошенный о здоровье Наташи Миша, в своей обычной манере, нехотя, снисходя до собеседника, скупно отчеканивая фразы, сообщал, что Наташа очень плоха, что у нее опять был приступ, что приступы становятся все тяжелее. При этом Миша глядел поверх головы собеседника, туда, где в высоком окне Автомата, фиолетовый и ненастный, клубился и завихрялся харьковский вечер. Басов из своей трагедии

как бы снисходил к ним, персонажам всего лишь бытовой пьесы.

Однажды, стоя таким образом вместе с Мотричем, кутавшимся в воротник барской шубы, очевидно хорвата знобило если не с похмелья, то может быть от прослушанной накануне наташиной музыки, Басов, в ответ на сообщение Анны и Эда о том, что они планируют переселиться в Москву, назвал их "суетливыми обывателями", "нищими духом", и скривился.

— Дурак ты, Миша! — сказала Анна юноше, которым она еще недавно восхищалась, утверждая, что в прошлом рождении Миша был Блоком или одним из друзей Блока, по меньшей мере Андреем Белым, — претенциозный дурак! — И Эд и Анна Моисеевна отошли от "Басовых", безмолвно смакующих кофе.

И вдруг... вдруг семью "Басовых" разорвало в куски. В один прекрасный день Мотрич был удален из семьи безжалостно и твердо, и почти немедленно обнаружилось, что Басов Миша исчез из Харькова! И вместе с ним исчезла бывшая жена Мотрича Галя и ребенок Мотрича! А Наташа, вместо того, чтобы умереть, она... забеременела! Кучуков остался жить с родителями Басова и с шестнадцатилетней Наташей, как с женой...

Эд Лимонов смеялся и очень радовался происшедшему. Он всегда потом будет так же радоваться даже и вовсе неприятным и негативным для его собственной жизни происшествиям и поступкам людей, если они оправдывают его теории, предчувствия или предсказания.

Говорили, что Басов и жена Мотрича удрали в далекий сибирский город и живут там счастливо вместе. В какой именно город, никто не знал. Позднее Басов один раз возвращался в Харьков инкогнито, встретился с Вагричем Бахчаняном и показал ему свои сюрреалистические рисунки тушью и пером, "техничные, талантливые и очень трудоемкие" — охарактеризовал рисунки Бах. Не показавшись никому, кроме Бахчаняна, Басов уехал опять в глушь. Никакой закономерности во вдруг возникшей цепи: Миша Басов — Галя Мотрич — Сибирь — нет, в то время как, например, в цепи Кучуков — Наташа Басова — семья Басовых — усматривается вполне логичная история. Каким образом юноша, слишком интеллигентный и утонченный даже для Харькова, может добровольно забраться в глушь и

жить там с теткой старше него, бывшей женой мастера калильного цеха завода "Серп и Молот"? Эд никогда не встретил Галю Мотрич, но видел ее фотографию. Обыкновенная, круглолицая, простая баба. Может, в Басове за его лосиным профилем скрывалась круглолицая и простая сущность, и ее Эд Лимонов не разглядел? Не сумел разглядеть, потому что не знал Басова достаточно? А каким, интересно, видел Эда Басов? Расклешенные черные брючки, из-под толстой вязки безворотничкового свитера — воротник белой рубахи. Или в пижонском какао-костюме... Или в жилете с четырьмя карманами — вдвоем с Беспредметником гуляет по Сумской... Басов видел ли нашего Эда как модного пижона-мальчишку, как бездельника, дружка Геночки Гончаренко, — "гуляку праздного"? Гулякой праздным видел?

Но никогда не знаешь, что из какого мальчика или юноши выйдет — как любит говаривать наш герой.

28

Если молодые люди, сидящие на скамье тотчас у входа в парк Шевченко, и не почувствовали на лицах дуновения ветра, вызванного резким движением крыльев мадам судьбы, то смертью они все же напуганы. Это первая смерть в их среде. И напуганы еще более тем обстоятельством, что массивный Аркадий Беседин был самым неподходящим самоубийцей, какого только возможно себе представить. Разве люди с квадратными лицами, с крепкими шеями и желваками мускулов на скулах кончают с собой, варварски раскромсав вены и сухожилия и плюс вывалившись в окно?

— Толь, Аркадий был все же странный человек, правда ведь? Тебе не кажется, что он был чокнутым? — обращается Эд к Мелехову, к изгою, которого по случаю смерти Беседина простили и остановили, увидев идущим с черным портфелем по Сумской в презируемый всеми обком комсомола.

— Проводи меня немного, Эд, поговорим? — предлагает Мелехов и встает. Пообещав компании вернуться, Эд шагает с Мелеховым по аллее, параллельной Сумской.

— Время летит, — говорит Мелехов, — вот уже астры высадили.

— Это не астры, Толь... Это хризантемы...

— Все равно из породы астр... Аркадий, Эд, был психически тяжело больным человеком. У него бывали ужаснейшие депрессивные состояния и... я не хотел говорить этого при Изе, но я переписал кое-какие места из одной поэмы Аркадия, хотел его проанализировать...

— И что, это интересно? — Эд даже выпрыгивает вперед, чтобы заглянуть в лицо Мелехову. Боясь самому себе признаться, Эд опасается, что сейчас Мелехов скажет: "Гениально!" — и тогда... Что тогда, с мертвецом не посоревнуешься. Получится, что Беседин писал самые интересные стихи в Харькове. Эд сам не понимает, чего он боится, но ему сразу становится легко, когда Мелехов, покачив головой, говорит:

— Аа! Бред, увы. Полное безумие. И главное, — он вдруг останавливается и просит: — слушай, не говори об этом, пожалуйста, Изе. Изя был его близким другом, и ему мое мнение будет неприятно... Понимаешь, Эд, безумие может быть выражено необыкновенно интересным образом. Вот, например, в некоторых "Песнях Мальдорора" у Лотреамона присутствует совершеннейшее безумие, но как интересно выражено. У Аркадия, увы, безумие хаоса, монотонное и тяжелое.

С полсотни метров они идут по парку молча. В некоторых местах старый асфальт провалился и пророс то маленьким деревцем, то лопухом или клоком бурьяна.

— Как античные тротуары... Помпей, а не Харьков... — комментирует Мелехов, и его круглое лицо проясняется вдруг. — А я, Эд, ухожу из инструкторов. Книжный магазин мне дают.

Эд думает, что Мелехов, прекрасно знающий книги и уступающий в искусстве продажи книг с лотка только Игорю Иосифовичу, будет на месте в книжном магазине. Инструктор обкома комсомола — это не профессия для Мелехова. Больших карьеристских наклонностей в сыне дворянчичи Эд за два с половиной года знакомства не заметил. — Ребята идиоты, — думает Эд. — Бойкотировали бедного Тольку. Это все остолоп Мотрич начал. "Продался, предал бегему..."

— И куда же тебя, Толь, в какой магазин?

— Никогда не догадаешься. — Мелехов останавливается, опускает портфель на асфальт, достает из кармана платок и вытирает покрасневшее лицо. — В "Военной книге" буду директором.

— Директором?

— Ну да. Филфак-то я свой дотянул. Имею право. Двадцать три человека штат, — гордо сообщает Мелехов. — Магазин сам по себе не ахти какой, и убыток приносит уже много лет. Я хочу все реорганизовать, их людей одного за другим уволить постепенно и набрать своих. Кормушка может получиться хорошая. Ленку Иванова обязательно возьму. Он и в книгах разбирается, и продавать их умеет. Мы с ним вместе для "Поэзии" книгоношили, когда она только открылась.

— Разворуют они тебе весь магазин. — (В нашем поэте проснулся вдруг недоверчивый и скептически по отношению к интеллигентам настроенный рабочий). — Богема доверять нельзя... Потом они все тихо деградируют. Погляди на своего бывшего друга Мотрича, Толь... Последний раз он у нас с Анной уснул и обоссался на нашей с Анной кровати. Все пьют, но зачем же в кровати...

— Ну, Ленка, положим, не Мотрич. Да и Володьку можно было бы спасти. Ему бы сейчас книгу стихов бы издать. Хоть маленькую. Он бы тотчас выправился. Не может человек бесконечно писать, не видя результатов своего труда. Даже малюсенькая книжка ему бы уверенность придала...

Эд сомневается, что Мотрич бросил бы пить, если бы у него вышла книга стихов. Пьянство и бродяжничество по харьковским улицам давно уже превратилось для Мотрича из развлечения в способ жизни. Он выходит к Автомату ранним утром, и так как знакомых у него великое множество, к полудню Мотрич уже пьян и дремлет на скамейке в парке Шевченко, время от времени все же продирая глаза, дабы взглянуть на другую сторону Сумской, на оба входа в Автомат, не бежит ли кто из знакомых.

Мелехов надевает пиджак, вынимает из портфеля уже завязанный галстук и вставляет шею в петлю. — Пойду, домой! — вздыхает он. — Если бы ты знал, Эд, среди какого дерьма я там нахожусь... — Поднимает с асфальта массивный

портфель и уходит, коротконогий и мясистый.

— Потолстел Мелехов, — думает, глядя ему в спину, Эд. — Вот до чего любовь к очкастой Анечке Волковой его довела. Пляшет под дудку Анечкиной матери и ее друзей. Несмотря на то, что сам Мясо-Рыбо-Трест Волков умер от рака в прошлом году, семья Волковых вовсе не покинула среды советской элиты. Остались его братья — обкомовцы, генералы, начальники, и даже московского масштаба родственники и друзья. Конечно, это они теперь устраивают Мелехова на должность директора магазина, убедившись, что у мужа Анечки нет карьеристских способностей и что его всегда будет тошнить от инструкторских, обкома комсомола, обязанностей. Разве нормальный выпускник вечернего филологического факультета может стать директором большого книжного магазина? Да никогда! Собрались, наверное, на семейный совет, и решили: раз глупый муж Анечки не хочет и не может сделать прекрасную карьеру в аппарате вначале комсомола, а потом и партии, дадим этому идиоту возможность возиться с его обожаемыми книгами. Что там у нас есть подходящее на книжном фронте, Иван Иванович? Иван Иванович открывает толстую тетрадь и листает ее, ища. Муж Анечки, зять Волкова не может и не имеет права быть меньше чем директором по чину, иначе раковый труп Волкова перевернется в гробу и вылезет сосать кровь на улицы ночного Харькова... Дадим ему "Военную книгу" — пусть копается в своих книгах.

Юноша садится на скамью и размышляет, созерцая трещину в асфальте, — рассыхается Харьков. Рассыхающийся, умирающий, может быть, город? Думал ли Эд, или даже сам Мелехов в ту далекую теперь зиму 1964/65 годов, когда, сидя на Конторской улице у Мелехова, ел борщ, сваренный дворничихой на настоящей печке (Мелехову нужно было бежать на дежурство истопником, он кормил приятеля, торопя его), думали ли они оба, что вот так обернется мелеховская судьба? И, читатель, если ты заглянешь в Эпилог, то и вовсе ужаснешься тому, что произошло с Мелеховым позднее во времени. В который раз цитируя нашего героя, скажем со вздохом, что никогда нельзя знать заранее, из какого мальчика, юноши что получится.

Или можно? Сам Эд в последнее время чувствует свою особенность, отличие от других людей, даже от богемы, очень резко. Каждый день он убеждается в своем превосходстве. Порой ему стыдно чувствовать превосходство, а временами очень радостно. Когда началось это? Когда он впервые почувствовал, что он особенный? Ему кажется, что так было всегда. Только вдруг на несколько месяцев или на год он забывал о своем отличии и, увлекшись, бегал с человеческим стадом вместе, играл в их игры...

Когда девятилетним мальчиком он с Салтовки, следуя неясным указаниям памяти, приехал на Холодную гору (на трех трамваях!) навестить свою любовь — девочку Наташку Картамышеву, он уже давно был особенный. Была зима, оттепель, у края тротуаров лежал очень грязный снег, и он все время нервно грыз колотившую по щеке черную веревочку — завязку от шапки с ушами. Офицерский дом, в котором до ссылки на Салтовку жили и они — мать Раиса Федоровна, отец Вениамин Иванович и сам путешественник, — был многоподъездным, старым и сырым. Наташки дома не оказалось — она была в школе. Родителей Картамышевых также не было. Оказалась в наличии только бабушка Картамышева, которая, усадив его за стол, покрытый клеенкой, стала угощать его домашней сладостью — сахаром, сваренным с орехами. Потом пришел офицер Картамышев в шинели со сбруей портупей и ремней и с револьвером на боку. Не снимая шинели, Картамышев позвонил в часть Вениамину Ивановичу и сообщил, что его сын непонятным образом оказался в его кухне. Пришла Наташка Картамышева из школы — они поздоровались. Никакого удивления по поводу его появления Наташка не высказала. Больше удивлялись родители Картамышевы и бабка Картамышева. Наташка сняла шапку, и ее белые волосы высыпались из-под шапки. Наташка была уже другой, чем когда они жили в одном доме. Только даже взглянув на Наташку, он понял, что прошлая Наташка умерла, потому с новой он не стал разговаривать, ограничившись приветствием, хотя все Картамышевы специально вышли из комнаты, оставив их вдвоем. Пришел в забрызганных

снегом сапогах отец, такой же запряженный в сбрую кожаных полосок, как и офицер Картамышев, и также с револьвером в кобуре, только от отцовского револьвера сильнее несло металлом и машинным маслом. — Очевидно, отец только что смазал свой револьвер, он любит это делать, — заметил отвлеченно путешественник. Они поехали на трех трамваях домой — на Салтовку. К концу путешествия домой веревочка на шапкиной ушине замерзла.

В этой истории множество неясных аспектов. Был ли этот типчик в круглой меховой шапке из цигейки и с завязками, продолжающими длинные уши, действительно влюблен в Наташку, или только тоска по прошлому, по раннему детству привела его на Холодную гору, где рядом со знаменитой Холодногорской тюрьмой на холме размещался офицерский дом? В любом случае, разочарованный, он больше не предпринимал попыток поисков утраченного времени. А в 1954 году удрал уже в поисках будущего в направлении Бразилии.

Но постоянные побеги, доказывают ли они исключительность нашего героя?

А в ту же зиму, когда радушный сын дворничихи снимал крышку с синей эмалированной кастрюли с борщом на Конторской улице (в комнате, подоткнув подол, ползала с тряпкой мать Мелехова, мыла пол), в ту же зиму состоялся один запомнившийся нашему герою спор. Спор состоялся у кольцевой трамвайной остановки, у "круга" на Салтовском поселке, Эд и Юрка Кописсаров расхаживали, чтобы согреться.

— Ебал я твой коллектив, Юрка... — сказал Эд, — вначале идет биологический индивидуум, а уж потом коллектив.

— Ни хуя подобного, Эд! — зло сказал Юрка. Проучившись год на физико-математическом факультете харьковского университета, отчисленный за неуспеваемость, он прыгал теперь слесарем-сборщиком вокруг моторов, плывущих мимо на конвейере механического цеха. Вместе с другими неудачниками, откуда-то выгнанными или куда-то недопущенными. Эд в августе уволился с того же завода "Серп и Молот" (как мы знаем, при соучастии Юркиного брата), и коротко проработав книгоношей, жил теперь без определенных занятий по принципу "Бог даст день — он же даст пищу". Посему Юрка испыты-

вал к Эду классовую ненависть пролетария к люмпен-пролетарию.

— Ни хуя подобного, Эд! И в первобытном обществе главным был коллектив и нужды коллектива. А уж потом следовали нужды индивидуумов. — Юрка застегнул последнюю пуговицу на своем щегольском, английского стиля, пальто. Пальто ему сшил тот самый модный харьковский портной, вызывавший позднее восхищение Толика Беспредметника, — Бобов. Он настаивал, чтобы его имя произносили с ударением на последнем слове — Бобов, как Бобок Достоевского. И Бобов учился на физико-математическом факультете, но его не выгнали. Кажется, его изгнали с факультета позже, через пару лет.

— Коллектив — козье племя, — сказал Эд. — Худшие — это коллектив. Слабейшие. Они объединяются, чтобы угнетать и не давать развернуться лучшим. Кнут Гамсун, Юрка, сказал в одной своей пьесе, что рабочих следует расстреливать из пулеметов.

Юрка даже задохнулся от ярости и расстегнул пуговицу под горлом. Его двухнедельные усы гневно задвигались под носом. — Фашист был твой Кнут Гамсун. Он приветствовал Гитлера!

— Писатель не может быть фашистом. Он писатель, и все тут. Кнут Гамсун очень хороший писатель. Ты "Голод" читал, Юрка? (В те времена Эд еще считал нужным выгораживать Гамсуна от обвинений в фашизме. Сейчас он равнодушно заметил бы: "Ну фашист и фашист! Это было его личным делом." Было, потому как он умер. Об Эзре Паунде и Селине Эд еще не слышал, романы же и пьесы Гамсуна успели перевести на русский до и сразу после революции.)

— Ты, конечно, считаешь себя лучшим, Эд? — Юрка сморщил свой наследственный нос-картошку. У всей семьи Кописсаровых были такие носы — у брата Мишки, сидящего в тюрьме, у папы Кописсарова — мастера на заводе (опять "Серп и Молот"), и у Юрки.

— Нормальный еврейский нос не должен быть картошкой, и нормальный еврей не должен работать на "Серпе и Молоте", — подумал Эд, но промолчал.

— Ты считаешь себя особенным, Эд, я знаю. Исключительным... Так вот, у тебя нет никаких оснований... — Юрка зло посмотрел на Эда. — Какие у тебя основания? Ты пишешь стихи? Но миллионы молодых людей твоего возраста пишут стихи! Миллионы! Я не верю в то, что ты особенный. Ты такой же, как и все! Слышишь! Такой же...

Услыхав этот окрик торжествующего плебейства, голос коллектива, голос всех упоенно подавляющих одного, Эд даже застеснялся за Юрку. — Эй, — сказал он, — кончай хуйню пороть! Ты чего сделался вдруг таким принципиальным?!

Но друг его смотрел на Эда исподлобья, угрюмый, из-под пыжиковой шапки, почти напоззшей ему на густые брови. — Ты такой же, как и все! — упрямо повторил Юрка.

Вот в это Эд и не верил. Он не смог бы доказать, что он не такой, как все, если бы его попросили это сделать, но он верил в то, что он особенный. Иногда верил слабее, но верил всегда.

— Твоя мать просила меня поговорить с тобой, — объяснил вдруг Юрка причину своего нежелания оставить тему. — Однако, — подумал Эд, — Юрка, кажется, охотно взялся прочесть старому другу лекцию.

— Ебал я твой коллектив, Юрка! — уже с вызовом сказал Эд. — И чего ты лезешь не в свои дела. Это моя жизнь, что хочу с ней, то и сделаю.

— Вот-вот. Райса Федоровна говорит, что ты всю жизнь, только что с трудом выбравшись из одной грязи, тотчас сваливаешься в другую.

— Я даже в тюрьме умудрился не побывать. Какие уж тут особые грязи! — искренне изумился Эд.

— Везет тебе, — с явным сожалением заметил Юрка. Кто-то, а он очень хорошо знал, как запросто Эд мог загудеть в кончившемся году в тюрьму вместе с его старшим братцем.

— Юр, — Эд решил быть миролюбивым, — объясни матери, что сейчас — другое дело. Что люди, с которыми я общаюсь, — Анна и ее друзья, наконец именно те, каких мне всегда хотелось встретить. Интеллигентные. Начитанные. Творческие люди. Сейчас мать может быть спокойна.

— Откуда ей знать, Эд... И я тоже, честно говоря, не уверен. Анна старше тебя на шесть лет. Потом она "шиза". — Ма-

ленький Юрка скорчил гримаску. — Вся эта публика не хочет работать. Потому они называют себя авангардистами и делают вид, что творят. Они не хотят идти на завод и вкалывать, как все, у станка или конвейера.

— На кой им вкалывать, когда они способны на большее?

— А я, по-твоему, не способен на большее?! — разгневанный Юрка рывком отодрал от горла шарф.

Эд пожал плечами. — Может быть, ты и способен. Пиши. Рисуй.

— Все не могут писать стихи или рисовать картины! — закричал он. — Неужели ты не понимаешь этого? Кто-то должен завинчивать гайки на тракторных моторах, как это делаю я!

— Не впадай в истерику. Не закручивай гайки. Кто тебя заставляет? Кто? Ты же поступил на физико-математический. Вот и учился бы.

— Я сам виноват, — голос маленького Юрки стал суровым. — Я обрадовался, что поступил на такой клевый факультет, и целый год после ни хуя не делал. Только пил, гулял, девочки... хуем груши околачивал, короче говоря. Вот и отчислили...

— Поступи опять.

— Чтобы стать преподавателем физики?

— Оооо! Я не знаю, Юра...

Они дошли до угла, и в лицо им ударил порыв ледяного зимнего ветра. Они повернули обратно. Было воскресенье, и все магазины вдоль трамвайной линии были закрыты. Прохожих было мало. Эд приехал на Салтовку впервые за много месяцев повидать родителей, а заодно и Юрку. Эд уже жил на Тевелева 19, но еще нелегально.

— Ты тоже не хочешь работать, Эд, — сказал Юрка.

— Я вижу, эта тема не дает тебе покоя, Юр. Что ты ко мне приебался со своим "работать", "работать"... Чего ради? Ты что, для меня работаешь? Мне деньги зарабатываешь?

— Ты и тебе подобные паразитируете на обществе!

— Я? Паразитирую? Да я из книгонош даже официально еще не уволился. Три недели только и не работаю.

— Быть книгоношей — не профессия для здорового молодого человека двадцати с небольшим лет. В книгоноши идут старики или инвалиды.

С ним невозможно было разговаривать. Откуда он набрался доморощенного вульгарного марксизма, Эду было непонятно. Еще недавно он был вполне нормальным передовым парнем...

30

В то время, как наш герой в известном всему городу какао-костюме сидит задумавшись в полусотне метров от гранитных ног великого Кобзаря и занимается своим любимейшим делом — психоанализирует самого себя, Анна Моисеевна тяжело цокает каблучками по Сумской улице вниз, идет домой к маме Циле. Большим розовым пятном, ярко видным всей Сумской. И не хочешь — заметишь.

— Где-то молодой негодяй сейчас? — думает Анна. — Гуляет, разумеется, но с кем? Может быть, он и Генка обедают в "Люксе"? Очень возможно. Едят шашлыки, бездельники. Генка любит шашлык по-карски, куском. А закусить Генка, конечно же, заказал ассорти, или нет (Анна Моисеевна закрыла глаза и попыталась "увидеть" стол и еду на столе. Обостренное внимание к пище — ее отличительная особенность. Она всегда расспрашивает знакомых, что они ели сегодня) — Генка и молодой негодяй едят исландскую сельдь (баночную) и пьют, сволочи, маленькими рюмочками ресторана "Люкс" холодную водку. Подумав о холодной водке на еще горячей послеобеденной Сумской, каблучки ее туфель увязают в асфальте, Анна Моисеевна даже вздрагивает и направляется к переходу, намереваясь пересечь улицу и заглянуть в ресторан "Люкс", а не сидят ли там Эд и Генка.

— Анноточка... что же ты, прелесть, от Алика бежишь?

Обернувшись, Анна видит человека, который в любом городе мира был бы классифицирован, как бродяга. Седые грязные волосы зачесаны назад, застыли, как на статуе. Грязные брюки мешком, сандалеты впились в черные от пыли ноги. На покатых плечах, однако, чистая, но серая от многочисленных стирок белая рубашка. В руке авоська, на дне которой какие-то провода, смешанные с газетами.

— Куда это ты, Алик, так вырядился? Здравствуй. — Анне приходится хотя бы поверхностно, но коснуться седой щетины Алика Басюка у самого ее уха. Крепкий запах подкисшего винного погреба, смешанный с запахом окончательно разложившихся пищевых отходов, окутывает Анну, и она старается не вдыхать воздух, пока Алик одной рукой возит по ее талии и верхней части зада, а щеками и губами три раза прикладывает к ее щекам. Алик Басюк был в некотором роде другом ее бывшего мужа, ничего не поделаешь, приходится исполнять неприятную церемонию целования с куском дерьма, — думает Анна. И стыдится своих мыслей. Басюк — добрый, сломленный жизнью алкоголик. Ему лет пятьдесят, но выглядит Алик на все шестьдесят пять. Из-за своего всегда длинного и несдержанного языка Басюк угодил при Иосифе Виссарионовиче Сталине в лагерь. Из лагеря Басюк вернулся в одно время с Чичибабиным, Солженицыным и еще тысячами или десятками тысяч неудачников, кто же их считал. Если Чичибабин сумел собрать достаточно силы воли, чтобы продолжить долагерную жизнь, писать стихи, то Алик Басюк, хотя и числится писателем и получает из Союза писателей деньги на поддержку существования, один Бог знает, что Алик написал. Да и умеет ли он писать. И если бы от него так не воняло!

— Я, Анюточка, к мамаше в госпиталь иду, — Басюк, кровь которого больше чем наполовину состоит из прокисшего алкоголя, не может стоять спокойно, ноги и руки его движутся, бродяга-писатель дергается.

— Что же ты не купил мамаше цветы, Алик? — Анна ловит себя на том, что разговаривает с Басюком как с ребенком.

— Да она уже старая, Анюта, — Алик улыбается, обнажая желтые проникотиненные зубищи.

— Глупости, Алик, говоришь. Женщины в любом возрасте любят, чтобы им дарили цветы. — Из авоськи Алика, сотрясающейся вместе с владельцем, вдруг со звоном вываливается на асфальт хромированная крышечка непонятного назначения. Басюк нагибается.

— Что это ты, металлолом по Харькову собираешь, Алик? — Анна улыбается, вдруг вспомнив частушку, которую распевала компания ее мужа: Бурич, Черненко, Брусиловский, на

мотив известной блатной песни:

Из харьковского ЛИТа
Бежали три пиита
Бежали три пиита босиком
Один был Айзенштатом
Другой — дегенератом
А третий, извините, Басюком...

Уже в те годы за Басюка приходилось извиняться.

— Это не металлолом, — обижается Басюк, — это электробритва.

— Ты что, всегда с собой электробритву носишь, Алик? — Анна с улыбкой глядит на многодневную щетину Басюка.

— Это я мамашу иду брить, Анюта. Мамаша старая, волосы быстро растут. Усы особенно. Так я ее каждые несколько дней брить хожу.

Анна Моисеевна, не дожидаясь традиционной басюковской фразы: "Займи рубль, Анюта?", сует Алику в руку рубль и убегает на зеленый свет. Кошмар! Анна не хочет думать о Басюке и его жуткой мамаше в госпитале, но помимо воли буйное воображение Анны Моисеевны рисует ей портрет зеленого цвета старухи с жесткими усами под носом. Пахнет от нее вдвое гаже, чем от Басюка. — Ой, мамочка! — визжит вслух Анна и быстро-быстро, наклоняясь к стене, тяжелой уткой бежит вниз по Сумской.

В "Люксе", ресторан декорирован во времена еще дореволюционные, тогда здесь гуляли харьковские купцы, составляющий приборы официант Володя сообщает, что нет, ее муж не появлялся. И Геннадия Сергеевича, сына директора ресторана "Кристалл", равно не было сегодня. — Утром я видел их идущими вверх по Сумской, — подняв глаза от сервируемого им стола, Володя хмуро глядит на Анну. — Но рано утром. Сладкая жизнь у вашего супруга, Анна Моисеевна. Они прекрасно выглядят. Загорелые. Всегда гуляют...

Володино "они" в применении к единственной особе молодого негодяя звучит иронически, и выходя из "Люкса", устремляясь на преодоление последнего куска асфальта, остающегося ей до двери в подъезд дома номер девятнадцать на площади Тевелева, Анна решает, что молодой негодяй приобрел

слишком много свободы. Она, Анна, без усталости трудится. То в "Поэзии", то в мебельном магазине, то в "Академкниге", а теперь вот в киоске, а молодой негодяй как грузинский или сицилийский, бразильский, да, именно бразильский мужчина гуляет в какао-костюме с золотой ниткой в парках и скверах города. "Сладкая жизнь" — точно сказано. Иначе жизнь молодого негодяя не назовешь. А бедная Анютка трудится! И бедная Циля Яковлевна готовит гефилте-фиш для этого хазэрюки! "Хорошо устроился, молодой негодяй! — гневно говорит себе Анна и решает высказать все молодому негодяю, когда он возвратится с походов. — Молодой негодяй эксплуатирует бедных еврейских женщин!" — негодует Анна в последний раз и, пройдя мимо холодильного техникума, куда уже начали собираться вечерние ученики, пересекает Бурсацкий спуск и вступает в подъезд.

Сыро, затхло, холодным камнем, мочой кошачьей и человечьей воняет внутренность старого дома. Лестница, как будто сошедшая с экрана фильма, снятого по роману Достоевского, выщербленные ступени не ремонтировались с самой войны, ведет, открытая взором на второй сразу этаж, первого этажа почему-то не существует. Сколько раз Анна Моисеевна дрожала, вступая в подъезд одна, сколько раз ее поджидали в темноте подъезда нежелательные ей мужчины, и очень редко желательные...

— Как бы там ни было, — думает Анна, поднимаясь по лестнице, — невозможно отрицать того, что молодой негодяй в общем положительно влияет на ее жизнь. И мама Циля утверждает то же самое. Молодой негодяй дисциплинирует Анну.

— Разумеется, Анечка, мужчина не может жить с женщиной старше его вечно. Когда-нибудь Эдуард покинет тебя, — рассудительно и спокойно заметила недавно Циля Яковлевна, стоя в излюбленной позе — одна рука у бедра, папироса в другой. — Но я лично предпочитаю, чтобы ты жила с одним мужчиной, Анечка, чем, как это часто бывало, ты не могла остановиться ни на ком... — Циля Яковлевна только что вернулась с чая у богатых родственников и была потому облачена в полную парадную форму свою — в черное платье с белым кружевным воротничком и с камеей — женской головкой, приколотой у горла. "Не могла остановиться ни на ком" — было интеллигент-

ной формулой, каковую безупречная и стыдливая Циля Яковлевна выбрала взамен более грубого "случайные связи" или более научного, но мало распространенного в Советском Союзе тех лет термина "промискуити" — четко характеризующего состояние, в котором экс-литейщик застал ее дочь. — Женщина должна иметь своего мужчину, Анечка.

— Цилечка, молодой негодяй задохлик, а не мужчина. Когда он только появился в центре, прибыв свеженьким с завода, он таки-да выглядел, как мужчина, но пообщавшись с декадентами, сам сделался бледной немочью.

— Эдуард очень молодой, но мужчина, Анечка! — Циля Яковлевна не могла бы, если бы ее спросили, ответить на вопрос, нравится ли ей мужчина ее младшей дочери. Но Циле Яковлевне никто, и она сама в том числе, не задает такого вопроса. Что хорошо для Анечки, то хорошо для Цили Яковлевны. Анечке, кажется, хорошо. Во всяком, случае, сейчас Анечка всегда спит дома. Раньше она куда-то часто терялась на несколько дней или вдруг даже на несколько недель, и Циля Яковлевна плохо спала, много курила и целые дни подряд простаивала у окна, облокотившись на подоконник, выглядывала на площадь, ждала Анечку. Сейчас все приходит домой. Молодой негодяй, когда он устанет бегать с Генкой по городу в поисках удовольствий и острых ощущений, вдруг серьезно принимается за шитье, отрабатывая авансы, набранные во время загула. На столе в большой комнате раскладываются ткани, стучит швейная машина. Циля Яковлевна сидит с папиросой в руке у зеркала и неторопливо беседует с молодым негодяем о литературе — обсуждают Платонова или Пастернака: все самые новые и редкие книги приносит Анечка в семью из "Поэзии", хотя и давно там не работает, — семейный очаг пылает вовсю. В перерыв из киоска приходит Анечка, молодой негодяй отодвигает тряпки на край стола, и семья усаживается за трапезу. Приготовленная Цилей Яковлевной овощная икра или салаты пользуются большим успехом у семьи. Молодой негодяй обожает фаршмак. Разумеется, Циля Яковлевна предпочла бы, чтобы у ее младшей дочери был такой же высокий, солидный и крупный муж, как муж ее старшей дочери Теодор Соколовский. И лучше бы у него была техническая профессия. И хоро-

шо бы, если бы он был евреем. Надежнее. Хотя первый муж Анечки был еврей, а вот однако бросил ее, стоило Анечке заболеть...

Молодой негодяй шьет, гладит, наполняя обе комнаты запахом распаренных тканей. — Давай, мы обрежем тебя, Эд! Станешь совсем евреем... — хохочет Анна Моисеевна, наблюдая за погруженным в работу "супругом". — Еврейская профессия у тебя уже есть.

— Почему она еврейская?

— Большинство портных в Харькове — евреи. Традиционно еврейская профессия. Нужно иметь особый философский темперамент, чтобы стать портным и проводить всю жизнь, соединяя куски тканей. Мне кажется, эта профессия связана с чтением толстых еврейских книг, с Торой... с медлительностью, со временем.

— Ты считаешь, что у меня философский темперамент? — портного заинтересовало замечание Анны.

— Судя по твоим загулам, нет, но с другой стороны, у меня лично не хватило бы терпения сшить даже мешок, а ты себе сидишь да шьешь.

— А вы знаете, дети, что Лев Давидович Троцкий работал портным во время своей эмиграции в Америку. Был портным в Нью-Йорке. — Цилия Яковлевна, сидя в технической библиотеке, очевидно не теряла времени даром. По всей вероятности, в технической библиотеке было скучно, потому она читала там нетехнические книги...

Открыв дверь в коридор, Анна Моисеевна снимает туфли и идет мимо склонившихся над кастрюлями соседей босиком. Она знает, что соседи ее не одобряют. Анна Моисеевна не одобряет их.

31

Анна Моисеевна несколько месяцев боролась с рабочим парнем и сопротивлялась его желанию присвоить Анну Моисеевну. В начале января 1965 года она уехала по путевке в Алушту — отдыхать в санаторий. Не оставив адреса, не сообщив ему

что уезжает. Сбежала. Остриженный солдатик явился в парадном ратиновом пальто проводить Анну в "Поэзию", но очкастая каракатица Люда Висклерчик радостно сообщила ему, что Анны нет. — Анна взяла горящую путевку и уехала в санаторий, в Алушту.

Выпив три стакана портвейна один за другим в соседнем подвальчике на бульваре Гоголя, Эд поехал на вокзал. Можно лишь строить догадки по поводу того, какие именно мотивы двигали им в этом блистательном маневре, приведшем к окончательному завоеванию сердца Анны Моисеевны. Дабы попытаться понять само завоевание — одно из важнейших событий в жизни нашего героя, может быть самое важное — совершим короткий обзор событий нескольких месяцев, предшествующих десанту в Алушту.

Они познакомились в конце октября 1964 года. Мотрич привел Эда к Анне, когда шел дикий, трудновообразимый снег. Потом были частые встречи, Эд являлся на Тевелева 19 с портвейном и сидел в углу молча, наблюдая компанию, которая всегда включала бывших любовников Анны — то Кулигина, то желтолицего остяка, то Мышкина-беспредметника. Заводской парень был настолько ошеломлен стихами, свечами, разговорами о литературе, эрудицией его новых знакомых, что совсем забыл о своем сексе, о том, что у него есть член, что Анна — женщина. В беспредельном эгоизме прослонявшегося до двадцати одного года в одиночку мегаломаньяка он, однако, не сомневался, что и Анна, и эти вечера — все принадлежит ему. По свидетельству Анны (сам герой был пьян и плохо помнит эту историю) он ударил и выгнал однажды Мышкина-беспредметника, слишком поздно, по его мнению, засидевшегося у Анны в доме. И ушел только после того, как поверил, что беспредметник не вернется. Впрочем, и идя на свою Салтовку по зимнему городу, он время от времени думал, а не возвратиться ли ему обратно, чтобы проверить — вдруг у Анны мужчина!

Почему он сам тогда ни разу не посягнул на тело Анны Моисеевны, останется навеки загадкой. Очевидно, первая женщина из иного мира просто-напросто повергла его в робость. Все его женщины до этого были более или менее обыкновенные девочки с окраины, с обычными интересами девочек с

окраины. Наряды, модно одетый парень на красном мотоцикле "Ява" — было пределом мечтаний таких девочек. Сесть на заднем сидении мотоцикла, обхватив своего парня за талию, распустить волосы так, чтобы они рвались по ветру — самый смелый сон таких девочек. К Анне, женщине с пронзительными дикими глазами, заставлявшими (Эд позднее убеждался в этом сам не раз) самых жутколицых дядек-криминалов старой формации, в сапогах и кепках, вставать и уступать Анне место в харьковских и позднее — московских трамваях; к такой женщине Эд не знал, как приступить. Но в своем праве на Анну юный мегаломаньяк нисколько не сомневался. Посему он ревниво требовал от Анны верности.

Перед самым Новым годом Анна и приклеившийся к ней Эд вдруг особенно запили и загуляли с Кулигиным и его друзьями. Уже появлявшийся на сцене первый брючный заказчик Эда — физик Заяц, его подруга Женя Кацнельсон, приятель Зайца и коллега, тощий физик с редким именем Гарри, за что его все называли Гаррисом, всеобщая подруга и утешительница крашенная блондинка Инна по кличке "Фурса", Анна, Эд, красавец Леня Брук, еще более красивый бывший парикмахер Миркин, сын генерала маленький вор Чернявский и еще какие-то персонажи, оставшиеся без имен, все они перебирались с квартиры в квартиру, носились с бутылками по внезапно оттаявшему и вдруг замерзшему и ставшему скользким городу. Коллективное безумие охватило компанию, некий массовый "амок" гонял их, опустошая и взвинчивая... Неизвестно до чего они могли бы прийти, может быть и до убийства, кто знает, после сотен бутылок вина и сотен тысяч слов, после безумных пьяных а-ля Достоевский бесед о смысле жизни, если бы вдруг случай не помог разрядить атмосферу, заменив назревающую трагедию всего лишь фарсом.

Кулигин, Брук, Эд, Заяц и Гаррис стояли цепью у стеклянной пузатой витрины, среди вечерней толпы, заполнявшей Центральный Гастроном, и наглый профессиональный вор Чернявский, зашедший за прилавок, с ледяным спокойствием передал им по цепи вначале окорок, а потом бутылки вина, еще и еще бутылки, при этом гипнотизируя, глаза в глаза, двух продащиц в белых халатах, глядевших на него открыв рты...

В этот момент в магазин вошли несколько милиционеров и, увидев, что происходит, бросились на воров.

Последовали крики, падения в опилки, кого-то скручивали, топот, грохот, ругань и бег по ледяной конькобежной поверхности города. На Пушкинской улице через полчаса, озираясь, вышли из подворотен и подошли друг к другу Гаррис, Инна "Фурса", Эд, Миркин, Заяц и красавица Женя. Потоптавшись на Пушкинской и не решаясь выйти на Сумскую, компания с величайшим трудом нашла такси и, заплатив шоферу втрое, отправилась в новую квартиру Гарриса на краю света.

Трехкомнатную квартиру дал Гаррису его научно-исследовательский институт за то, что двадцатисемилетний Гаррис, оказывается, получил докторскую степень. А степень дистрофик получил за то, что решил какую-то формулу, которую до него никто не мог решить.

— Гаррис с похмелья обычно развлекается тем, что решает всякие трудные формулы. Таким образом он избавляется от головной боли, — объяснил Заяц Эду, пока они конькобежками скользили от такси к двери дома Гарриса, крайнего дома в чистом поле. Между похожими друг на друга строениями из белого кирпича свободно гулял ветер с дождем. Вдали темнело нечто похожее на еловый лес.

Чтобы читатель не думал, что это обычные похождения обычных людишек, обмолвимся, что двое из шестерых, высадившихся тогда из такси, впоследствии погибли, каждый своей скорее незаурядной смертью. Но проследуем за героями, войдем в новую квартиру физика на первом этаже.

Паркетный пол был бы, пожалуй, наичценнейшей вещью в квартире, если не считать портативного иностранного телевизора, стоящего на полу в одной из комнат, латинским "V" торчала его антенна. Но паркетный пол был почему-то странно вздыблен, и паркетины волнами то возвышались над полом гаррисовой квартиры, то вдруг проваливались в него. — Не удивляйтесь, — объяснил Гаррис друзьям. — Нет, это не строители соорудили такой пол в спешке и в погоне за тысячами квадратных метров жилплощади для советских граждан. Это я, остопоп, улетел в командировку в Москву и оставил кран в ванной открытым.

В двух из трех комнат валялись матрасы. В третьей у стены стоял потрепанный старый диванчик. Наиболее обжитой оказалась кухня. Шаткий столик в кухне был сплошь уставлен чашками с недопитым кофе на дне. Во многих чашках плавали размокшие окурки.

— Боже мой! — воскликнула чистюля Женя Кацнельсон. — Ты превратил квартиру в хлев, Гаррис! Эту бы квартиру хорошей семье...

— Когда они мне ее давали, — сказал Гаррис, зажигая все четыре комфорки газовой плиты, — я взмолился: "Зачем вы мне даете такую большую? Что я с ней буду делать?" Они сказали: "Как доктору наук, тебе теперь полагается дополнительная жилплощадь. Думать в ней будешь".

Все расхохотались. Гаррис без притворства, и на это указывает теперь и его быстроявившаяся трагическая смерть, был если не гением, то полугением. Разобраться в сущности и в весе гаррисовского вклада в науку у нас нет никакой возможности, мы не компетентны в этой области знания, но в том, что тип был подлинным оригиналом, а не подделкой или копией, как большинство человечества, сомнений не возникает.

Девушки Женя и Инна постарались привести в порядок хотя бы кухню Гарриса и, отмыв от кофе чашки, разлили туда уцелевший в истории портвейн. В процессе застолья, длившегося, ввиду ограниченного количества алкоголя и общей усталости участников, всего лишь до часу ночи, Фурса флиртowała сразу с юным книгоношей и с задумчивым гением Гаррисом, Женя же делала обычные замечания своему Зайцу. Заяц, отметил книгоноша, очень похож на французского певца, на Жака Бреля, которого Эд недавно увидел у Анны на конверте пластинки. Горячо обсуждалась судьба остальных участников набег на Гастроном, и к часу ночи, сложив воедино разрозненные индивидуальные наблюдения, ребята сошлись на том, что всем удалось уйти за исключением, может быть, Чернявского, находившегося за прилавком.

— Если Чернявский попался, то так ему и надо! — сказала Женя. — Это он подбил всех на совершенно неуместную и вовсе небезопасную авантюру. Если бы Зайца поймали, его обязательно бы выгнали из НИИ. Взрослые люди — чем вы занимаетесь!

Воры! Гаррис — доктор наук — вор! — Женя покачала головой и взвела к потолку красивые брови. Сама она, между тем, занималась тем же, что и другие. Только пила она меньше других и спала вдвое больше всех, заботясь о своей величавой, черно-белой красоте.

— Кулигина, мне кажется, схватили, — сказал Миркин, ухмыляясь. Как и в каждой долго существующей компании, и в этой существовали подводные течения скрытых симпатий и антипатий. Миркин тоже спал с Викой Кулигиной и, может быть, скрыто соперничал с ее экс-мужем.

— Неправда, — возразила Женя. — "Шлым" (так иногда называли Толика) — очень осторожный тип. Он и стоял последним в цепи, ближе к выходу. У него остались три бутылки. Я видела, как "шлым" с Анной бежали через Сумскую в парк.

Все согласились, что воровать они больше никогда не будут, что не в их возрасте (Миркину — старшему из присутствующих — было 29 лет) и положении заниматься подобными опасными глупостями, и, поделившись, разошлись спать. Добраться до города в такой гололед ночью было в любом случае невозможно. Автобусы уже не ходили, а поймать такси в ледяной пустыне как? Телефона же у Гарриса не было.

Так как две пары: Заяц—Женя и Гаррис—Фурса по праву захватили матрасы, книгоноше достался старый диванчик. Миркин, аккуратно сложив черный костюм, соорудил себе из пальто приятелей подобие гнезда и, подвигавшись в гнезде, уснул. Эд же не спал и думал о сказанном черноволосой Женей. "Шлым с Анной бежали через Сумскую в парк". Ему представилось, как Кулигин, сняв очки в массивной оправе, лежит с Анной в ее комнате на полу, над головами у них нависают пальто, отяжеляющие дверь. Лежит на Анне.

Именно в этот момент его укусил первый клоп. То есть вначале книгоноша не догадался, что это клоп. Он почесал плечо, от горящего на кухне газа было тепло, и книгоноша лежал, раздевшись, сохранив на теле только трусики (из ткани в мелких цветочках). Когда его укусил второй клоп, Эд уже не сомневался, что гаденькие животные населяют щели дивана. Однако он не включил света, чтобы разглядеть врагов, а только почесался, не желая будить Миркина, лежащего в другом углу,

их, как "беспарных", поместили в одну комнату.

Свет зажечь все же пришлось, потому что в последующие десять минут тело книгоноши было ужалено, может быть, сотню раз. Проснулся злой Миркин, и книгоноша призвал его взглянуть на диван. Он снял подушки с деревянной рамы, и можно было видеть, как полчища клопов толпились у входов в свои жилища между брусьями рамы. "Еб твою мать!" — воскликнул голый Миркин и побежал звать хозяина Гарриса. — Я говорил тебе, Гаррис, не бери этот ужасный диван, в нем наверняка полно заразы, -- ты взял. Полюбуйся! — Гаррис натянул очки в железной оправе на длинный нос, и его передернуло в гримасе отвращения. Втроем, натянув на голые тела пальто, они схватили раму и подушки и, спустившись по трем ступенькам, вынесли проклятый диван в ночь и бросили его у подножия фонарного столба. Шел дождь, и было еще более скользко. — Чтоб вы тут все замерзли и утонули! — пожелал клопам Гаррис.

Удалившись на кухню и завернувшись по способу Миркина в отделенную ему часть общественных пальто, Эд все-таки не смог уснуть и в третьем часу ночи, осторожно одевшись, покинул квартиру Гарриса. Самым сложным оказался первый километр по голой местности. Книгоношу дюжину раз сдуло и стукнуло об лед. В дожде и ветре время от времени мимо книгоноши пролетали куски дерева и металла, неизвестно от какого строения оторванные. Зимний смерч бушевал над харьковской окраиной. Очевидно, высоко в небе Украины мощный смерч теплого воздуха из Африки столкнулся с мощным смерчем холодного воздуха из Гренландии, а несколько сумасшедших харьковских жителей, оказавшихся в эту ночь на улицах по причинам неуравновешенного темперамента, вынуждены были страдать.

32

Долго шел книгоноша, пока незаурядное топографическое чутье не вывело его наконец прямехонько на главную магистраль — Сумскую улицу, чуть выше площади Дзержинского.

И еще полчаса понадобилось ему, чтобы добраться до площади Тевелева и стать под окном Анны, в окне слабо теплился размытый дождем свет настольной лампы. Эд знал, что лампа стоит на сундуке у окна, и покрыто сороковаттное светило абажуром, разрисованным под китайский зонтик.

— Анна! — Первое "Анна" затерялось во мгле из дождя и ветра, прозвучало по-комнатному робко. Никто не появился в высоком старом окне комнаты-трамвая. Помня о существовании Цили Яковлевны за двумя окнами рядом, книгоноша, сложив ладони рупором, попытался издать направленный клич: — Ан-нна! — И выждал. Под фонарем, висящим над стоянкой такси (ни единого автомобиля!), можно было видеть, какой густой стеной идет полудождь-полуснег. Толстое пальто книгоноши, ратиновое (спасибо Мишке Кописсарову!), стоило своих денег. Особым образом, в два слоя выпряденная шерстяная ткань пропустила влагу только в первый слой, плечи и грудь книгоноши были сухими. В отличие от ног, одетых в американские армейские сапоги, — ноги купались в лужицах холодной воды. — Анн-ннааааа! — закричал книгоноша.

Придерживая на груди халатик, за стеклом появилась тень Анны. Поглядев в улице, она отошла на мгновение в комнату и затем только приоткрыла окно.

— Можно я поднимусь? — Книгоноша задрал голову, и дождь нещадно колотил по его размокшему лицу.

— Иди домой, Эд... — прошипела Анна и оглянулась в комнату.

— У тебя там Кулигин, я знаю. У тебя там Кулигин, и выебесь! — выпалил он тоном Верховного Судьи.

— Да, у меня тут Кулигин, и что же в этом такого, Эд?

— Я поднимаюсь! — угрожающе сказал книгоноша и сделал вид, что направляется за угол, к подъезду.

— Не делай глупостей, Эд, ты разбудишь весь дом. Я бы тебя пустила, но тебе негде будет лечь. Я сплю на кровати, Толик лег на полу...

— Вы лежите вместе! — книгоноша тогда еще был твердо уверен в том, что если мужчина и женщина оказываются в ночное время под одной крышей, то они непременно *должны* совокупляться, и уж как минимум находиться в одной постели.

”Взгляд, конечно, варварский, но верный” — прокомментируем мы это юное заблуждение цитатой из выдающегося поэта Бродского.

Если бы книгоноша был пьянее, он бы устроил скандал. И в нынешнем своем состоянии он бы устроил скандал — кричал бы и стучал в дверь, если бы дверь в комнату Анны находилась бы сразу же на лестничной площадке, в пределах досягаемости. Но увы, войдя в подъезд и поднявшись по терзающей душу лестнице, прежде всего следовало преодолеть дверь, ведущую в общественный коридор. И потом, как мы уже знаем, еще две двери! Слишком большое количество чужих людей должны были увидеть его размокшую страдающую рожу до того, как он получит возможность дать Аньке Рубинштейн по физиономии. ”Блядь с Сумской”. Он вспомнил циничную фразу недавно встреченного им в трамвае Толика Толмачева, только что вышедшего из тюрьмы. — Говорят, ты с блядью с Сумской живешь? — У Толика поблескивал во рту первый золотой зуб.

— Блядь с Сумской! — закричал книгоноша вверх к Анне и пошел прочь. Побрел, разрываемый внутренним диалогом.

* * *

— Какой же ты все-таки мудака, Эд! — подельник Мишки Кописсарова, лже-сталевар, салтовский парень Эдька ухмыльнулся и презрительно оглядел мокрую фигуру в большом пальто. — Ты оставил их там вдвоем. Ты ушел, а они — ебутся опять. Интеллигент!

— А что я должен был сделать? Что? Разбудить полсотни соседей в коридоре, потом еще три семьи в квартире, разбудить мамашу Анны? Еще неизвестно, впустили бы меня соседи в коридор или нет, у них там цепочка на двери, то есть даже неизвестно, удалось бы мне или нет дать ей по наглой роже пощечину. Устраивать скандал, чтобы, не достигнув цели, приземлиться в отделении милиции?..

— Не нужно было ставить себя в идиотское положение с самого начала. Почему ты не выебешь ее и сидишь рядом с такой жопой, не употребляя ее?

— Эй, полегче! Кончай пороть вульгарности... Я не знаю,

почему я с ней не сплю до сих пор.

— Врешь. Все всегда все о себе знают, но трусят сказать себе правду. Знаешь и ты.

— Хорошо, я боюсь. Да.

— Чего?

— Боюсь, что у меня не встанет на нее хуй, боюсь, что окажусь с ней импотентом, боюсь, что разрушу то, что есть, боюсь, что как следствие она меня выбросит из своей жизни! А ее жизнь, ее среда мне позарез нужны. Где я еще найду таких людей? Больше таких людей нет в Харькове... Лучше пусть все останется как есть...

Зеленые ворота Исторического музея отвлекли их — Эдку прошлого и Эда настоящего — от диалога. Книгоноша, обняв прутья ворот, заглянул во двор. Во дворе лоснились в дожде два танка: один — английский, эпохи Гражданской войны, с такими наступал на Харьков Деникин, другой — немецкий, трофей последней войны. Справа слабо светились несколько окон в доме священников. Анна по крайней мере утверждала, что в этом доме во дворе Исторического музея живут священники с попадьями. Попадьи в длинных ночных рубахах и священники в подштанниках, может быть, сидят сейчас на кухне и пьют чай, — подумал Эд. — Может быть, они встали уже, потому что священникам пора на работу. Слева вверх в ненастное небо уходила колокольня митрополичьего двора. Колокольня, и двор, и митрополичья церковь были отделены от двора музея забором. Низко висящий на заборе фонарь освещал облупленный бок колокольни. Большая часть тела колокольни, однако, было покрыта сотами деревянной опалубки — архитектурный памятник семнадцатого века ремонтировали. Книгоноша потрогал калитку в зеленых воротах, она была незаперта. Он прошел по мокрой песчаной дорожке, американские сапоги вминались в песок как в теплый шоколад, и сел на пьедестал, спиной к английскому, желтому как английские шинели того времени, танку.

Налетел ветер, и даже сильный, сумел схватить пригоршню мокрого песка с дорожки и, понеся ее быстро к дому, в котором живут священники, успел швырнуть песок в дом. "Динь-дзынь!" — ответили стекла. Книгоноше показалось, что белое

лицо появилось в темном окне первого этажа. "Священники неплохо устроились, — подумал он, — на холме, рядом с Богом и Историей, над речкой Харьков, здесь по преданию и был основан вольным казаком бандитом Харей город. Интересно, может быть, Бог с врубелевскими крыльями, могучим юношей сидит на колокольне? Или, может быть, он сидит, как большая птица, под куполом находящегося на другом берегу реки Благовещенского собора? Бога нет, конечно, есть наука, есть начало всех начал. Верить в иностранного Христа, родом с Ближнего Востока, глупо. Хотя Мелехов говорил, что теперь все большее количество ученых сомневаются в Дарвине и теории происхождения видов, и если не верят в Бога, то не отрицают возможности сотворения мира одним махом. Только вот кем? — Книгоноша переменял позу, потом с опаской поглядел на утопающую в небе верхушку колокольни. — А вдруг он есть? А я сижу тут и говорю, что его нет. А вдруг он есть и ему может не понравиться, что я думаю, что его нет? А с другой стороны, что он, за всеми следит, что ли, каждую секунду — за тем, кто что думает? Тогда получается, что Бог — это какое-то фантастическое сверхкагебе, следящее за мыслями. Столько работы должно быть у него..."

Если он есть, то можно попросить его. Попросить о чем? Обо всем попросить, чтоб... Книгоноша понял, что сейчас, сидя на пьедестале и упираясь спиной в клепаный корпус "Пантеры", не следует просить Бога ни о чем. Следует встать, преодолеть забор, войти в колокольню, подняться на самый верх и только там, над городом, попросить Бога о том, чего он хочет. Оттуда просьба прозвучит куда сильнее. За всю его жизнь книгоноша ни разу не вошел в храм Божий. Может быть, Бог, если он есть, окажет просьбе неофита большее внимание. Говорят же, что тем, кто никогда не играл в азартные игры, всегда везет первый раз...

Он встал и пошел к забору, всем телом чувствуя, что буря усиливается и все тревожнее становится во дворе и в небе. Несколько раз его швырнуло и толкнуло водой и ветром, мазнуло звериной лапой природы по физиономии. Когда появляешься в природе только на короткие промежутки времени, то природы собственно не замечаешь. Когда же вот так, в непого-

ду, проводишь в ней вынужденно ночь то тогда только видишь, что есть только природа, а люди, слабые, как клопы, спрятались в Гаррисов диванчик. Природа, и покоренная городом, рычит у нас на порогах, — подумал наш герой, слезая с дерева на высокий, мокрый и грязный каменный забор. Если исчезнет вдруг электричество, не будет течь по проводам, вдруг обессилит ток, город, пожалуй, разрушится в несколько месяцев. Нет, исчезновения одного электричества мало. Если исчезнет и газ, вот тогда природа большим черным зверем, гигантской собакой Баскервией величиной с Благовещенский собор бросится на горло городу и загрызет население, слабое и изнежившееся в четырех стенах коммунальных квартир, покрывшееся мягким жирком от поедания жирных варев из картошки и мяса.

Он свалился с забора по другую сторону и некоторое время лежал в ледяной луже, приходя в себя. Юноша был настолько поглощен своими размышлениями и столкновением с дикой, оказывается даже в миллионном Харькове, природой, что тело его беспокоило его мало. — Холодно, — только и подумал он и встал из лужи. Дверь в колокольню, такая же клепаная, как и тело английского танка, оказалась прочно закрытой. На плечевые усилия юноши дверь не поддавалась и на миллиметр. В колокольню, несомненно, можно было попасть из исчезающей во мраке митрополитской церкви, но можно было себе представить, какая же дверь преграждает доступ в церковь, если шипо-колющий панцирь, заграждающий колокольню, так могуч. И он полез в небо по мокрым доскам, пригибающимся под американскими сапогами, полез, стараясь держаться ближе к телу колокольни. Однообразными порывами все более могучее вверху небо набрасывалось на его пальто и, не смущаясь неуспехом, прыгало опять. В методичных попытках неба оторвать юношу от опалубки и швырнуть наземь, он чувствовал, не было злобы, но было упрямое безразличие. "Получится — хорошо, не получится — ну и не надо". Он не считал, сколько площадок он преодолел и сколько шатких лесенок между площадками. В те времена опалубка подобного рода собиралась на месте из бросовых досок плотниками как придется, и хотя сооружение обязано было обладать определенной прочностью, чтобы выдер-

жать вес команды, ремонтирующей колокольню, и инструментов, и материалов, все же, как все временные сооружения, шаталось, кряхтело и двигалось даже под одним книгоношей.

Там, где застекленные окна кончились и незастекленные черные дыры уходили в мясо колокольни, как черная дыра за ухом Игоря Иосифовича Ковальчука (следствие пулевого ранения, как он утверждал, и, как впоследствии раскрылось, — следствие банальной операции), — он понял, что влез к Дьяволу. Вдруг абсолютно неуместный в это время года загрохотал гром, и небо раскололось в той стороне, где находился Благовещенский собор. Раскололось неярко, сине-фиолетовой ленивой трещиной, долго почему-то видимой в небе. И сразу проянилось и колючие шквалы дождя, как доски, утыканные гвоздями, время от времени швыряемые на нашего героя небом, сменились более мягким, ровным и большим, во все небо, ливнем. И опять ленивая фиолетовая трещина расколола небо. Такие трещины были на самых любимых тарелках Цили Яковлевны, кузнецовской фарфоровой фабрики, изготовленных еще при царях.

Он встал на колени, как он знал, полагается просить, встал спиной к колокольне, к дырам ее, носки сапог, пошарив в дыре, укрепились там, и наклонился вперед так, что коснулся лбом сырых воняющих сырой штукатуркой досок.

— Господи, или кто там, я не знаю... — начал он, остановился и подумал, чего же попросить. — Сделай так... чтобы судьба моя была необыкновенной. Чтоб была она... — он замылся, — ... как в книгах! Чтоб я всегда побеждал, чтобы стал самым-самым... героем... — ему показалось, что в мокрых тучах рядом кто-то мощно шевельнулся и шлепнул, чавкнул насмешливо огромными губами. Книгоноше стало неприятно, и он почувствовал, что находиться один на один хотя бы даже только и с небом страшно. Явления, называемые в просторечье "мороз по коже" и "волосы встали дыбом" случились с ним, и он решил — нет, не Бог там. Был бы Бог, было бы хорошо и не страшно. Дьявол там в тучах чмокает и смеется — вот там кто!

— Но ты же особенный! — сказал он себе, или за него сказали? — Раз особенный, то и все особенное. Зачем тебе Бог с Ближнего Востока, он протезирует инвалидам, ты — заключи

союз с Дьяволом. Заключи, а? — хулигански шепнул он себе, или ему шепнули из туч? — Что ты, хуже самых-самых...

— Чепуха это все, хуйня! — сердито сказал салтовский криминал и рабочий-литейщик, поведя себя в вопросе религиозном неожиданно здравомыслящим образом. — Буря, вот и все. Никаких сверхъестественных сил нету. Слезай, пошли домой!

— Ваше Величество, всемогущий Дьявол, — радостно начал книгоноша, игнорируя голос провинциального салтовца. — Вы являлись доктору Фаусту или его творцу. Вы подписали бумажку с Мельмотом и с некоторыми другими смелыми... Я тоже смелый. Помогите мне. Уберите Кулигина с моего пути. Ушлите его куда-нибудь, пусть он пишет Анне талантливые письма красными чернилами, как писал когда-то с целины. Ушлите его опять на целину, а? Уберите его, я не возражаю, я хочу остаться с Анной, она нужна мне. Сделайте, а? Это программа-минимум. А максимум — Ваше Высочество — помогите мне быть всегда необыкновенным, всегда героем. Отдельным, и на утесе, как Мельмот, разглядывая человеческие бедствия с улыбкой...

Читатель, если он сам никогда не испытал состояния экстаза, не поймет этой сцены на колокольне, одновременно смешной и претенциозной. Классический романтизм только и был доступен тогда воображению нашего героя, выглядит все это несколько старомодно. Однако откуда бы ни черпал примеры актер, если у него есть искренность и темперамент, он сумеет выжать слезу из публики. В данном случае публикой был сам книгоноша. И он разрыдался в харьковском небе, и плакал долго и всхлипывая. И время от времени выискивая в небе знак. Кроме все той же бури ничего необычного не происходило в небе, сколько он ни напрягал свою волю, пытаясь вызвать Его Величество Люцифера. Отплакавшись, он сказал себе: — Может быть, хватит плакать, и стоит слезть с опалубки и пойти домой спать? — Но ему показалось, что еще рано кончать сцену, потому он должным образом пообещал Дьяволу в обмен за помощь свою душу, и только после этого, все еще в слезах, стал спускаться.

Перевалившись через забор во двор Исторического музея,

он был облаян очевидно только что проснувшейся маленькой злой собачонкой и наблюдал сцену схождения по ступеням дома священников настоящего священника в большой рясе с какой-то белой штукой на голове и с портфелем. Священник, пройдя мимо юноши, перекрестил его на расстоянии, сказав глухим утренним голосом: "Благослови тебя Господь, отрок!" и присев, как женщина подбирая юбки, вдвинулся в ожидавший его темный автомобиль. Вслед за медленно объехавшим танки автомобилем Эд вышел в открытые зеленые ворота. Люди ранних профессий уже шлепали по улицам, быстрые, но полусонные.

33

Он уже побывал в Алуште однажды. В 1961 году, во время одного из набегов на юг, Эд и Кот Бондаренко провели в городе несколько дней. Частным детективом, методично заходя во все санатории и расспрашивая, не числится ли у них курортница Анна Моисеевна Рубинштейн, Эд пересек центр города, прошел по пляжам и даже опознал киоск, на крыше которого они когда-то провели ночь вместе с Котом. Крыша, как и четыре года назад, была покрыта буйной вечнозеленой растительностью. Вспомнив сидящего на Колыме друга, Эд загрустил, и загрустив, зашел в заведение, просто и лаконично называемое "Вино". В заведении с модными большими запотевшими по центру стеклами шипела пластинкою радиола и стояли местные мужики и курортники со стаканами портвейна в руках. Мужиков было немного, и вполне разумное количество курортников не создавало толпы, но сообщало заведению "Вино" приятную и живую атмосферу экзистенциального фильма. Эд приобрел стакан портвейна и стал глядеть вниз, в море, на серо-желтый пляж, глотая портвейн. Шли низкие тучи над морем, и собирались в сложный узел дождь.

В углу зала стояла елка в игрушках, и одна из официанток, некрасивая и немолодая женщина с тихим лицом, зайдя за прилавок, вдруг включила на елке лампочки. На мгновение все в зале посмотрело на елку, которая, похвалившись одним вари-

антом лампочек, погласла и зажглась другим вариантом. Народ почему-то стал чокаться стаканами, а пьяный мужик в зеленом плаще-болонье вдруг присосался к официантке номер два, и та шутливо ударила его мокрой тряпкой, которую держала в руке. Эд отвернулся от людей в море и подумал, что Кот отсидел только два года с небольшим, и значит, ему осталось еще десять лет срока. Ни хуя себе — десять лет! Вечность! Он попытался представить себе, что произойдет с ним за десять лет, но дальше задачи нахождения Анны в Алуште не смог сдвинуться в будущее.

По пустому пляжу бродили зимние курортники группами, тепло одетые, воротники свитеров высывались из пальто. "Купаться зимой на юге, конечно, нельзя, но зато приятно себя чувствуешь", — подумал Эд. Хорошо бы всегда жить у моря, чтобы на улицах было мало людей и играла радиолы. Неужели он не найдет Анну? Должен найти. Вдруг Викслерчик соврала ему, и Анна отдыхает не в Алуште, а в Ялте? Ему оставалось обойти только группу из трех санаториев, находящуюся в отдалении от города, на первых отрогах гор, параллельных морю. Он выпил еще один стакан портвейна и пошел, следуя карте-схеме, купленной в киоске на автобусной станции, к оставшимся санаториям.

В последнем санатории Юному Вертеру сказали, что да, у них есть отдыхающая Анна Рубинштейн. — Красивая седая дама? — заглянув в список отдыхающих, вопросительно сказала удивительно белокожая для юга старушка-аборигенша, очевидно, старшая медсестра. В советских заведениях подобного типа "отдыхающих" принимали за больных, взвешивали, анализировали, рентгено스코пировали и лечили. Как минимум давали рыбий жир. "Неужели и Анне они дают рыбий жир?" — заинтересовался юный романтик.

— Вы — родственник? Сын? — предположила любопытная аборигенша.

— Брат! — ответил книгоноша с вызовом и отправился в указанный ему корпус отыскать указанную ему комнату.

Брат выглядел монахом. Неувядающее в жизненных бурях черное пальто из ратина, кепка-аэродром — в грузинском стиле. Черные "зимние" брюки (на фланелевой подкладке,

сшитые им самим, разумеется), известный уже читателю жилет (черный), и черный же, той же ткани, короткий и плечистый пиджак. Только полоска воротника белой рубашки оживляла этот костюм монаха (варианты: испанского гранда или сицилийского разбойника).

Поднимаясь по лестнице в корпус Анны и направляясь к двери ее комнаты номер 26, юноша подготавливал первую фразу. Отбросив ряд веселых и глупых вскриков по причинам развязности или искусственности их, он остановился на простом приветствии: "Здравствуй, Анна...", после которого он просто и мужественно улыбнется.

Дверь ему открыла вовсе не Анна, но красивая высокая женщина с крупным тяжелым лицом, облаченная в шелковый китайский халат с золотыми птицами. Юный Вертер, очевидно, имел преглупейшее выражение лица, может быть у него был приоткрыт рот, потому что женщина улыбнулась, смягчив суровое лицо свое, и сказала: — Чем могу быть полезна?

— Извините, — сказал юноша. — Я, очевидно, ошибся дверью. Я ищу отдыхающую Анну Рубинштейн.

— Нет, вы не ошиблись, — темные волосы женщины были полумокрыми, очевидно она их только что вымыла. — Анна Рубинштейн живет здесь.

— Могу я?.. — начал Вертер.

— Нет, не можете, — сказала женщина строго и засмеялась. — Анны нет. Насколько я понимаю, она уехала в винсовхоз на экскурсию еще рано утром...

— Спасибо, — книгоноша повернулся, чтобы уйти.

— Что-нибудь передать Анне? — женщина не закрывала дверь, но ждала. Может быть, юный монах, неожиданно явившийся, вызвал в ней интерес? Такое живое существо вовсе не было обычным явлением на улицах советских городов того времени. Бледный и поэтичный (швейцар в Автомате иначе как "поэт" нашего юношу не называл, несмотря на то, что герой наш именно в тот период стихов не писал. Писал раньше и позже), сделавшийся таковым в четыре месяца, наш юноша мог вызвать интерес в ленинградской красавице Маргарите. Она несколько мрачноватой своей красотой произвела на него впечатление. Про таких женщин на Салтовке пели:

Ах какая драма
Пиковая дама
Жизнь вы искалечили мою...

— подумал книгоноша. Должно быть, ей лет тридцать. Такая запросто может искалечить жизнь.

— Передайте, пожалуйста, Анне, что ее разыскивает брат, — сказал он пиковой даме и удалился по ковровой дорожке цвета вишни.

Как настаивал отцовский, в детстве выученный нашим юношей наизусть добровольно, учебник топографии, прежде всего следовало определиться на местности. Он и определился, исследовал подходы к санаторию, высмотрел все командующие местностью высоты, словно собирался установить на них пулеметные гнезда (именно эти крайние меры рекомендовал отцовский старый учебник), и занял наблюдательную позицию на лучшей из высоток, поместившись под вечнозеленым деревом из породы хвойных. "Уж не чилийская ли это араукария?" — подумал наш герой, в прошлом следопыт и естествоиспытатель. Кора у дерева была неестественно красной, и оно испускало характерный для южной растительности острый кисловатый запах. Камни и нагромождения мелких скал скрывали нашего героя, и с дороги заметить его было невозможно. Если бы его спросили, почему он выбрал позицию, не только позволяющую ему следить за дорогой, ведущей в санаторий, но и скрывающую его, он бы, по всей вероятности, не смог ответить на этот вопрос. Проямлил бы что-нибудь вроде: "Да так, не знаю..." Между тем мы, сторонние наблюдатели, при желании можем увидеть в выборе наблюдательного пункта среди желтых скал зачатки начинающейся в молодом человеке паранойи, впоследствии сделавшей жизнь нашего человека сложнее, чем ему самому хотелось бы.

Он спрятался так старательно, как будто бы только что убил по меньшей мере одного тирана и теперь бежал горами, опасаясь милиции, вертолетов и доносов встретившихся альпинистов или пастухов. Между тем он засел лишь в пределах города Алушта в сотне метров от входа в санаторий Книго-Издательской Промышленности. Подозрения в паранойе могут быть

однако отведены разумным предположением, что молодым людям, как и молодым животным, свойственно игровое поведение. Так котенок, вовсе не полный идиот, и понимает, что привязанная к веревке бумажка или тряпочка совсем не живая мышка, но продолжает, радостно задрав хвост, гоняться за бумажкой, так наш молодой самец сидел в скалах и прятал голову между камней при появлении каждого ползущего вверх или вниз по асфальтовому ремню автомобиля.

Как бы там ни было, после нескольких часов бдения и рассматривания дороги, день опасно приближался к вечеру, хмурые мысли все чаще толпою слетались под дерево, где сидел, упершись спиной в красную кору ствола, наш герой. "Где она? Может быть, она познакомилась с мужчиной и сейчас лежит с ним? Анне легко найти мужика, стоит ей стрельнуть глазами вокруг. И зачем я приехал? Анна ведь нарочно скрыла от меня, что уезжает, она не хотела, чтоб я знал, где она. Увидев меня, она рассердится... Но где она?"

Первые фонари зажглись несколько преждевременно над горной дорогой, и белый санаторий в желтых скалах и синее небо над ним сделались вдруг похожими на картину Магрита.

Он очень хотел есть. Другой, менее маниакальный юноша на его месте отлучился бы в столовую, или на худой конец купил бы бутербродов и пива и предавался бы после этого слезке или ожиданию с куда большим комфортом. Но характер нашего юноши тем и интересен, что он преследует свои смутные цели с отменным экстремизмом и всеми его излишествами. Другой юноша, познакомившись с Анной, в первый же или во второй вечер, действуя ловко и смело, настоял бы на совокуплении, принудил бы женщину... и был бы Анною прочно забыт через неделю. И не было бы комических недоразумений, полуживых обращений к Дьяволу с колокольни, географических поездок по городам Союза. Все было бы просто и скушно, как у нормальных самок и самцов.

* * *

Автобус из винного совхоза прибыл в момент полного потемнения неба. Хотя его не венчала фигура Бахуса и он не

был оплетен виноградными лозами, Эд немедленно догадался, что этот автобус прибыл из винного совхоза, по слишком весело настроенным пассажирам, выпрыгивающим из него, по их хохоту и по бутылкам вина, торчащим горлышками из сумок или сжимаемым в руках отдыхающими. Анны среди пассажиров не было.

34

Анна появилась, когда он решил, наконец, покинуть наблюдательный пункт и пойти в здание санатория, проверить, не прокралась ли еврейская женщина мимо, не замеченная им. Против ожидания Анна не приехала на автомобиле вместе с мужчиной или в такси, одна; но медленно шла по краю дороги вдоль темных молодых кипарисов и кривоколенных, коротконогих деревьев неизвестной Эду породы, похожих на ветвистые куски канализационной сети, вырванные из мяса старого дома и воткнутые в беспорядке в скалы. Он хотел было броситься к Анне, но шпионская душа его удержала юношу. Он решил понаблюдать за Анной и, спустившись с наблюдательного пункта к дороге, пошел за ней по другой стороне, прячась среди скал и деревьев. Впрочем, в его перебежках от укрытия к укрытию и в плавных и ловких, как ему казалось, исчезновениях в провалах темноты, не было необходимости. Анна шла себе под фонарями, погруженная в свои мысли, расстегнув ворсистое зеленое пальто, как большинство человеческих существ доверчиво-беззаботная, и не оглядывалась. Со стороны наблюдаемая, Анна Рубинштейн нашему гепою не понравилась. Она выглядела невысокой и слишком массивной, такой зеленой мыльницей, шествующей по горному склону. Было даже слышно, как мыльница пыхтит, преодолевая подъем. Понравилась ему лишь красивая голова Анны с высоким неожиданным шиньоном, воздвигнутым на ней. С шиньоном Анна напоминала Ифигению или Иокасту или Иоланту греческой трагедии. Или Клитемнестру, предавшую только что Агамемнона. Ноги Анны против обыкновения не заканчивались лихими туфлями на острых шпильках-каблуках, но переходили в замшевые бескаблучные сапоги цвета дерьма алкоголика. "Вот почему Анна выглядит приземистее

и круглее, — понял Эд наконец. — Без каблучков она”.

Вслед за Анной он вошел во двор санатория и, не очень даже скрываясь, последовал за нею в корпус. В приемном покое, у самой лестницы, сидела дежурная в белом халате и читала журнал. Анна обменялась с дежурной несколькими глухими фразами, но ушей юноши достигли только бессмысленные звуки. Завидев дежурную, наш герой вспомнил, что корпус — женский, и его — мужчину — не допустят в это время суток во внутренности корпуса. Он собирался уже окликнуть взбирающуюся по лестнице Анну, как вдруг дежурная неожиданно встала и удалилась в боковой коридор. Может быть, она пошла в туалет. Не видя более ни единого человека в ярко освещенной приемной корпуса, юноша быстро, через две ступени, побежал вверх по лестнице.

Дверь открыла Анна, уже снявшая пальто и державшая его теперь в руках, она уже успела распялить пальто на плечики вешалки. ”Ты! Ох! У меня целый день сегодня было предчувствие, что ты появишься. Сумасшедший!”

Неопытному молодому самцу показалось, что Анна недовольна его появлением. Он поспешно схватил ее крупное тело в районе талии и, привлеки к себе, поцеловал женщину в губы. От женщины пахло на него крепким запахом лака для волос, еще какими-то сладкими парфюмерными запахами, и потом. Эд привлек Анну к себе и целовал ее не потому, что ему хотелось ее целовать, но потому, что он знал, что так нужно делать, если женщина сердита. И вообще так полагается поступать мужчине. Шествовавшая только что под его критическим взглядом по горной дороге зеленая мыльница не исчезла из сознания юноши, потому, целуя Анну, он усиленно выжимал слово ”мыльница” из сознания.

Анна же не была сердита. Разумеется, появление юноши расстраивало ее планы на отдых в качестве свободной женщины, надежды на несколько курортных авантур и приключений, и должно было принести известные неудобства. Но как и любой другой женщине, ей было приятно, что молодой самец совершил ради нее безумство. Что он приехал ради нее. Алушту от Харькова все же отделяет добрых восемьсот километров.

— Как ты меня нашел, ”шизик”? — Анна отстранилась,

чтоб поглядеть на "шизика", и юноша увидел лучшее в Анне — ее лицо и глаза, и "мыльница", наконец, покинула его сознание.

— Дедуктивным методом. Методом отбора. Обошел все санатории Алушты.

— И Лиля тебя отпустила?

Читателю следует объяснить, что в первые дни Нового года книжные магазины Харькова обычно аврально работают, стремясь доторговать как можно больше до плана только что окончившегося года. Покинуть сотоварищей в эти авральные дни равносильно оставлению поля боя солдатом, дезертирству. Однако в те времена нашему юноше его сентименты были дороже и плана, и коллектива. Он не колеблясь дезертировал, дабы последовать за женщиной.

— Ты сбежал? — ужаснулась Анна. — Лилька, наверное, рвет и мечет. — Подняв свое пальто с полу, Анна наконец повесила его в шкаф. Когда она обернулась к юноше, яркая улыбка украшала ее губы. Женщинам свойственно сильное чувство конкурентности, и несмотря на то, что Анна знала, что юноша не испытывает никаких чувств к директрисе, ей все же было приятно, что книгоноша своим дезертирством нанес пусть и небольшой, но удар по властолюбивой маленькой фашистке.

Юноша же, увлеченный выражением "рвет и мечет", в картинках представил себе, как Лилия в ярости рвет и разбрасывает вокруг себя книги в магазине, а Задохлик в вылезшей шубе, выпучив серые глаза, с ужасом глядит на директрису.

— Тебе нравится моя новая прическа, Эд? — Анна, подставив обозрению юноши профиль, вновь повернулась к нему в фас. — Я была в парикмахерской.

— Очень! — соврал книгоноша, убежденный, что женщинам следует говорить комплименты. (С течением времени его мнение по этому вопросу изменилось). На самом деле на благоприятном для его близорукости расстоянии прическа Анны показалась ему чрезмерно искусственной. Парикмахер не пожалел лаку, лак засушил волосы, и они застыли, как слишком накрахмаленное кружево.

— Сегодня у них тут вечер танцев, Эд. Пойдем?

— Смотреть на отплясывающее козье племя?

— Эд!... Послушайте его, люди добрые! Он уже успел

стать снобом. Ты еще в прошлом году работал в литейном цехе, Эд!

— Ну и что из этого. Я и в литейном цехе терпеть не мог козье племя и с ним не общался.

— Но тебе же приходилось общаться с товарищами по работе, Эд?

— В комплексной бригаде у каждого свой участок работы. Если не хотелось мне разговаривать, я мог ограничиться несколькими фразами за целый день. Я с Чуриловым общался. Борька, как ты знаешь, не козье племя.

— Хорошо, Эд, ты как хочешь, а я пойду танцевать. Где ты остановился?

— Нигде, — мрачно признался юноша.

35

Верный привычкам криминального детства, юноша, разумеется, прихватил с собой выручку последнего рабочего дня. Увы, как мы уже упоминали, у него не было таланта Игоря Иосифовича Ковальчука, сумма оказалась весьма скромной. Анна взяла с собой в Алушту пятьдесят рублей. Будучи женщиной бедной, она цинично рассчитывала, что развлечения ее оплатят курортные мужчины, с которыми она, вне всякого сомнения, познакомится. В сложившейся финансовой ситуации не могло быть и речи о том, чтобы снять комнату. После объявления последнего танца (весь вечер Анна неуклюже, но с упоением вальсировала с живоглазыми курортными кавалерами, а молодой негодяй злобно наблюдал за ней, стоя рядом с некрасивыми нетанцующими пожилыми дурнушками), они подошли к глубокоглазой, красивой и важной ленинградке Маргарите и объяснили ей ситуацию. Маргарита, грустная и одинокая, была настолько хороша и по-королевски величава, что мужчины очевидно боялись приглашать ее танцевать, пожав плечами, сказали глухим низким голосом: "Я все понимаю. Уже очень поздно. Пусть твой брат переночует у нас".

Читатель, облизываясь, ожидает, что сейчас последует сцена оргии мальчишки с двумя большими женщинами. Не все так

просто в этом мире, дорогой читатель. Женщины и плетушийся за ними юноша-монах покинули танцевальный зал, провожаемые взорами многочисленных грубых мужланов. Грубые, но робкие самцы ощупали завистливыми взглядами зады двух (по оценке книгоноши) самых сексуальных женщин, присутствовавших в санаторном клубе. — Если бы не ты, Эд, я бы закрутила роман с этим красивым летчиком! — шепнула "брату" Анна при выходе. Ее начали повидимому раздражать вырисовывающиеся впереди препятствия и неудобства пребывания "брата" в Алуште.

Дежурная не пустила брата в корпус. "После десяти вечера мужчинам вход воспрещается!"

— Да какой он мужчина! — воскликнула Анна зло, и восклицание это, вызвавшее улыбку ленинградки Маргариты, брату не понравилось, хотя он и промолчал.

Дежурная была непреклонна. "Мужчинам нельзя". Юноше пришлось сделать вид, что он уходит, и еще час пробродить среди холодных деревьев и скал, прислушиваясь к равномерной работе волн, прежде чем санаторий уgomонился и уснул. Кажется никем не замеченный, он пробрался во двор и, хрустя гравийной дорожкой, пришел к нужному корпусу. По старой колонне, цепляясь за обильные архитектурные излишества, он влез на балюстраду, огибающую весь второй этаж. С балюстрады (Анна открыла ему окно) он легко вошел в комнату Анны и Маргариты.

— Все в порядке? — спросила со своей постели невидимая в темноте грустная Маргарита.

— Да-да, — сказала Анна. — Все в порядке. Спокойной ночи.

Ночь, однако, получилась беспокойная. Пошептавшись, они все же сошлись на том, что Эду, как брату, следует лечь на полу, рядом с кроватью Анны. И он улегся, раздевшись до трусов, на одно из санаторных теплых одеял, накрывшись своим пальто. Анна, в шелковом халатике, некрасиво обтягивающем ее большое тело и выпячивающем ей живот, улеглась на кровать, и дружно щелкнули, провалившись и натянувшись, пружины кровати. Некоторое время они лежали так, молча, и Эд пытался определить, спит ленинградка или нет. Раздражен-

ный подкалываниями Анны, отрицанием его мужественности, намеками на счастливую сексуальную жизнь, которую вела бы Анна, если бы не его приезд, книгоноша решил, что он обязан покуситься на тело наглой еврейской женщины. Ленинградка, кажется, спала.

Он привстал, поднял руку и, коснувшись рукой кровати, повел руку дальше и опустил ее на что-то, оказавшееся рукой Анны. Погладив шелковый рукав, он спустился до того места, где рукав обрывался, и, заминая рукав, закатал его с руки Анны вверх. И погладил саму руку ниже локтя. Против ожидания, рука Анны была мягкой и нежной, как у ребенка. "Сама Анна злая была сегодня и колючая, однако рука ее, надо же, вовсе не такая", — подумал книгоноша. С мякоти он спустился на твердую площадку маленькой ладони Анны и потоптался там, поглаживая.

Разумеется, он был робок. Робок, как его любимый Жюльен Сорель, крадущийся в спальню мадам де Реналь. Но еврейской развратнице, затаившей дыхание в темноте, нравилось это неуверенное исследование ее тела. "В каком, интересно, месте он коснется меня?" — мечтала она, и в предвкушении ласки все приготовившиеся к ласке места приятно покалывало. Когда же ей показалось, что юноша слишком долго задержался на исследовании ее ладони, Анна просто и естественно взяла его руку и, раздвинув халатик, положила руку себе на грудь.

Целую вечность топтался он на сосках, и когда она уже думала опять помочь нерешительному и указать его руке путь в другие ее области, он вдруг широким движением проехал по ее животу, горячая рука юноши легла на аннины лучшие трусики желтого шелка и, пощупав их, мгновенно нырнула в них, распарывая спутавшиеся между собой волоски. "Как от нее воняет, — подумал наш герой, забираясь в постель и стараясь делать это бесшумно. — Как от большого зверя".

Нет, он не погрузил свой церемониальный жезл в горячий источник, бьющий из глубин еврейской женщины в ту ночь. Помня о ленинградской красавице, они заставили себя ограничиться ручными ласками. К середине ночи ласки, однако, превратились в страдания, поскольку все повышающаяся температура не могла естественным образом закончиться закипани-

ем. Температура росла, увеличивалась, и вдруг на полном ходу аппарат выключали. Прodelав эту термооперацию несколько раз, оба они безумно измучились и безумно устали. Так устает человек, которого сотрясают приступы хохота, но увы, он обязан хохотать беззвучно. Под шорохи, вдруг начавшие доноситься с кровати Маргариты, они уснули.

Вечером следующего дня они напились шампанского в компании Маргариты и того самого красивого летчика, с которым Анна завела бы роман, если бы "брат" не появился в Алуште. Логическим завершением дружеской попойки было вторичное прибытие "брата" на ночлег в палату женского корпуса санатория. Летчика привередливая Маргарита отослала домой.

Как все не попавшиеся на первом преступлении рецидивисты, они вели себя во вторую ночь куда более развязно и нагло. Нет, жезл юноши так и не был погружен в еврейскую женщину, но дела уже зашли настолько далеко, что похихикивая, женщина играла жезлом, счастливая тем, что "он" существует. Сжимая "его" маленькими руками, она счастливо шепнула юному книгоноше, что вплоть до этого момента считала его импотентом. Ощупав все уголки друг друга и убедившись, что с ними все в порядке, они, повеселевшие, теперь лишь ожидали подходящего момента. Если бы сезон был летний, они бы давно уже совокупились на ночном пляже или в горах. Собственно, и в далеко не студеную крымскую зиму они вполне могли бы совокупиться под открытым небом, и они пытались, да. Несколько раз "брат" клал Анну на голые камни, оголив нижнюю часть ее туловища, но всякий раз появляющийся неизвестно откуда ухмыляющийся краснорожий старик в белой кепке и с палкой (Анна утверждала, что это один и тот же) высовывал голову из-за дерева или скалы.

Величая Маргарита не выдержала напряжения на третью ночь. В момент, когда Анна, держа во рту жезл молодого человека, ползала животом и мокрой щелью по его (музыкальным, как Анна утверждала) пальцам, ленинградка резко вскочила с постели, набросила поверх ночной рубашки халат и вышла, хлопнув дверью.

— Пошла за дежурной! — прошептала Анна.

Влюбленные вскочили и стали искать, куда бы спрятаться. Анна, голая, сияя в темноте большими ягодицами, закрыла дверь на ключ. Собственно, спрятать нужно было только "брата", Анна Моисеевна имела право находиться в санатории. Голые, они заматались по комнате. Анна включила свет, потом выключила его. За дверью послышались быстро приближающиеся шаги и голоса. Последовал настойчивый стук в дверь.

— Кто там? — спросила Анна, хотя отлично знала, кто там.

— Старшая дежурная. Немедленно откройте.

Почему он не вышел в окно и не спустился по архаической колонне бывшего дореволюционного дворца, а ныне санатория (он ведь по ней трижды вскарабкивался в корпус), понять трудно. Скорее всего потому, что он успел натянуть только трусики и брюки. Гораздо более нелепым и унижительным казалось ему позднее то, что он последовал совету Анны, сказанному свистящим шепотом: "Полезай под кровать, Эд! Не будут же они искать под кроватью..." Он полез под кровать, а Анна, схватив в охапку его пальто и все другие черные тряпочки его, выбросила их на балюстраду и закрыла окно.

— Откройте, Рубинштейн, не то я вызову милицию.

— Что вам нужно? Почему вы барабаните среди ночи в дверь? Уходите и не мешайте мне спать! — Анна сделала вид, что переворачивается в постели, на самом же деле плюхнулась в постель.

— Нам сообщили, что у вас в комнате находится мужчина.

— Ложь. Здесь никого нет. — Анна наконец встала и, накинув халат, отперла дверь.

Две дежурных и мордатый мужик, служащий, должно быть, вышибалой в женском санатории, вошли в комнату и едва ли не немедленно заглянули под обе кровати...

36

Влюбленного юношу выставили из санатория в холодную природу немедленно, и остаток ночи ему пришлось провести в скалах над морем, созерцая светлеющее медленно небо. Анну

Моисеевну выставили из санатория за моральное разложение на следующее утро. И хотя Анна Моисеевна, собирая вещи, высказала "суке Маргарите" все, что она о ней думает, настроение у Анны и ее брата, когда они, сидя в модном и холодном кафе-стекляшке, пили портвейн, закусывая его крутыми яйцами и жирной сухой колбасой, настроение было паршивое.

Самое неприятное, однако, ожидало Анну впереди. Санаторий книго-издательской промышленности принадлежал профсоюзу, и по приезде в Харьков Анну уже будет ожидать высланная из Алушты в книго-торговый профсоюз выписка из приказа по санаторию об ее отчислении. И на "аморалку" (как в просторечии называлась выписка из приказа об отчислении за аморальное поведение) книжное начальство Анны обязано будет прореагировать. Анну могут выгнать с работы — вот что это означало. Работать в "Поззии" было веселее и престижнее, чем в любом другом книжном магазине, и Анна своим местом дорожила.

Анна во всем обвинила "брата". — На кой я связалась с тобой, с малолетним, — причитала Анна, жуя яйцо. — Жила бы себе припеваючи без тебя здесь. Ко мне из военного санатория такой полковник подкалывался! Или встречалась бы с летчиком... Как его... Борис... Пила бы только шампанское, закусывая шоколадными конфетами. А так, что вот будем делать? Денег у тебя нет, Эд!

— У тебя их тоже нет! — буркнул мрачный "брат". — И что, если бы под кроватью вместо меня они нашли бы летчика Бориса, думаешь, они бы тебя не отчислили?

— Прав был мой первый муж Гаско, Гастон Миронович, сумасшедшая ты, Анютка! — Анна вынула зеркальце и, подкрашивая глаза, начала один из характерных своих монологов, обращенных к Анютке. — Ой прав был Гастон Миронович...

— Ну и имячко дали человеку родители, — скривился "брат". Прощлое Анны его раздражало.

— У тебя-то что, лучше? Э д у а р д . Как в оперетте. И отчество — Вениаминович. Ты, наверное, все же еврей, Эд. Отец у тебя Вениамин, мама — Рая, и человек утверждает, что он не еврей... Ха-ха-ха! Кстати, в пьесах и фильмах Эдуард Вениаминович — всегда отрицательный герой, предатель, интеллигент с

бабочкой, совращающий невинную молодую девушку. Обычно он лыс.

— У меня волос хватает, — обиженно книгоноша провел рукою по голове, дескать, вот мои волосы, — а вот твой Гастон Миронович, говорят, уже последние потерял.

Отложив зеркальце, Анна вдруг замолчала, глядя в никуда, мимо головы "брата". — Слушай, Эд. Есть идея. Эта сука, оставившая меня больной в восемнадцать лет, живет ведь тут недалеко, в Симферополе. Пусть он даст нам немного денег, не то мы явимся и разнесем всю его проклятую семью и изнасилуем его детей... Ну-ка, идем на телефонную станцию!

Так они стали шантажистами. В будущем им предстоит стать спекулянтами, частными предпринимателями, мелкими жуликами... — нарушить, может быть, с полдюжины советских законов...

* * *

Совокупиться в первый раз им удалось только в Харькове. Вернувшись в родной город, авантюристы первым делом отобедали в ресторане гостиницы "Харьков". При этом им не хватило денег, и Анне пришлось оставить в залог часики. Вернувшись в комнату с уже зажегшимся кровавым призывом "Храните деньги в сберегательной кассе!" в окне, они улеглись в постель. Там-то в девичьей постели Анны Моисеевны, узкой и твердой, чувствуя себя до крайности неловко, наш герой провалился впервые в горячий источник еврейской женщины. Имевшая несомненную слабость к развращению малолетних, тщеславная Анна впоследствии утверждала, что молодой негодяй до встречи с ней был девственником, как Толик Беспредметник, и что это она сделала его мужчиной. Увы, мы, кому открыта истина, вынуждены вырвать один лист из лаврового венка Анны Моисеевны — Дефлорительницы Девственников. Несмотря на девственную робость в обращении с тяжелым телом Анны Моисеевны, до встречи с ней наш герой уже множество раз осквернил свое тело, соединяя его с костлявыми телами молоденьких окраинных потаскушек.

В ресторане "Харьков" они съели по тарелке украинского

национального блюда — борща с пампушками. Пампушки оказались, в соответствии с национальным рецептом, обильно политы натертым чесноком, и посему теперь любовь их пахла не только сильно и густо — Анной, слабее и тоньше — Эдом, но и тяжело и удушливо — чесноком. Книгоношу удивила и испугала разница между Анной и худосочными отроковицами рабочего квартала. Еврейская женщина, доставшаяся ему, освобожденная от чешуи одежды полностью, оказалась могучим животным тяжелого веса, таким белокожим гиппопотамом. Гиппопотамий зад, широкие ляжки и груди женщины — во всем этом месиве плавал наш герой, воображая себя необрезанным худым евреем Шагала. Сказать, что богиня Деметра не возбудила его, было бы величайшей несправедливостью к рубенсовской женщине Анне. Книгоноша побывал в рубенсовской туше множество раз в "брачную ночь" и всякий раз оставил в даме частицу себя. Каждый отдельный акт, увы, не длился долго, ибо перевозбужденный новым опытом книгоноша не умел и не хотел контролировать свои чувства.

С первыми лучами Авроры, тотчас занявшимися рентгеноскопией занавески на окне, новая возлюбленная предложила книгоноше показать себя. Смушаясь, гиппопотам встал и полубоком, чуть согнув колени, попозировал перед постелью, даже проделав несколько па. "Я очень большая", — заключила парад дочь еврейского народа и нырнула под одеяло.

— Ты красивая, — соврал книгоноша и обнял Анну. (Ему полагалось бы сказать "Я тебя боюсь!"). Анна и была красивая, но следовало быть поклонником Рубенса, чтобы возлюбить мясомассу Анну.

Засыпая и обнимая свою подругу в том месте, где условно должна была находиться талия, наш юноша чувствовал себя так, как будто совершил нечто нехорошее, может быть преступление. Это же чувство, но в очень разбавленной, ослабленной концентрации будет сопровождать все его совокупления с Анной в будущем. Объясняется комплекс преступления без сомнения тем, что сексуально Анна не была, как выражаются англичане, его "чашкой чая". Добрые чувства к Анне, которые неизменно испытывал во все годы их отношений наш герой, также не помогали их сексу, ибо капризный бог Фаллос, нагло по-

прав христианские ценности, решительно предпочитает поднимать свою тяжелую красную голову от чувств злых. Отвлекаясь от их секса, правильнее было бы охарактеризовать их отношения как содружество двух людей, нуждающихся друг в друге. Никогда официальным образом не зарегистрированное сожителство Анны и Эда было по сути дела настоящим браком в лучшем смысле слова, *браком по расчету*, каковой, как теперь доказано, является наилучшей возможной формой брака.

Получила ли подруга-гиппопотам удовольствие от брачной ночи? Да, но... Скажем откровенно, не боясь нанести ущерб мужской репутации нашего героя, впереди у него немало побед, что удовольствие, полученное ею, было скорее удовольствием психологического чем физиологического свойства. Впоследствии они мирно сосуществовали в постели, никогда не пытаясь выразить в словах отношение каждого к совместному сексу. Однако юноше будет всегда казаться, что, возможно, некий самец Х. мог бы принести Анне Моисеевне куда больше сексуальных удовольствий, чем он, Эд. Толик Кулигин, например (вскоре почти исчезнувший из их жизни, спасибо, Люцифер!), был, судя по нескольким замечаниям Анны, уроненным здесь и там, "очень хорошим мужчиной". Редко, но Эд хмуро размышлял все же на тему термина "очень хороший мужчина". Он еще не понимал, бедняга, что "очень хорошим мужчиной" будет он, Эд, безотказно всякий раз, когда женщина, находящаяся с ним в постели, будет соответствовать его идеалу "очень хорошей женщины".

37

Генка и Цветков играют в шахматы. Генка встречается с бывшей женой всегда на нейтральной территории. Чаще всего в квартире Цветкова. Под столом с шахматной доской сидит генкин сын Алеша и строчит в маму Ольгу и девушку Цветкова — красивую хроменькую Лору, расположившихся на диване с бокалами шампанского, из пулемета. Игрушечного пока еще.

Эд не любит детей. Генкин сын кажется ему недостойным

Генки — трехлетний блондин с как бы вымоченными в воде чертами лица, "дегенератиком" называет его Эд про себя. Вот генкин отец — Сергей Сергеевич с физиономией мафиози, и Генкина мать — экс-актриса — достойны Генки. Бывшая жена Ольга? Возможно, хотя Ольга могла бы выглядеть классней. Супермену Генке подходит, без сомнения и скидок, Суперменша — его нынешняя девушка Нонна.

— Хотите шампанского, Лимонов? — Генка отводит взгляд от доски. Иногда, по настроению, они называют друг друга на "вы" или по имени-отчеству.

— Хотим. — Эд не любит, когда играют в игры, особенно в такие занудные и молчаливые, как шахматы. Когда-то в детстве он извел немало вечеров с Гришкой Гуревичем, играя в шахматы или в карты. Но странным образом с исчезновением из его жизни лягушонка Гришки исчез и интерес Эда к любого вида играм. Трата времени, лучше поговорить.

Получив бокал с шампанским из рук хроменькой Лоры, Эд садится рядом с девушками на потертый красный диван Цветкова.

— Эд? — Цветков двигает черного коня по полю в сторону Генки. — Шах!

— Да, я вас слушаю?

— Генка мне сказал, что ты приятель с Василием Ермиловым? Ты можешь меня познакомить? Я хочу купить у него картину.

— Ну, это Геннадий Сергеевич перегнул палку. Какой приятель. Знаком я с ним, это да. Бах вот его хорошо знает. Это он меня отвел к Ермилову на чердак. Старику, правда, понравились мои стихи, во всяком случае он так сказал. Он даже предложил мне проиллюстрировать их... А почему ты вдруг решил купить у Ермилова картину?

Мускулистый Цветков поворачивается к Эду вместе со стулом. — Понимаешь, Эд, был у меня тут один мужик из Киева. Так он утверждает, что сейчас самое время покупать русский авангард двадцатых годов. Мол, через несколько лет эти вещи будут стоить больших денег. Он же мне и сказал, что самый крупный художник двадцатых годов, оставшийся в живых, живет в Харькове. Знаешь, говорит, такого Ермилова?

Если ты сумеешь прорваться к нему, Цветков, — сказал он мне, сделаешь хорошие деньги в несколько лет. Весной, он сказал, жена Константина Симонова приезжала к Ермилову и купила у него пять работ.

Цветков называет себя бизнесменом. Фарцовщики тоже называют себя бизнесменами, но в отличие от них бывший боксер не бегает за иностранцами, скупая у них "обосранные джинсы" (выражение самого Цветкова). Цветков занимается куплей и продажей старого искусства — мебели, часов, серебра и золота в любом виде, и постепенно откочевывает все дальше и дальше, в страну старых гравюр и картин. Генка утверждает, что Цветков зарабатывает очень приличные деньги. Начал Цветков с того, что купил у наследников умершей соседки все содержимое ее комнаты за 250 рублей. И сдал тотчас доставшееся ему наследство в комиссионный магазин, выручив 1300 рублей одним махом. Произведя эту случайную операцию, Цветков сел, подумал и решил, что подобные операции — и есть его жизненное призвание. (Как мы с вами знаем, Эд натолкнулся на свой источник существования — стал шить брюки — тоже совершенно случайно). Цветков очень ценит свою дружбу с Генкой и знакомство с Сергеем Сергеевичем Гончаренко, ибо двести пятьдесят рублей на покупку старушкиного наследства занял тогда неимущему Цветкову именно старший Гончаренко, удовлетворившись объяснением Цветковым цели займа. Деятельность Цветкова в отличие от деятельности фарцовщиков полностью легальна, государство еще не успело переварить новые методы добычи денег частными лицами, еще не придумало, каким образом оно может предъявить право на свою, кесареву долю бабушкиного наследства.

— Ты можешь познакомить Цветкова с Ермиловым? — сделав ход, Генка обернулся к приятелю.

— Попытаюсь... Бах сделал бы это в два счета... Я, честно говоря, даже не помню точно, где он живет. На улице Свердлова, под крышей.

— Вспомни, Эд! Это очень важно. Получишь комиссионные.

— На кой мне твои комиссионные, — внезапно злится Эд. — И так познакомлю, если смогу. — Все они, бизнесмены, оди-

наковы, и те, которые фарцовщики, и те, которые нет. Комиссионные он мне даст! Почему-то ему не хочется, чтобы картины Ермилова попали к Цветкову. "Не буду знакомить жулика со стариком", — дает он себе слово.

* * *

Старик Ермилов принял их вежливо, но отнесся к представленному Бахом "поэту" без особого энтузиазма. Можно было понять старика. Во-первых, старики вообще относятся к юношам без энтузиазма. Плюс, Хлебников был таким же близким его другом, как Эд — друг Баха. Хлебников жил у Ермилова. Ермилов иллюстрировал поэмы Хлебникова, и это он, Ермилов, подделал подпись харьковского комиссара по печати, сам написал красным карандашом "Разрешаю" на просьбе напечатать в литографской мастерской харьковской железной дороги поэму Хлебникова "Ладомир". Каких поэтов может выносить Ермилов, когда единственный гений русской поэзии двадцатого века читал ему в дни его юности только что написанные стихи! Мышиным писком должны казаться ему после дивных песнопений Хлебникова строки современных советских недорослей. Непреклонный Бах, не обращая внимания на локтевые тычки и гримасы, настоял на том, чтобы юноша прочел Ермилову стихи. Покрывшись потом даже в тех местах, которые не потеют никогда, развернув тетрадку, поэт открыл рот:

Этот день невероятный
Был дождем покрыт
Кирпичи в садах размокли
Красностенных домов

В окружении деревьев жили в домах
Люди молодые старые и дети :

В угол целый день глядела Катя
Бегать бегала кричала
Волосы все растрепала — Оля

Книгу тайную читал
С чердака глядя украдкой мрачной — Федор
Восхитительно любила
Что-то новое в природе — Анна...

Старый художник заметно оживился. — Читайте еще, — сказал он, заскрипев деревянным креслом, — что же вы остановились? — Юноша, пот высыхал, прочел еще несколько стихотворений.

— Ну что? — Бах торжествуя глядел на Ермилова. — Я вижу — вам понравилось.

— Д-дааа... — Ермилов медленно подбирал слова. — Это интересно. Я, знаете ли, был твердо убежден, что со времен моей юности молодые люди в нашей стране разучились и чувствовать и писать. Но то, что прочел ваш друг, Вагрич Акопович... — старательно и осторожно произнес имя-отчество Баха старый художник, почему-то обращаясь только к Баху, — мне напомнило мою юность и стихи людей, которые меня окружали... Я ведь, знаете, дружил не с одним только Велемиром. Я знал и Божидара, и иллюстрировал стихи Елены Гуро. Кстати, я вам сейчас покажу одну книжку Гуро с моими иллюстрациями. — Старик полез в сундук, стоящий как стол посередине чердака, и попросив Вагрича подержать крышку, стал рыться в глубоком сундуке.

Наш поэт наблюдал эту операцию со смешанными чувствами уважения и грусти. И позднее всегда при лицезрении старых людей, не сумевших добиться успеха при жизни, оттесненных или историей и неуспешно сложившимися обстоятельствами, или заслоненных от успеха более смелыми и талантливыми сотоварищами, нашего юношу будет посещать грусть. Старик в свитере, седой, с горделиво сложенными губами (есть такая, знаете, особая гордая манера складывать губы), извлек из глубин сундука книжку-раскладушку большого формата, похожую на современные детские книги — крупные литеры текста переплетались с кубистическими формами. Когда тебе двадцать один год и тебе показывают предмет искусства, сделанный еще до рождения твоего отца, ты можешь реагировать исключительно восторженно, критический факультет отказывается работать. Возможно, если бы нашему герою было тридцать

лет или больше (в этом возрасте мужчина обычно уже зол и еще самонадеян), он ухватился бы за свое первое впечатление, за похожесть раскладушки на детские книги, и развил бы его, дойдя до признания аляповатости и некоторой домосделанности книги. Но тогда он нависал над положенной на крышку сундука книгой со священным трепетом в душе. Трепетал он скорее исторически, как будет позднее трепетать в Египетских залах музеев мира, склоняясь над многотысячелетними экспонатами.

Чуть пошаркивая ногами в крепких башмаках по полу кубистического чердака, старик прошел в дальний угол и выдвинул из стены плоскость со стоящей на плоскости электроплиткой. Около пятидесяти лет назад молодой профессор Академии Художеств с челкой до бровей получил в пользование чердак и перестроил его согласно своему кубистическому вкусу. В те еще времена, когда по словам его друга Велемира "странная ломка миров живописных / Была предвестием свободы / Освобожденья от цепей". Давным-давно ушел в новгородскую землю Велемир, а вслед за ним в нежном возрасте умерла русская свобода, а все еще существуют плоскости, задуманные Ермиловым раньше Брака, как утверждает Бахчанян, и на одной из плоскостей гордый старик заваривает для молодых людей чай. Дед заваривает внукам. Отцы погибли или не присутствуют. Отцы как бы девиация, кривая гадкая ветка, отклонение от здорового дерева истории. Отцов игнорировали (впрочем, они сами виноваты, увлекшись побочными занятиями, заигрались в сыщиков и воров), и вот чашки крепко заваренного чая переходят из охлаждающихся рук деда в горячие руки внуков.

Старики всегда кончают чаем. Уже через несколько лет другой старик — Евгений Кропивницкий, тоже спасшийся случайно в потасовке мужланов-отцов, под Москвой, в поселке Долгопрудная будет поить нашего юношу крепким чаем. Старики к концу жизни выучиваются заваривать замечательный багровый, с глубоким вкусом чай, вливающий восточную свежесть и трезвость в жилы измученных алкоголем и безволием молодых советских разночинцев. После Кропивницкого нашего юношу будут поить чаем еще два старика несколько иного

сорта: Лиля Брик и Василий Катанян. Так от старика к старику будет двигаться наш герой по жизни.

— А почему бы вам, Василий Яковлевич, не проиллюстрировать стихи Лимонова? — говорит вдруг наглый Вагрич, они уже стоят у двери, аудиенция подошла к концу. Лицо нашего юноши заливают краска стыда, невидимая на его плоти с глубоко залегшими под кожей кровеносными сосудами, но температура поверхности лица повысилась на несколько градусов, вне сомнения. — Бах! Ты что... — зло толкает он локтем друга.

Менее строгий и менее гордо выглядящий, подобревший к концу визита Старый Художник неожиданно соглашается. — А что! Можно потряхнуть стариной, Вагрич Акопович. Подготавливайте стихи и приходите. Только, пожалуйста, не больше десятка стихотворений. В ваше время стараются втиснуть в книгу как можно больше. В мое время старались сделать книгу стихов интереснее. "Лучше меньше, да лучше!" — как говаривал Предсовнаркома Владимир Ульянов Ленин...

Некоторое время идея книги стихов с иллюстрациями Ермилова волновала юношу. Сам Ермилов, друг Хлебникова, человек, каталог персональной выставки которого с дырой (как для пальца в палитре) был выпущен, а затем запрещен и изъят!.. Сам Ермилов, человек, которому поручили сделать проект советского павильона на Всемирной выставке 1937 года (модель павильона из папье-маше Эд видел в жилище художника. Ермилов впал в немилость, и проект никогда не был осуществлен)... Сам Ермилов сделает иллюстрации к его стихам! Может быть, Ермилов несчастливо жил в эпоху неосуществляемых проектов, или его личная неудачливость была столь велика и всемогуща, можно только строить догадки. Проект совместной работы с представителем племени младого, но напоминающего, наконец, племя ермиловских сверстников, разделит судьбу многих других неосуществившихся проектов. Юноша вскоре уехал в Москву, Ермилов вскоре умер. Жаль, разумеется. Может быть, это была бы прекрасная книга.

— Ты знаешь, Васю хотят восстановить в Союзе художников? — сказал Бах, когда они вышли на улицу Свердлова.

— Зачем ему это нужно? — удивился поэт.

— Нам этого не понять... — Вагрич вздохнул, — ... для не-

го быть членом Союза — очень важно. В наши годы Вася уже был профессором Художеств. Вся его жизнь прошла в художниках.

Эд не понял, какая связь между жизнью, проведенной в художниках, и членством в презируемом и Вагричем и Эдом Харьковском отделении Союза художников, но не стал углубляться в проблему. У старика Ермилова, может быть, начинается маразм. Как все молодые люди, Эд в самой глубине души презирал стариков, и относил их к категории слепых и горбатых. Юность жестока не разумом, но инстинктами своими, всякий здоровый физически юноша — фашист, хотя будет упрямо отрицать это и побьет вас, если вы станете на своем мнении настаивать.

— Ты знаешь, — Бах почему-то подозрительно оглянулся вокруг. Они шли по направлению к Советской площади, к Главному универмагу, чтобы подняться вверх на холм, на улицу Свободной Академии, которая впадает в Рымарскую, — возвращались в родной Автомат. — Ты знаешь, Вася ведь в оккупацию того... немного сотрудничал с немцами...

— И его не посадили после войны? — изумился Эд.

— Ну, он не то что сотрудничал физически, не в полициях, конечно, служил. Но делал для них плакаты, объявления, работал на культурном фронте... — Некоторое время они шли молча, Вагрич своими обычными удлиненными шагами, Эд — чаще и быстрее. — Его можно понять, — продолжил Вагрич, — коммунисты загубили Васе и жизнь и карьеру. Он начинал лучше крупнейших европейских авангардистов того времени, а кому он известен сейчас? Можешь себе представить, как он был зол на них в 1941-м и как был рад, что пришли немцы! Тем более до Петербургской школы живописи, ваяния и зодчества он был в Германии, учился некоторое время там, сохранил о немцах хорошие воспоминания...

— А почему, ты думаешь, Бах, так получилось, что реалисты захватили власть в советской культуре? В революцию и сразу после революции ведь авангардисты стали главными. Не реалистам, а Татлину с ребятами ведь поручили украсить Красную площадь к первой годовщине революции. (Татлин родился в Харькове. Автор проекта башни Интернационала, не долго

думая, выкрасил все деревья на Красной площади в красный цвет. Из распылителей). Ведь что творилось, Бах, какие люди тогда работали! Как же их оттерли, кто виноват?

— Кто? Коммунисты, конечно! Что ты, Эд, как маленький, не понимаешь, что ли?

— Погоди, но ведь вначале-то коммунистам подходил авангард. Даже в провинциальном Витебске, в глуши, кто-то ведь назначил Марка Шагала, а не кого другого Народным комиссаром культуры. Да и Луначарский, что бы сейчас не пиздели, понимал авангардное искусство. Только уже где-то в конце двадцатых годов стали оттирать авангардистов с общественной сцены за кулисы и лишать их куска хлеба. Но лет десять-то они продержались.

— Я думаю, эти десять лет ушли у коммунистов на выяснение собственных вкусов. Первые четыре года вообще гражданская война была, не до искусства было. Потом была "разруха", как они говорят, а когда руки наконец до искусства дошли, тут они себя и показали, новые властители, свою козье-племенную сущность.

— А я считаю, Вагрич, что после гражданской войны, отеснив постепенно сделавших революцию "шиз", таких как мы, Вагрич, к власти пришли другие люди, совсем другие — функционеры. Профессия функционера — не разрушать государства, а управлять ими. Так как функционеры по природе своей консервативны и буржуазны, они и стали поощрять то искусство, которое им только и было близко и доступно — реализм.

— Все коммунисты одинаковы, Эд. И те, что делали революцию, и те, что потом пришли.

— Ни хуя подобного. Я тебя уверяю, Вагрич, что если бы мы жили не сейчас, а в то время, мы были бы с Лениным и его ребятами, а не с выжившими из ума ебаными господствующими классами.

— Ну и погиб бы ты в тридцатые годы в лагерях.

— Я не погиб бы...

— Ой не пизди, Эд, и не такие, как ты, сгинули в ГБ.

— Сгинули, потому что за власть борьба шла. Все были не ангелами. Вон Мейерхольд грозился арестовать Эренбурга, а

знаменитый Блюмкин, убийца посла Мирбаха, почитатель Гумилева, чего стоит! Теперь все пиздят после драки, и получается так, как будто те, которые погибли, были милейшие люди, а те, кто выжил или умер своей смертью — злодеи и монстры. Судить историю с позиций другого времени — глупо. Все это была одна кодла. У нас такие же нравы, только в мирное время — мирные средства. Вместо засады, которую ты устроил Сашке Черевченко за то, что он с твоей Иркой у подъезда постоял, вместо нескольких ударов кулаком Виктора и тычков сапожками мсье Бигуди, в те времена ты бы Сашку к стенке поставил. Потом, разумеется, пожалел бы поэта...

Бах улыбается. И ему, и Эду предстоит еще не раз пересмотреть свои взгляды на окружающий мир и подправить их в соответствии с опытом каждого нового этапа жизни. Бах задержится в истории нашего юноши куда дольше других персонажей, потому имеет смысл остановиться на некоторое время на "армянине с большими ступнями", как называл его Ирошкин папа, милейший интеллектual — владелец небольшой фетишистской коллекции стелек, выкраденных из женской обуви. Однако до этого следует сообщить читателю хотя бы самые элементарные сведения об отношении нашего главного героя юноши-поэта к власти имущим.

Есть множество людей, которых закон неизменно отталкивает. При ситуации 50% на 50% они всегда предпочтут нелегальное решение проблемы легальному. Таков и наш поэт.

Еще мальчиком он инстинктивно не любил представителей власти. Сейчас уже трудно выяснить, чего было больше в отталкивании Савенко от власти предрежащих: смущения или боязни. Как бы там ни было, как мучительные ему вспоминаются часы, проведенные им в официальных учреждениях. И мучительными же были для него столкновения со всеми представителями власти, будь они заведующими отделов кадров, или начальниками цехов, где он работал, бригадирами, которые им руководили, начальниками милиции, к которым его приводили

несколько раз в жизни, и им подобными важными личностями. Разговаривая с "начальниками", Савенко-Лимонов, юноша, в общем, развитой, начитанный, — потел, кашлял, глотал слюну, не знал, куда девать руки, отвечал на вопросы невпопад. Отделы кадров предприятий, куда он намеревался (но очень не хотел) поступить работать, пугали его, как, может быть, первых непритворных христиан пугал воображаемый ими Ад... Обдавал вонью неопорожненных пепельниц, вонью человеческих тел и одежды, гадкими стенами, несвежей мебелью. Кулуары Ада были начинены груболицыми и мясомассыми посетителями и грубыми же нанимателями. И с каким же счастьем не принятый на работу юноша выбегал из пещеры очередного отдела кадров в свободу улицы, в желтый летний зной или под мягкий пушистый снег, валяющий с неба, и брел, стараясь не пользоваться городским транспортом, дабы насладиться не устроенной на работу природой и отдалить свидание с родителями, ожидающими, чтобы сын наконец стал "как все" — т.е. нашел себе место, к которому он будет затем прикован всю жизнь.

Может быть именно по причине робости и физического отворачивания к коллективу и в особенности к его лидерам и вдохновителям — лицам официальным, Савенко-Лимонов с помощью случая и Анны Моисеевны уже в 21 год и изобрел себе одиночную профессию — стал портным-"надомником". Несмотря на то, что подобный частно-предпринимательский способ зарабатывания денег был нарушением мелкого гражданского закона номер бог знает какой-то, Савенко-Лимонов умудрился прожить на Тевелева 19 без единого конфликта с властями... если, впрочем, не считать одного случая.

* * *

"Ля бет нуар" каждого русского литературного произведения, желающего быть современным, — К Г Б (эти три буквы заставят сладостно вздрогнуть сердца читателей мазохистов. Наконец, пусть и к концу книги, на двухсотых страницах, но наконец!) рано или поздно обязан появиться на сцене. Явился зверь и на Тевелева 19. Впрочем, сразу же оговоримся, что не свежий юный поэт был причиной появления представителя

славной организации старшего лейтенанта Сороки в комнате с уже ярко раскрашенными стенами, но предполагаемый обмен секретной информации на джинсовый костюм и пачку журналов "Пари Матч", только что состоявшийся в гостинице "Харьков" между авангардистом Бахчаняном и неким туристом — проезжим французом. Переводчиком шпионам послужил мсье Бигуди. При чем здесь юный поэт и его толстая красотка — сожительница Анна? Объяснение простое. Заметив за собой слежку, горе-шпион Бахчанян не нашел ничего лучшего, как забежать в дом на Тевелева 19. Уже находясь в комнате-трамвае, горе-шпион решил показать красавице-толстухе стоящего у холодильного техникума лейтенанта Сороку. Лейтенант, высоко задрав голову, обозревал фасад дома номер 19. Ни начинающий подпольщик-армянин в двух костюмах, ни поэтическая Муза (иногда Анна действительно напоминала Музу с известной картины "Аполлинер и Муза" кисти таможенника Руссо, но с красивым лицом) не имели никакого криминального опыта, посему Анна выставила себя в окне на обозрение лейтенанта Сороки и, что хуже того, выставив, поспешно отскочила от окна. Имеющий большой криминальный опыт юный поэт тотчас выругал обоих, заявив, что через несколько минут "тип" позвонит в дверь.

Так и случилось. На настойчивые звонки Анна не вышла. Вышла раздраженная Анисимова и отперла лейтенанту. В момент, когда костяшки лейтенантского кулака забились о дверь комнаты-трамвая, Анна и шпион забегали по трамваю, пытаясь спрятать вещественные доказательства — журналы "Пари-Матч". Джинсовый костюм француза, как мы уже знаем, был надет шпионом поверх его харьковских одежд. Пометавшись, Анна Моисеевна рывком открыла стоящий у окна сундук, бросила туда журналы и, отперев дверь, прошагала опять к сундуку и уселась на него массивным задом.

Читатель, приготовившийся к сцене обыска, пыток и ужасов, должен, увы, срочно перестроиться и приготовить себя к скорее комедийной ситуации. — Вы нас не интересуете, Анна Моисеевна, — сказал, едва войдя, лысый большеликий старший лейтенант в аккуратном сером костюме, сразу же продемонстрировав дьявольское всезнайство. Он знал имя и отчество Ан-

ны! — Нас интересует он! — Сорока указал на Бахчаняна в корящейся джинсовой куртке, прижавшегося к двери, разделяющей две комнаты Рубинштейнов, — и то, что он делал полчаса назад в гостинице "Харьков"! — Старший лейтенант посмотрел на Бахчаняна своим самым серьезным и суровым взглядом.

— Выйдите из моего дома! — крикнула Анна Моисеевна и поерзала задом по сундуку. — Кто вы такой?! Что вам нужно?! — Анна Моисеевна для пробы метнула несколько искр глазами.

Время от времени, для того, чтобы не лишиться пенсии, причитающейся ей как безумице первой группы, Анне Моисеевне приходилось являться на медицинские освидетельствования. Освидетельствования не всегда приходились на депрессивные или маниакальные периоды в жизни Анны Моисеевны. Когда они приходились на здоровые периоды, Анна Моисеевна упоенно играла шизу перед докторами. Сейчас она решила исполнить свой номер перед старшим лейтенантом.

— Что вам нужно! Убирайтесь вон! Я инвалид первой группы! Оставьте больную женщину в покое! — сквозь загар здоровый румянец вспыхнул на щеках больной женщины. Быстро загорающая Анна Моисеевна летом становилась невозможно, пышно, по-восточному красивой. Мы уже сравнили ее ранее с хризантемой. Старший лейтенант Сорока уставился на восточную женщину с любопытством и еле скрываемым восхищением. Он выглядел несколько перезрелым для своего звания. Возможно было предположить, что простолицый Сорока был возведен в кагебешники из милицейских практиков за проявленные на службе рвение и сообразительность. Глядя на него, можно было предсказать без труда, что лысеющий экс-спортивного вида блондин имеет некрасивую простую жену его же возраста, двух-трех уродливых детишек, короче говоря, было ясно, что личная жизнь старшего лейтенанта Сороки не изобилует изысканными развлечениями и необыкновенными происшествиями. И вот по долгу службы он очутился в раскрашенном абстракционистами и сумасшедшими веселеньком трамвае, рядом с красивой крупнозадой женщиной, голубые сумасшедшие глаза которой и полуседые волосы именно и возбуждали воображение мужчин типа старшего лейтенанта Сороки. Выйдя из оцепенения, он вынул из внутреннего кармана пид-

жака удостоверение личности и развернул его перед Анной. — Старший лейтенант Сорока. Комитет Государственной безопасности! — сказал он.

В этот момент общий вес природных преимуществ Анны Моисеевны — ее зад, глаза, волосы, интеллигентность и загадочность, в совокупности вдруг уравнился авторитетом и легендарностью организации, которая воображаемым зеленым динозавром, этакой могущественной Годзиллой, вдруг зарычала из-под потолка, возвышаясь за старшим лейтенантом и угрожающе помахивая лапами в сторону правонарушителей. — Как я уже сказал, вы нас не интересуете, Анна Моисеевна. Нас интересует, что делал Вагрич Бахчанян в гостинице "Харьков".

— Пожалуйста, спросите у него! Вагрич, что ты делал в гостинице? — Анна вскочила с сундука, очевидно забыв про журналы "Пари-Матч" под нею, но тотчас уселась опять. Сундук жалобно скрипнул.

Старший лейтенант улыбнулся. — О том, что он делал в гостинице, хорошо, он может рассказать нам с глазу на глаз, в другом месте. Сейчас меня интересует пластиковый пакет, с которым он вошел в ваш дом. Где пакет, Вагрич Акопович? — Сорока сделался строгим.

— Какой пакет, вы что, с ума сошли? — произнес Бахчанян, отлипая от двери. По его армянским глазам, неловко вздрогнувшим под густыми бровями, можно было понять, что он говорит неправду. Эду это было видно. Сороке, наверное, тоже.

— Пакет! — Сорока поправил положение пиджака на плечах, потянув его за лацканы вниз. — Где пакет? — Он вдруг нагнулся и заглянул под супружескую кровать Анны Моисеевны и Эда, на краю кровати сидел наш поэт в черных брюках и белой рубашке.

Циля Яковлевна и поэт только что, две недели назад, "вывели" из кровати стадо клопов, обжигая кровать кипятком. "Не дай Бог увидит клопа, вдруг осталось несколько. Будет стыдно как!" — подумал поэт. Он и Циля Яковлевна перед ошпариванием вытряхивали клопов десятками на пол и убивали их татарскими шлепанцами Анны, каждому по шлепанцу. Клопиной кровью воняло ужасно.

Сорока опустился на колени и пошарил рукой под кроватью.

— Не смейте ковыряться под моей кроватью! Если вы работаете в КГБ, вы думаете, вам все можно? Вы думаете, вас все должны бояться? Я вот вас не боюсь! У вас есть ордер на обыск? — Анна Моисеевна боялась мышей, это выяснится позднее, когда они будут жить в Москве, у Цветного бульвара, но властей, в отличие от нашего поэта, она не боялась. Да и что они могли сделать с женщиной, получающей пенсию как больная частичной шизофренией, переходящей в хорошие времена в маниакально-депрессивный психоз? Наш поэт, боявшийся властей, как Анна боялась мышей, гадливо опасаясь нечистых лапок с кривыми коготками и налипшими на лапки невидимыми вирусами чумы и холеры, расслабился в своем углу кровати и подумал, что все типы, восседавшие некогда перед ним в креслах начальников, были неизмеримо более неприятны ему, чем лейтенант Сорока. Лейтенант даже вызывал в нем сочувствие. Что, интересно, он станет делать дальше.

Старший лейтенант поднялся с колен. — Чтобы избежать обыска, Анна Моисеевна, отдайте пакет, и мы с гражданином Бахчаняном покинем вашу жилплощадь.

Всем стало ясно, что ордера на обыск у старшего лейтенанта нет, и злоумышленники ободрились. — Нет в моем доме никаких пластиковых пакетов. Будьте добры, оставьте меня и моих друзей одних. — Под "друзьями" подразумевались Бахчанян и Эд. Сорока равнодушно скользнул по лицу поэта, не остановившись на нем, и так и не спросил: "Кто вы такой?" Каждый человек хочет внимания от мира и даже от такой организации, как КГБ, а когда по тебе возят взглядом, как будто ты пустое место, человек-невидимка или подушка в углу кровати — тебе это неприятно. "Противная у этого Сороки все-таки рожа", — решил поэт.

Сорока пристально оглядел книги, столпившиеся на нескольких оставшихся в живых верхних полках книжного шкафа, переделанного в шифоньер, и даже отвел рукою большой том — монографию Врубеля.

— Не смейте прикасаться к моим книгам! — закричала Анна Моисеевна. — Если со мною сейчас случится припадок, вы будете виноваты!

— Что в другой комнате? — Сорока отвел рукою бахчаняновское плечо, и тот отшагнул в сторону.

— Комната принадлежит моей матери, вы не имеете права туда входить! — Анна соскочила с сундука, но увидев, что Сорока внимательно глядит на не прикрытый Анной сундук, усе-лась опять.

— Где ваша мать? Пусть она откроет комнату. Я хочу убедиться, что там нет пакета, нужного нам, и все.

— Моя мать в Киеве. Гостит у дочери — моей старшей сестры...

— И она, конечно, не оставила вам ключа, — насмешливо закончил за Анну Сорока.

— Да, — Анна Моисеевна нисколько не смутилась. — Мама не оставила мне ключа.

— Вот что, — Сорока вздохнул. — Давайте решим это дело мирным путем. Не заставляйте меня быть грубым. Отдайте пакет, и я уйду. Если в пакете нет ничего противозаконного, то чего вам бояться! Ведь вы боитесь за своего друга Бахчаняна, да? — Сорока поглядел на Баха. — Но если пакет не содержит ничего запрещенного, то чего же вам бояться, а, Анна Моисеевна? Подумайте, вы же умная женщина! Не осложняйте ситуацию...

Анна молчала и только поерзала задом по сундуку. Выдержав паузу, Сорока сказал: — Встаньте с сундука, Анна Моисеевна! Я знаю, что пакет находится в сундуке! — Кагешник поглядел на Анну торжествующе, как предсказатель-шарлатан, предсказание которого на удивление ему самому оправдалось. Заметим, что не нужно было быть большим философом, чтобы понять, что Анна не зря сидит на неудобном, слишком высоком и жестком сундуке и всякий раз, встав с него, опять тотчас садится. Причем каждый раз ей приходится задира-ть на сундук вначале одно бедро бегемотика, придерживая при этом ползущее вверх платье, обнажающее кружево нижней рубашки, потом второе. Разве женщина будет светить зря нижним бельем и неуклюже двигаться в присутствии мужчин, если ее не заставляют делать это обстоятельства?

Сорока уговаривал, злился, обещал применить насилие. Взял даже Анну за руку, но Анна заверещала так, что народ на площади Тевелева — вечно лежащие в сквере цыгане и алкоголики, идущие в винный подвал и из винного подвала, подняли головы и поглядели на их окно. — Хорошо же... — обессиленно прошипел Сорока, даже вспотевший от крика Анны, отпустил ее руку и за ее спиной, касаясь коленями злополучного спорного сундука, протиснул голову и туловище в нишу окна. Ниша была глубокой, метровой толщины стена заставила старшего лейтенанта лечь животом на подоконник. "Если бы мы были злоумышленники, — подумал Эд, обзревая обнажившийся лысый крепкий затылок Сороки и его спину, — то легко можно было бы дать сейчас старшему лейтенанту по затылку подсвечником, стоящим на ломберном столе (на нем, как мы знаем, поэт пишет стихи). Один взмах, и Сорока лежал бы на полу с раскрытым черепом, а мы все удрали бы. Неосторожный кагебешник".

— Гражданин! Да остановитесь же, гражданин... Гражданка! Гражданка! Дело государственной важности... Гражданка! Черт! Гражданин, остановитесь. Да вверх, вверх поглядите... Какие шутки. Дело государственной безопасности... — Лейтенант зачем-то криками пытался остановить прохожих, но харьковские прохожие не желали отвечать на крики лысой головы в окне второго этажа, бормочущей что-то о государственной безопасности. Может, они думали, что голова принадлежит сумасшедшему. Анна посмеивалась. Даже позеленевший было и унылый шпион Вагрич, предпочитавший молчание на протяжении всей описанной сцены, улыбнулся и, покачав головой, пробормотал: "Ну, завал!"

Настойчивый Сорока все же сумел привлечь внимание обладателя очень тонкого голоса и теперь наставлял его: — Позвоните по автомату. Наберите... (слова не попали в комнату). — Тонкоголосый что-то возбужденно ответил снизу, но на уровне второго этажа фразы сплелись в птичью тираду: "Сузмукпатарыты..."

— Я вам сказал. Речь идет о государственной безопасно-

сти. Ловите! — Сорока вырвал лист из записной книжки и, скомкав его в шар, уронил вниз.

Снизу поднялось еще одно птичье чириканье. Трель. Рулада.

— Нет, ничего больше не нужно прибавлять. Только эти три слова. И адрес, — вспотевший Сорока показал лицо комнате. — Какой у вас номер квартиры, Анна Моисеевна?

— Так я вам и сказала... КГБ все должно знать.

— Пожалее, Анна Моисеевна... — Старший лейтенант, отерев лоб носовым платком, наклонился в окно. — Скажите им, что звоните из автомата на площади Тевелева.

— Чирик-чик-фью-уу-фью.

— Вас не забудут... Не беспокойтесь. Родина вас не забудет. Обещаю.

Вынырнувший из ниши окна Сорока был грустен. — Я вас предупреждал, Анна Моисеевна. Мы могли решить проблему между нами. Теперь же у вас будут большие неприятности. Пеняйте на себя. — Сорока еще раз вернулся в нишу, как видно наблюдая за тонкоголосым Меркурием, побежавшим исполнять поручение. Удовлетворенный, но грустный, он попятился в комнату и несколько раз прошелся по трамваю до двери и обратно. — И почему вы не живете, как все советские люди, ребята?... — Сорока вздохнул. — Вы же художник, Бахчанян. Писали бы себе картины. Зачем вам иностранцы?

По словам Сороки можно было понять, что сам лично он не верит в то, что Вагрич — шпион. Они помолчали. Анна так и сидела на сундуке, упрямо отвернувшись к стене...

Неожиданно скоро вой сирен наполнил площадь Тевелева, и Сорока, прыгнув к окну, бросился животом на подоконник. Эд встал с кровати и попытался заглянуть в окно через плечо лейтенанта. К стоянке такси с воем причадили два больших автомобиля — один голубой, с искрой, другой — серый, и оттуда выскочило множество мужчин в костюмах и при галстуках. — Сюда, сюда, товарищи! — закричал Сорока. — Виктор Павлович! Второй этаж и в самый конец коридора — Рубинштейн!

Еще через несколько минут комната наполнилась большими мужчинами. Тот, которого Сорока назвал Виктором Павловичем, темноволосый, в светло-бежевом костюме (от такого не

отказался бы и наш поэт) и синей рубашке с ярким галстуком, спросил, стоя впереди, ясно было, что он — главный: — Что случилось, старший лейтенант?

— Пакет находится в сундуке, на котором сидит гражданин Рубинштейн, Виктор Павлович. Она отказывается встать.

— Что? Отказывается. И вы не можете ее поднять? — Виктор Павлович презрительно смерил Сороку взглядом. Затем уже другие глаза его, не презрительные, почерневшие, глубокие и властные, остановились на армянине. — Здравствуйте, Бахчанян.

— Здравствуйте, Виктор Павлович, — вяло ответил на приветствие Вагрич и позеленел еще больше.

Обернувшись, Виктор Павлович еще более сгустил глаза и гипнотизером поглядел на Анну. — Встать! Не то я прикажу вас поднять! — В Харькове ходили слухи, что кагебешников учат гипнозу, поэтому у него образовались такие глаза, — подумал Эд, — А может, это с такими темными глазами видят своих кагебешников советские граждане. Впоследствии Эд Лимонов убедился, что работники госбезопасности всех стран мира делятся на две основные категории: 1. Низшую — блондины или лысые с более или менее нормальными глазами. 2. Высшую — брюнеты с глазами гипнотизеров — начальники.

Анна Моисеевна, у которой у самой были не слабые глаза, заставляющие, как мы помним, больших бандитов в сапогах уступать ей места в трамваях, посмотрела в глаза гипнотизера и упрямо заявила: "Не встану!" Отметим здесь, что женщины сплошь и рядом оказываются упрямее и сильнее мужчин, способных на короткую мордобойную схватку, но робеющих перед властью и немедленно теряющих присутствие духа. Впрочем, верно и то, что отказываться встать теперь было глупо. Дальнейшее сидение на сундуке невозможно. Типы, стоящие за Виктором Павловичем, поднимут Анну как пушинку.

— Встань, Анна! — устало сказал Бах. — Отдай им журналы.

— Насильники! — сказал Анна и встала. Подняла крышку сундука и, обдав комнату запахом нафталина (в сундуке хранились зимние вещи семьи Рубинштейн), вынула пакет с журналами и швырнула пакет на пол. Сорока поднял пакет.

— Пойдемте, Вагрич Акопович! — Сорока кивком головы указал правонарушителю место впереди себя.

Эд подумал, что его и Анну выведут вместе с Бахчаняном и повезут в КГБ, но никто не сказал им, чтобы они собирались, и они остались на местах.

— Это кто? — наконец заметил Виктор Павлович присутствие нашего юноши в комнате.

— Мой брат! — сказала Анна с вызовом и подойдя к поэту, обняла его за тощую талию.

— Хм! — только и произнес Виктор Павлович и, замыкая процессию, пошел вон из комнаты.

— Почему вы не арестуете меня? — зло крикнула Анна ему вслед.

— Мы никого не арестовываем, Анна Моисеевна, — обернувшись и строго глядя Анне в глаза, сказал гипнотизер. — Нужно будет, мы вас вызовем.

* * *

Теперь, глядя в туда из сегодняшнего дня, понятно, что *они* — и советская система в целом, и КГБ как ее часть, болели тогда болезнью роста. Хотя прошло целых двенадцать лет, как ушел со сцены Вождь и Учитель, новое общество к 1965 году еще не очень-то понимало, что ему делать с его собственными новыми явлениями. Например, с проблемой общения сов. граждан с иностранцами.

После того, как Хрущев устроил фестиваль и сам призвал в страну полчища иноземцев, вроде уже невозможно было считать каждого советского человека, поговорившего с иностранцем, предателем Родины. Карать за это было нельзя, но и распускать народ было недопустимо. Советские граждане, соприкоснувшись с чужеземцами, тотчас догадались, что из соприкосновения можно извлечь массу выгод. Первыми появились на свет диссиденты финансовые — фарцовщики. Потом и советский интеллигент обратил свой ищущий взор на иностранца. И открыл, что чужеземцу можно всучить стихи (которые обычно не уезжали дальше мусорного бака в аэропорту Шереметьево),

или картины, или позднее, когда хрущевская оттепель не превратилась в ожидаемую весну, — доделанные политические трактаты, осуждающие непревращение оттепели в весну. Трактаты еще чаще, чем стихи, находили успокоение на дне мусорных баков аэропорта Шереметьево. Жалеть о них, право, не стоит, поскольку судя по тем глупым трактатам, которым все же удалось взлететь из Шереметьева, приземлиться "там" и быть напечатанными, не добравшиеся на Запад трактаты были из рук вон плохи и убоги.

Кроме функции курьеров, иноземцы служили еще и переносчиками вирусов западных болезней в страну, свободную от западных болезней. Под влиянием завезенных бациллоносителями журналов, книг, магнитофонных пленок и пластинок с западной музыкой стало меняться советское общество. В больших городах стали появляться стилиаги, появились поклонники западной музыки. Воля коллектива советских людей размягчилась, и стало возможным выпасть из коллектива, если ты хотел. Из всех существующих философских систем русскому человеку, несомненно, ближе всего экзистенциализм. При всяком удобном случае русский человек с удовольствием хочет предаться своему экзистенциализму. И когда советскому интеллигенту стало ясно, что больше ничего не покажут, он лег себе на спину и стал созерцать облака и звезды. Советские экзистенциалисты — тунеядцы — во множестве появились в советских городах. Нужно было спасать отечество. Потому что следуя примеру сотен, целое поколение могло улечься на спину и созерцать. Последовали один за другим процессы над тунеядцами.

В Ленинграде судили Бродского, сослали. В Москве не дали Ленинской премии Солженицыну. В Харькове нужно было наказать Бахчаняна. Солженицын, Бродский и Бахчанян были такими же законными гражданами своей эпохи, как и Хрущев, Брежнев и старший лейтенант Сорока. Каким-то образом им следовало взаимодействовать. Сталкиваться и отталкиваться.

Вопреки приклеенному к советскому обществу неизвестно кем эпитету "тоталитарное", оно таковым никогда не являлось. Если бы общество было тоталитарным, в центре его должен был бы находиться Супермозг, подобный Главному

Суперкомпьютеру, высылающий на места с южных гор до северных морей четкие молнии указаний. На деле же в каждом городе сидели местные власти (как бы множество ящиков одного письменного стола), и всякий раз, оглядываясь на Москву и соседей, местным властям следовало индивидуально решать, что делать с пойманными правонарушителями. И главное, непрощенный, но неустрашимый, появился новый участник игры — Запад. Запад сидел на западе и во все глаза и бинокли вглядывался в то, что делается в СССР. КГБ отслеживало Бахчанянов, судебные власти вкупе с местными партийными властями должны были наказывать правонарушителей. Слухи об ошибке, о слишком строгом наказании, вызвавшем недовольство Запада или Москвы, быстро распространялись по стране и устно, и письменно — в секретных циркулярах, рассылаемых властями. Недонаказывать также было нехорошо. Поэтому местные власти изошрялись в крайностях — проявляли или грубость или мягкотелость.

Если Бродского в Ленинграде судили еще судом народным, с общественным обвинителем, с судьей и народными заседателями, то Бахчаняна в Харькове судили уже помягче — его судил "товарищеский" суд коллектива завода "Поршень". В красном уголке завода развесили картины Бахчаняна (он сам наивно согласился на эту насильственную выставку) и, собрав рабочих, предложили высказаться по поводу его картин.

Работа на металлургическом заводе грязная и неприятная. То, что на "Поршне" в одно время встретились такие люди, как Фима, Геночка Великолепный, мсье Бигуди и Бах-авангардист, было чистой случайностью. Одной из миллионов возможных комбинаций судьбы, распавшейся уже через несколько месяцев. Основной же коллектив завода "Поршень" состоял из народа темного, злоупотребляющего алкоголем, из недавних жителей деревень и из бывших криминалов. Они не были плохими людьми, их прошлое и пороки — их личное дело, но что могли сказать подобные люди об эмалях и коллажах художника Бахчаняна? Всякий бред, чушь собачью, муть зеленую, не относящиеся к делу вещи — вот что. Тип в засаленной кепочке, остроносый и бледный — такими в советских фильмах изображают дореволюционных умирающих с голоду рабочих — ска-

зал, что Бахчанян оскорбил советскую женщину-мать тем, что разлил эмаль особым образом, вылив ею грубое тело на тяжелых эмалевых ногах и с такими же руками-обрубками. Бедный замухрышка, которого парторг уговорил, сняв кепку, пройти к картине, дрожал и очевидно думал о том, как бы скорее свалить с завода, заняв у парторга обещанные пару рублей, и выпить. "Нам, народу, это непонятно", — закончил он, обведя рукою картины. И это было правдой чистейшей воды. Разумеется, народу нужно было или научиться понимать *это*, и уж после судить, или не пиздеть и пить свою водку. Члены "СС" к тому времени уже покинули завод, и заступиться за "Бахушку", как его ласково называл мсье Бигуди, было некому. Выступили еще несколько рабочих-активистов, обычно дерущих глотку на каждом собрании, выступил хитрый парторг и молодая девушка-инженерша — представитель администрации. Старший лейтенант Сорока рассказал о попытке Бахчаняна переправить свои картины на Запад, о встрече с французом в гостинице "Харьков". В результате шумных дебатов оживившийся от участия Запада в судьбе их художника-оформителя коллектив завода, проголосовав, решил воспитать непутевого армянина в своем коллективе. Его приговорили к переводу из художников на тяжелую работу в туннель — так называлась подземная траншея-переход, которую завод рыл своими силами.

В газете "Соціалістична Харківщина" появилась злая и лихая статья о "деле Бахчаняна" и товарищеском суде над ним. На некоторое время Бах стал самым знаменитым человеком в городе. Его общества искали и желали с ним познакомиться. Увы, Харьков, хотя и миллионный, но провинциальный город, лежит вне сферы действия иностранных журналистов, "Соціалістична Харківщина" — местная газета, и потому суд над Бахчаняном остался происшествием местного масштаба, слухи о котором не покинули пределы советского государства, а то быть бы Бахчаняну вторым Бродским. А жаль, простой визит в номер гостиницы "Харьков" и обмен нескольких эмалей и коллажей на джинсовый костюм и пачку старых журналов мог принести Вагричу Бахчаняну всемирную славу, будь харьковские власти позлее и поэнергичнее. Возможно, они и оказались бы таковыми на год раньше. Даже самая глупая власть

учится на ошибках, и в следующий раз ошибается не там и не так, или там же, но менее серьезно. Счастливчик Бродский оказался в нужное время на нужном месте и был подвергнут наказанию, принесшему ему впоследствии больше дивидендов, чем может принести смерть мультимиллионера-дедушки счастливому единственному внуку.

Когда пыль, поднятая статьей, улеглась, Вагрич, естественно, сбежал с завода "по собственному желанию". Перевоспитание в туннеле ему, конечно, не пришлось по вкусу, а вот об оформительской работе можно было и пожалеть. Художник-оформитель пользовался определенной свободой на заводе "Поршень", так, он мог покидать завод не по окончании смены, но когда заканчивал "оформлять". Порой Вагрича можно было застать среди бела дня на Сумской: он уходил с работы под предлогом закупки материалов — красок или холстов.

Теперь Вагрич не покидал Сумской и ее окрестностей. Естественно, "Автомат" и Сумская были куда привлекательнее завода "Поршень", но завод платил Вагричу деньги, а Сумская улица за топтание на ее тротуарах — нет. Наступили трудные дни. И не только для Вагрича. Анна Моисеевна почти в то же самое время была наконец вытолкана из магазина "Поэзия" общими усилиями трех муз — подружек-соперниц, Бориса Ивановича Котлярова, старым делом об аморальном поведении в алуштинском санатории и... совершенно обоснованными подозрениями в хищении ею книг с целью обеспечения завтраками себя и молодого негодяя. Правда, книги они время от времени похищали, однако не слишком усердствуя в этом занятии. Молодой негодяй тогда только еще развешивал брючный бизнес, и сети заказчиков-информаторов у него еще не было. Вернее было бы сказать, заказчиков-пропагандистов — то есть тех, которые разносили славу о вновь появившемся необыкновенно искусном портном по городу. По вышеперечисленным причинам период жизни у них получился тяжелый. С Генуликом Великолепным он уже был знаком, но сблизились они позднее.

Нищие всегда жмутся друг к другу. Вместе — теплее. Бах покупал где-то необычайно дешевую конскую колбасу, такую красную, что создавалось впечатление, что колбаса эта — муляж и сделана из резины, как калоши. Анна Моисеевна и Эд вноси-

ли в общий котел макароны и растительное масло плюс стоимость приготовления продуктов, и компания пожирала варево, поглядывая на город из окна и проклиная сытых. Справедливости ради следует сказать, что этот короткий голодный период им всем даже нравился. От макарон и лишенной жира конской резины на них несло Парижем, славной жизнью мучеников искусства, Модильяни и Сутиных. Вагрич или иной раз присоединявшийся к ним Мотрич кричали, что нужно создавать шедевры, а не наедать щеки и брюха, как это делает козье племя.

В те времена общих дешевых обедов они начали раскланиваться иронически со старшим лейтенантом Сорокой, которого они стали все чаще встречать в Автомате, жуящим бутерброд или даже заглатывающим стакан разливного портвейна. А может, он и раньше заходил в Автомат, но только теперь декаденты научились выделять его из толпы? Старший лейтенант отвечал на приветствия. Особенно старательно и первым Сорока раскланивался с Анной Моисеевной. Самоуверенная Анна Моисеевна утверждала, что кагебешник в нее влюбился.

41

Но вернемся в августовский вечер 1967 года. Не следует надолго оставлять одного нашего героя. За то время, пока мы выпустили его из виду, "гуляка праздный" успел напиться шампанским, взбунтовавшим лошадиную дозу алкоголя, выпитого им за день, и теперь передвигается по улице Данилевского рядом с хроменькой невестой Цветкова. Гуляка праздный пьян, хотя и держится привычно бодро, только подсознательно прихрамывая вдруг а-ля Лора. Всю жизнь ему суждено имитировать друзей. Цветков попросил Эда проводить Лору, время час ночи, и в любом случае Эду с Лорой по дороге. Полупьяный но негибаемый Генка, посадив спящего сына и экс-жену Ольгу в такси, сел в следующее такси и уехал к Нонке. Припадок чувствительности. Нонна живет со строгой бабушкой. Вероятнее всего ему удастся только увидеть силуэт Нонки в окне, когда она выглянет на тихий свист Геночки Великолепного, тот же самый свист, каким он вызывал молодого

негодяя утром. Но припадок есть припадок. Генка привык осуществлять свои желания, и преграды его только распаляют. Денег на такси ему дал Цветков. Само собой разумеется, что для Лоры такси — излишняя роскошь, поскольку идти от дома Цветкова до лориного дома всего минут десять. Что может случиться с Лорой на отрезке хорошо освещенной улицы Данилевского, где живут люди зажиточные, это тебе не Турбинный завод или Салтовский поселок, — сам Цветков не ответит, если его спросить, но почему не проводить, если просят и по пути. К тому же чуть хроменькая, но большая Лора нравится молодому негодяю. Ему нравятся большие женщины. Цветков сослался на неотложное ночное дело. Может, пошел грабить квартиру, снимать со стен старые картины. В том, что Цветков способен на это, Эд не сомневается.

— Правильно делаете, что уезжаете. Так и нужно — прыгнул в воду и плывешь. Иначе плавать не научишься. Я всецело одобряю. Я вот и Володьке говорила — давай уедем в Москву? Но он отвечает, что его фронт проходит здесь, что Харьков — это его участок, а московского участка фронта он не знает.

— Не знает — узнает. Нужно сваливать из родного города в молодости. Потом — будет труднее или невозможно вовсе. В любом случае самые талантливые люди рано или поздно сваливают в Москву. Почитай биографии. Те, кто остаются — становятся жалкими неудачниками! — молодой негодяй подбивает ногой камень, и камень ловко ударяется об алюминиевый пустотелый цоколь фонаря. "Бу-ууумзз!"

— Ну, не обязательно все остающиеся в Харькове — неудачники, также как далеко не все уехавшие обязательно удачники и победители, Эд. Есть люди, которые находят счастье в личной жизни, в отношениях между мужчиной и женщиной, и личная жизнь полностью удовлетворяет их потребности в любви. Ведь желание того, чтобы общество признало твой талант, есть только усиленное в сотни или тысячи раз то же самое желание быть любимым. Не все люди так честолюбивы, как Бах или ты.

Лора на несколько лет старше Эда, и Генка говорил, что Лора — "женщина опытная". Ее слова о желании быть любимым звучат сейчас ночью, на пустой улице, двусмысленно.

”Может, она намекает на то, чтобы я ее трахнул?” — думает молодой негодяй и конфузится. Поди узнай, так это или не так. Вдруг полезешь к ней, а она обидится. А если действительно намекает, то обидится, если не полезешь...

К счастью, Лора выводит его из состояния нерешительности: — А Генка, что ты думаешь о нем, Эд, что его ожидает? Он не уедет от папы Сергей Сергеевича из Харькова никогда. Что, по твоей суровой системе он тоже станет неудачником?

— Я не знаю... Генка мой друг, Лор... — Эд не в силах произнести приговор другу. И не потому, что боится. Он уверен, что Лора никогда не скажет ни Цветкову, ни Генулику его мнения. На Лоре написано, что она девушка самостоятельная и одинокая, чьей бы невестой она ни была. Но у Эда язык не поворачивается вслух объявить Генку кандидатом в неудачники. Подумать — это одно, а сказать — это как печать поставить.

— И все же, к чему ты больше склоняешься? — Лора запускает руку в карман простого белого платья в крупный горошек и извлекает оттуда сигарету. — Хочешь?

— Спасибо, не хочу. — Он вынимает из рук Лоры коробок со спичками и, зажегши спичку, дает ей прикурить, растопырив ладони в сферу. Сигаретный дым в августовском воздухе совсем не тот, что в майском. Пахнет уже грустью, а не надеждами. — Я склоняюсь к тому, что невозможно всю жизнь прожить при папе... Когда-нибудь Сергей Сергеевич дуба даст. У него слабое сердце... Плюс я не заметил у Генки каких-либо интересов кроме желания...

— Что ты мямлишь, Эд. Да или нет? — Лора неожиданно останавливается под фонарем и, схватив его за руку, заглядывает ему в глаза. Такое впечатление, что она хочет услышать от Эда ответ на какой-то свой вопрос. ”Женщины всегда сомневаются в мужчинах”, — думает Эд. Очевидно чаще, чем мужчины в женщинах. Вот Анна, как ни удивительно, мало сомневается в нем, в Эде. Или может быть ему только так кажется?

— Я думаю, у Генки все шансы стать неудачником и почти ни одного за то, чтобы сделаться кем-то. Слабым я бы его не назвал, но в его характере нет объединительной идеи. — Вдруг Эду приходит в голову, что, может быть, Лора влюблена в Генку, хотя она и невеста Цветкова. Чего не бывает. — Я догадал-

ся, — говорит он торжествующе и несколько более развязно, чем следует, потому что пьян, хохочет, — ты в него влюблена, Лор, в Генулика...

— А если и да, то что? — грустно говорит Лора. — В неудачников тоже влюбляются, Эд... Особенно в красивых.

Несомненно наш герой-эгоист поверхностен и останавливает свое драгоценное внимание на людях менее продолжительное время, чем Колумб останавливался на новооткрытых островах, спеша в желаемую Индию, но это его право воспринимать их целиком, сразу, не вдаваясь в детали. Он никуда бы и не продвинулся в судьбе и жизни и до сих пор бы смаковал незаконченные психологические портреты одноклассников, как подавляющее большинство населения, будь он добросовестным исследователем. Но он, в спешке раздав простые характеристики направо и налево, налепив на фигуры приятелей простые этикетки (этот, этот и этот — "неудачники", тот — один и может быть вот этот — "подают надежды"), уже, видите, бежит дальше. Так и нужно — вынуждены согласиться мы. Приходится пренебрегать в практической жизни деталями ради целого, пользоваться интуицией куда чаще, чем доскональным анализом. (Кстати говоря, время подтвердило подавляющее большинство вынесенных им приговоров).

Следует разъяснить, что "неудачник" в понимании нашего героя не значит плохой человек, не значит никудышный мужчина-любовник-самец, не значит спящий обязательно под мостом бродяга. В его терминологии "неудачник" — это потерпевший поражение в жизненной эволюции. Не вскарабкавшийся на все возможные ступени жизни, не напрягший до предела себя, не испытывавший себя на больших делах, на самых тяжелых заданиях жизни, не подравшийся на дуэлях с самыми искусными дуэлянтами... Потому молодой негодяй спешит на московские дуэли, а дальше... как знать... Он всегда помнит почему-то об Алике-высотнике, хотевшем и сумевшем добратся до Бразилии.

Увижу ли Бразилию

Бразилию Бразилию

До старости моей...

— это стихотворение Кипплинга он тоже знает. После него обыч-

но всплывают строки "Эльдорадо" Эдгара По. Каждый должен искать свое Эльдорадо до самого последнего дня. В этом состоит человеческая доблесть. Молодой негодяй уже убедился в том, что его Эльдорадо лежит за пределами Харькова.

Слов Лоры о том, что в неудачников тоже влюбляются, молодой негодяй тогда не понял. У женщин и мужчин разная мудрость, увы, и мужчинам только с большими усилиями удастся понимать женскую мудрость, и наоборот.

42

Они уселись в лорином дворе на скамье и трепятся. Лора курит сигареты одну за другой. Молодому негодяю то и дело приходится зажигать для нее спички, озаряя августовскую темноту большого двора. Лора, может быть, волнуется, а может быть, она слишком много выпила, как и Эд, но она не торопится уходить, она рассказывает молодому негодяю свою жизнь. Теперь, когда он понял, что Лора влюблена в Генулика, юноше стало легко и просто с Лорой. Ясно, что трахать ее не надо, а когда у тебя нет обязанности, то хорошо сидеть вот так вот и чувствовать время от времени лорино крупное бедро, касающееся тебя, и от бедра, как от утюга, жарко.

— А ты любишь свою Анну, Эд? — вдруг спрашивает Лора.

— По-моему, у нас ночь вопросов и ответов. — По обширному двору, образованному не только девятиэтажным домом, в котором живет Лора, но и еще полдюжиной домов, вдруг мазнул порыв ветра и шумно трепанул темные шевелюры деревьев двора. — Люблю, конечно.

— Что значит "конечно"? Любишь или нет — только так бывает.

— Вот и люблю...

— Почему же ты все один гуляешь, Эд, без нее? Ты с Генкой больше времени проводишь, чем с Анной. Можно подумать, что вы с Генкой влюблены друг в друга... — Лора улыбается и вдруг, подняв ногу, упирается ступней в скамейку и обхватывает руками колено. Сбоку молодому негодяю видна

выбравшаяся из-под платья наполовину крупная ляжка девушки. Белая-белая. Пьяному, ему хочется потрогать ляжку, но он отводит взгляд. Нельзя трогать девушку, которая влюблена в твоего лучшего друга. Кодекс мужественности и рыцарства, внушенный ему криминальным миром рабочего поселка, еще не забыт молодым негодяем.

— Провоцируешь?

— Ну что ты! — Лора кокетливо поднимает лицо с колена и глядит на молодого негодяя, как глядят девушки в западных фильмах, нарочито "призывным" взглядом. — Просто интересно.

— Что тут понимать, Лор. Анна как бы моя жена. А Генка — мой лучший друг. Человеку очень часто хочется быть похожим на своего лучшего друга. Я всегда был недоволен своей внешностью, и если бы можно было выбрать оболочку, то я бы выбрал генкину внешность.

— Ты очень симпатичный, дурак...

— Вот именно, симпатичный. Как бывают "миленькими" девушки. Я хотел бы быть более определенным, иметь мужские черты лица. Посмотри на мой нос, Лора! Разве это нос для мужчины? — Молодой негодяй захватывает свой нос в горсть и мнет его. Лора смеется. — В таком носу есть нечто легкомысленное, Лор. Я бы даже предпочел большой армянский нос, как у Баха... Тебе нравится Бах, Лора?

— Уф, не знаю, Эд. Он смешной.

— Ничего он не смешной. Вот у Баха мужское лицо — большой рот, большой нос, большие темные глаза...

Кто-то идет по двору аритмичной походкой пьяного, но очень твердо и тяжело ступая. В разрывах между стволами деревьев они видят приближающийся силуэт мужчины. Лора, прищурившись, вглядывается. У нее тоже близорукость. — Сосед. Анатолий. Все ко мне подкалывается. Жуткий бабник.

— Добрый вечер, соседка. Гуляем? — Названный Анатолием тяжело садится на скамью рядом с Лорой. Ноги в синих джинсах вытягивает далеко вперед на асфальт. — Сигаретой не угостишь, молодые люди?

Лора трясет пачку таким образом, что из прорванной дыры высовывается треть сигаретины, и "жлоб", как его мыслен-

но назвал Эд, наклонясь всей головой к руке Лоры, почти улегшись к ней на колени, губами захватывает торчащую из пачки сигарету. Зажигалку он уже выуживает рукой из кармана джинсов. Хорошо, что у него есть зажигалка, потому что молодому негодяю не хочется зажигать для него спичку.

— Обжимаемся на природе? — продолжает жлоб-сосед-Анатолий, выдохнув с наслаждением дым.

— Да, сидим и обжимаемся, — подтверждает Лора и вдруг прижимается к молодому негодяю. — А третий — лишний!

— Хорошо, хорошо, ухажу! — соглашается жлоб и поднимается. — Я — следующий! Идет? Помни, Лорик, что я всегда в твоём распоряжении. Не знаешь, что теряешь, глупая. Спок. ночи.

Очередной порыв ветра отстраняет шевелюру ближнего дерева с лица фонаря, и свет падает на лицо жлоба Анатолия. Эд узнаёт лицо... Конечно! Вот почему звук его голоса показался Эду таким знакомым! Это же тип из летнего кинотеатра в парке Шевченко. Это он доставил Эду и всему зрительному залу столько переживаний в далекий майский вечер полтора года назад. Это он грязным взглядом смотрел на Анну и, свесив между рядами руки, болтал ими возле анькиных колен... И вдруг схватил Анну за ногу...

43

Была суббота. Весна. В летнем кинотеатре был объявлен "Багдадский вор". Две Вальки из магазина "Поэзия" — Черная и Белая, Анна (уже работавшая в "Академкниге"), Вика Кулигина, Эд и беспредметник Толик Шулик отправились на первый сеанс. Им следовало бы хорошо подумать, прежде чем отправиться в таком составе на вечерний субботний сеанс. Четверо здоровых ярких баб и два тоненьких зелененьких мальчика, сопровождающие их, всегда вызывают агрессивные и насильственные желания в явившихся без самок самцах. Это верно для любого мира, для любой страны. Отнять — первое желание, и основное. Если нельзя отнять — запугать, сделать жизнь неудобной, хотя бы на два часа. Если нельзя изнасиловать физически,

то хотя бы понасиловать словесно, дабы испортить настроение, и скомпенсировать себя за неспособность найти женщину и, прижимаясь к ней, смотреть на приключения Багдадского вора.

Они поместились где-то посередине кинотеатра под открытым небом. Номера мест были отмечены белой краской на спинках садовых скамеек. Пять мест на скамейку, перегородок между местами не было. Жители большого южного города, особенно в те годы, отличались некоторой нестандартной пышностью, особенно женщины. Эд оказался притиснутым к мощному анькиному бедру с одной стороны и тоже неслабому бедру Белой Вальки, которая, несмотря на свои двадцать лет, была выше нашего юноши, с другой. После профилей Анны, губастой Вики и Черной Вальки украинки, взглянув налево, Эд мог увидеть белый клочок над лбом беспредметника.

Это был день открытия сезона. Администрация, пожатничав, назначив два сеанса в вечер, оказалась в луже. В объявленное для начала фильма время в природе, оказалось, было еще светло, как днем. Усевшиеся уже на свои места зрители пыхтели, ворочались, потели и нервничали. Среди скамеек тараканами пробирались два мороженщика с голубыми ящиками у животов, где-то сзади у входа синел одинокий милиционер. Небо, сколько в него ни вглядывались директор кинотеатра, билетерши и зрители, ничуть не темнело.

— Как говорила моя бабушка Вера, если хочешь, чтобы чайник скорее закипел, не гляди на него. Публика гипнотизирует небо, и оно из чувства противоречия отказывается темнеть, — сказал Эд.

— Даже если мы не станем смотреть на небо, то все остальные будут на него смотреть, — вздохнула Анна и поправила выбившуюся в разрез крепдешинового платья лямку лифчика. Эд не любил сидеть вот так, как сейчас, прижатым к Анне. В жару еврейская красавица становилась горячее, как чайник бабушки Веры. Однажды им пришлось ехать в автомобильчике Цветкова в Монте-Карло. Геночка сидел рядом с Цветковым-водителем, а Эд, Анна и еще кто-то третий оказались затиснутыми на заднее сиденье. Ехать с Анной в Запорожье было равносильно проведению двух часов в тесной клетке с гиппопотамом.

Скамья перед ним была почти пустой, и Эд уже собрался

спросить у билетерши, можно ли пересесть на пустую скамью, как вдруг вбежали в поле зрения четверо парней и, хохоча и ругаясь, стали протискиваться на свои места. В едва взглянувшем на них опытным молодым негодяе на невидимом миру табло зажглась красная надпись: "Опасно!" Если ты провел десяток лет среди криминалов и сам причинил немало неприятностей другим людям, то ты узнаешь, кто опасен, а кто нет. Не всякие громкоговорящие и громкоругающиеся люди опасны. Эти были.

Протиснувшись, они стали делить места, и этого короткого момента было достаточно нашему наблюдателю, чтобы безошибочно опознать самого опасного — лидера. Темнолицый от не сбритой во-время щетины и от особого качества темной кожи (такая же была у Мотрича, кстати сказать), высокий и костлявый, с грязно-потными волосиками над лбом "особо опасный" Эду в высшей степени не понравился.

Неприятный тотчас оправдал неприязнь Эда. Охватив взглядом их компанию и проведя гадкими глазами по девушкам, неприятный прокаркал: "Во какая коллекция телок, парни!" Потные, покрасневшие от бега рожи уже усевшихся приятелей немедленно появились над спинкой скамейки взамен затылков. Чтобы дать рожам понять, что девушки не одни, Эд положил руку на Анькино колено и по-хозяйски погладил его. И повернувшись к самой красивой — Белой Вальке, она же была и самая гордая и злая, сказал, лишь бы что-то сказать, пометив и Вальку как "свою": "Ну и долго они будут испытывать наше терпение? Пора начинать!"

Особо опасный все еще стоя, в повороте, усаживаясь и лишь медленно снимая грязный взгляд с лиц и грудей и плеч девушек, хмыкнул менее "неприятным": "Их четверо, и нас — четверо. Вот бы и ладили..." И сел. Из внутреннего кармана пиджака достал бутылку водки.

— Да они с ребятами, — пробормотал самый робкий из неприятных.

— Разве это ребята для таких телок... — хрюкнул парень номер три.

Анна, услышавшая фразу, толкнула Эда локтем. "Каждый хазерюка..." — начала она.

Молодой негодяй остановил ее, сильно сжав горячее колено подруги. "Мать иху так. Сейчас начнется фильм..."

Однако теперь, когда Эд, забыв о совете бабушки Веры, все чаще вглядывался в небо, проверяя степень его потемнения, процесс и вовсе остановился. Почти не скрываясь, лишь чуть сползая вниз на сидении, булькая отвратительно водкой и выковыривая из кулечка такую же гадкую, как и они сами, закуску — халву, компания впереди становилась шумнее и наглее. Прикончив бутылку и откатив ее ногой по залитому асфальтом полу кинотеатра, особо опасный стал хватать за шеи сидящих впереди женщин. Эд, весь напрягшись, думал о том, что он сможет сделать, если неприятный и его друзья начнут хватать "его" девушек. Взвесив несколько вариантов, он понял, что будет неминуемо побит. Один против четверых да еще таких он ничего не сможет сделать. На беспредметника в драке рассчитывать нечего. Пацифист-беспредметник не убежит, но он как девочка, даже слабее любой из четырех женщин. Разумеется, Вику и Анну нелегко обидеть. Они опытные бабы и будут орать, визжать и кусаться, и бить, если позволит пространство, по яйцам. Гордые Вальки, Белая и Черная, молоденькие, хотя и большие, может быть, зло расплачутся. Вероятнее всего, компания неприятных захочет напасть после сеанса. Очевидно, у выхода из кинотеатра. Чтобы "потискать телок", как они выражаются. Будет драка. Вмешается, если окажется поблизости, милиция. Если нет, может быть, добровольцы-прохожие. Или никто. Может быть, если шакалы опытные, им удастся загнать одну из жертв вглубь парка и изнасиловать...

Но главная опасность заключалась для молодого негодяя не в драке, которая всегда длится недолго и в которой он знал, что будет делать, пока не упадет. Он боялся унижения, которому ему придется подвергнуться во время сеанса, боялся пыток, которым будет подвергнуто его мужское самолюбие все то время, пока багдадский вор будет карабкаться на стены Багдада и бродить по багдадским базарам.

Подтверждая его опасения, закончив терроризировать сидевших впереди — несколько женщин, поспешно взлетев, пересели, — особо опасный перенес свое внимание на их скамью. Одновременно со вспыхнувшими на экране первыми кадрами

”Багдадского вора” особо-опасный, взмахнув длинными руками как птица, завел их назад за спину скамьи, и теперь узловые пальцы орангутанга болтались в районе анькиных икр. Эд не сомневался, что особо-опасный знает технику своей профессии, и действие будет разворачиваться согласно много раз проигранному хулиганами сценарию. Воспитанный в старомодно-рыцарских блатных обычаях отсталой Салтовки, где еще существовало первобытно-общинное блатное общество, Эд ненавидел хулиганов и особенно таких вот вольных стрелков. Были и на Салтовке мерзкие типы, но даже имевшие репутацию исключительно подлых — блатные цыгане с Тюренки — считали позорным прибываться к парню с девушкой без особенной на то причины.

Перекрикиваясь с приятелями, кончились титры и начался фильм, копия была старой, и по экрану время от времени пробегали молнии царापин, особо-опасный не забывал совершать зло и, вдруг повернувшись, посмотрев Анне в лицо, воскликнул: ”У-у, какие глазищи! Отдайся?!”

У Эда внутренности сбежались в один узел, и он совершил первую трусость. Он сделал вид, что не слышит слов неприятного, хотя следовало врезать ему в этот именно момент. С опущенными и заведенными назад руками враг не был в боевой позиции, и Эду удалось бы хорошо приложиться к черепу врага. Конечно, его тотчас бы как минимум жестоко избили и как максимум пырнули бы ножом, но зато мужская честь его не пострадала бы. Было ясно, что столкновения не миновать и лучше разрешить все сейчас, сразу, до тех пор, пока ситуация зайдет очень далеко. Однако новорожденный Лимонов вместе с лошадиной дозой культуры, влившейся в него из прочитанных книг, получил уже и непременно вручаемую каждому свежеиспеченному интеллигенту робость, каковой не было у ни в чем не сомневавшегося в таких случаях подростка Савенко — жителя Салтовского поселка. Сдрейфив, он сделал вид, что ничего не слышал, и только провел рукой по ляжке подруги. Мое.

Попробовав юношу на зуб, особо-неприятный понял, что перед ним интеллигент и поэтому трус. А интеллигент и трус позволит ему зайти очень далеко, и только уж совсем загнанный в угол огрызнется, может быть, оттуда, как подожженная

крыса, и в слепой ярости бросится на обидчика. ”Согрешим, а, глазастая?” — сказал особо-опасный громко, и его болтающаяся рука вдруг ухватила Анну за икру...

44

Лора, вздохнув, оправляет платье, встает. — Пойду спать.

— Противный тип этот твой сосед, как его... Анатолий? — осторожно замечает Эд. — Вы что, на одной лестничной площадке живете? — На самом деле он сразу же запомнил имя ненавистного ему особо-опасного, стоявшему ему в свое время таких страданий, но совсем не услышал вторую половину рассказа Лоры о ее жизни.

— Этажом выше, как раз над моей квартирой, — зевает Лора. — Ну, я пошла.

— Я провожу тебя.

— Спасибо, Эд. В подъезде горит свет. Дойду, дорогу знаю...

— А вдруг он ждет тебя у дверей. Ты же говоришь, что он к тебе пристаёт.

— Ну, уж не настолько он опасен. Бабник, вот и все. С ним девушка сейчас живет. Где-то подобрал. К тому же, Эд, он знаешь, как здорово дерется. Вряд ли ты против него сможешь... — Лора с сомнением оглядывает молодого негодяя. — Он тут как-то во дворе Серегу избил из третьего подъезда. Ух как бил, прямо как в фильмах.

— Допрыгается, — бурчит Эд. Какому мужчине хочется признавать себя слабее другого мужчины? Тем более слабее врага.

Он все-таки плетется упрямо за Лорой, хотя и понимает, что разозлил ее своей дурацкой с ее точки зрения прихотью. Причина в том, что при поднятии на восьмой этаж, лифт уже не работает, выключен на ночь, Эд, идущий сзади, видит каждый раз неловкий шагок хроменькой на очередную ступеньку. Лишь самую малость искривленный шагок, но Лора, должно быть, страдает. Она же женщина, а не лорд Байрон. Чтобы снять напряжение, он врет вдруг: — Я тоже однажды сломал ногу!

— Одно дело сломать, а другое — родиться вот так, — уны-

ло говорит Лора на площадке пятого этажа.

— Подумаешь, чуть хромаешь. Ну и что? Ты такая красивая, что тебе это только шарм придает. Если бы у меня не было Анны, я бы за тобой ухаживал. Ты экзотичная. И большая.

— Спасибо, — грустно благодарит Лора. — А как ты думаешь, Эд, Генке я нравлюсь? — спрашивает она, стесняясь.

— Вот, — думает Эд, — пойдя пойми женщин. Ругается, курит, пьет, на людях на Генку ноль внимания, с Цветковым у них свободная любовь, а оказывается — влюблена. — Думаю, нравишься, — врет он. И врет опять: — Только ты же невеста Цветкова, а Цветков — Генкин друг. Генка не может отбить у друга невесту. Генка — джентльмен.

— Господи, да если бы я знала, что Генка... — Лора даже задыхается. — Не говори только ему ничего.

Молодой негодяй не уверен, что Лора хочет, чтобы он сохранил ее признание в тайне от Генки. Лора целует его на прощание и, открыв дверь, поворачивается к нему уже из квартиры: — Пока! Может, тебе дать все-таки денег на такси?

— Решительно нет. Ночные прогулки полезны для здоровья. Пока дойду домой — отрезвею.

Дверь за Лорой закрывается, и одновременно в молодом негодяе просыпаются все инстинкты охотящегося самца. Он, шумно ступая, спускается на несколько этажей вниз. На четвертом он останавливается, снимает туфли и тихо поднимается на последний девятый этаж, смотрит на дверь квартиры своего врага. За дверью, в нескольких метрах всего лежит он там, голый, и спит. Или, может быть, трахает подобранную девушку?

Юноша птичьими шагами приближается к двери. Прикладывает к ней ухо. Тишина. Дом хорошо построен, при Сталине, стены толстые, двери массивные, потолок даже на лестничной площадке — лепной, и нависает на юношей, как перевернутый торт. Тихо в квартире врага. Почему мерзкий тип имеет квартиру в таком доме? Может быть, он чей-то сын? Скажем, третьего секретаря райкома партии. Или как Анька Волкова — сын текстильной промышленности или овощного треста? Такой "резкий", как говорили на Салтовке, и до сих пор не наравлся на сурового человека или на закон. Ну, на закон, положим, если он чей-то сын, он может нарваться только если со-

творит что-нибудь очень серьезное, скажем, пришьет кого-то; а вот суровый человек воткнет ему нож меж ребер, и дело с концом. И хуй найдут. Сунул, и ушел. Все эти басни о стопроцентном раскрытии преступлений мы слышали, — думает молодой негодяй, — это басни для детей. На Салтовке он бы с таким характером не то что до седых волос не дожил, года бы в живых не продержался.

Он слышит шаги. Звук усиливается. Некто поднимается по лестнице. Когда молодой негодяй понимает, что и на шестом и на седьмом этажах звук не умер, и что очень может быть, некто поднимается именно на последний, девятый этаж, он с туфлями в руках отступает на последнюю лестничную площадку, на которой только одна дверь, ведущая на чердак. Над дверью горит голая, без плафона, лампочка. Тупик. Он опускается у стены на корточки и ждет, осматриваясь. Вдоль стен сложены в деревянных ящиках пачки ученических тетрадей и учебников. Кто-то поленился снести старый хлам вниз. По противопожарным законам не полагается хранить на чердаке горючие материалы. Правда, это еще не чердак. Предбанник чердака.

Внизу, очень близко, хлопает дверь. Человек вошел в свою соту и сейчас снимает одежду, чтобы лечь в постель, к стене, и закрыть глаза. Юноша встает, пробует чердачную дверь. Конечно, заперта, и даже ручка отвинчена специально, чтоб не лезли на чердак, кому надо и не надо.

Одинокие ночные приключения — одна из страстей нашего героя. Шпионско-детективное, охотничье любопытство заставляет его прислушиваться, прижавшись ухом к многочисленным дверям мира, вскрывать осторожно ему не принадлежащие письма, залезать в приглянувшиеся ему ночные окна. А куда ведет эта дверь? А что в этом подвале? А что будет, если углубиться в это подземелье?

”А что будет, если кто-нибудь подожжет эти легковоспламеняющиеся материалы?” — размышляет молодой негодяй, перебирая зеленообложечные тетрадки ученика 5 В класса Николая Овчаренко и ученицы сразу 3-го, 4-го и 5-го классов Евгении Овчаренко. У брата и сестры одинаково плохой почерк... На чердаках всегда полно деревянных частей, и запылавши здесь, легковоспламеняющиеся материалы спалят к чертовой

матери дверь и передадут огонь на чердачное дерево?” — Нет, не передадут, — поскоблив ключом чердачную дверь, Эд обнаруживает, что под слоем краски — железо, дверь обита железным листом... А хорошо бы кто-нибудь поджег на хуй легковоспламеняющиеся материалы, и загорелся бы чердак, а потом и девятый этаж, и квартира врага.

* * *

Он ухватил тогда Аньку за икру... Внутренне дрожа от волнения, но внешне спокойно, молодой негодяй взял особо опасного за смявшееся плечо пиджака. — Эй, ты что делаешь?! — Вопрос был глупейший, хотя и задан был спокойным тоном. Надо было бить, а не задавать вопросы.

Не отрывая руки от анькиной икры, мерзавец обернулся и, расклеив губы в темной усмешке, сказал: — А ты не видишь? Мацаю твою подругу!

— Гад! — сказал Эд. — Гад! — повторил он. Но не ударил. Вся команда особо-опасного, обернувшись, скалилась на него весело. Готовая немедленно разорвать его на части, распотрошить, как мягкую подушку.

Ударила особо-опасного Анна. По морде коленом. Массивным крепким коленом еврейского гиппопотамчика. — Кто ты думаешь ты такой, фраер! Да я с братьями Заксами и с Булатом в одном классе училась! — Анна замахнулась потрепанной сумочкой над головой врага. — Да стоит мне сказать, и ты на Сумскую никогда не выйдешь!

— Анна! Успокойся! Анна! — Вика Кулигина, ухватив Анну за руку, пыталась отбуксировать ее назад, но с таким же успехом можно было попытаться остановить набравший скорость тяжелый трактор. Особо-опасный, нисколько не смутившись криками Анны, вскочив, ударил ее кулаком в живот.

Именно в этот момент, когда Анна согнулась, не выпуская сумочку, а Эд наконец решился броситься на мерзавца и накнулся на его кулак, из темноты появились представители власти и, скрутив четверых злодеев, повели их прочь из кинотеатра, и зрители смогли отдаться всецело сцене драки на багдадском базаре, не отвлекаясь дракой в летнем кинотеатре. Оказалось,

всех выручил беспредметник. Тихий пацифист еще до того, как мерзавец положил свою мерзкую ладонь на икру еврейской красавицы, встал тихонько и, сказав Черной Вальке, что идет в туалет, на самом деле отправился к дежурившему у входа в кинотеатр милиционеру и настучал. Сообщил, что в зале находятся четыре опасных хулигана, распивающие водку и терроризирующие граждан. Почти немедленно подтверждением доноса аккуратненького мальчишки с седым клоком появилась запыхавшаяся билтерша и сказала, что в 23-м ряду хулиганы затеяли драку и даже швырнули пустую бутылку в забор кинотеатра. Милиционер с летучим отрядом всегда готовых подраться дружинников радостно ринулся в темный театр. Под накатившими на город Харьков тучами исчезли звезды. Багдадский вор с помощью веревки, как позднее Тарзан между деревьев, летал между башен...

Молодой негодяй не простил себе трусости. Анна его не упрекала, она скорее всего даже не придала происшествию никакого значения и, поведав его в несколько дней множеству знакомых, вскоре забыла о происшествии. Красочный рассказ Анны, варьировавшийся в зависимости от аудитории (вариант для Цили Яковлевны отличался от варианта, рассказанного Мотричу с Игорем Иосифовичем и Баху), не содержал упрека в адрес Эда ни в одном варианте. Более того, Эд скорее выглядел молодцом, бросившимся на врага, и только потому, что враг был много старше и сильнее, получившим удар по скуле. Но молодой негодяй-то помнил, что творилось у него тогда на душе. Он-то знал, что он трусил.

* * *

Оставив туфли, он берет один из ящиков и несет его на девятый этаж. Вынимает из ящика учебники и тетради и, даже не очень оберегаясь, разрывает десяток тетрадей и комкает страницы. Отодрав от ящика несколько досок, складывает материалы у двери врага. Он решил сжечь свою трусость. Поверх он помещает разрушенный ящик. Нет, он не убегает после этого. Преспокойно возвращается к чердачной двери и, ухватив второй ящик, повторяет операцию, укладывает новый слой на

первый у двери врага. Перетаскав большую часть легковоспламеняющихся материалов, он аккуратно очищает пиджак от зацепившихся кое-где за ткань древесных нитей и волокон и, на шарив в кармане лорины спички, зажигает спичку и помещает ее под основание костровой пирамиды. Как хороший пионер, которому выпала честь зажечь костер на пионерском слете. Пламя, вначале синеватое (под спичку первой попала иллюстрированная страница из учебника химии. Кристаллические образования — граниты и полевые шпаты — прогорели, шипя, и исчезли), становится желтым, а еще через несколько мгновений, найдя первые мелкие щепки, — красным. Только убедившись, что пламя уже не потухнет, поджигатель начинает осторожно спускаться по лестнице. Проходя по лестничным площадкам, он старается держать голову низко, чтобы на случай, если какая-нибудь неспящая душа вздумает поглядеть в глазок, чтобы эта душа не увидела его лица.

Пугается он только на улице. Усилившийся ветер быстро гонит над лориным двором тучи. Тяжелые и бесформенные, передвигающиеся в сторону Госпрома тучи немедленно сообщают нашему герою состояние безвыходной и неразрешимой тревоги. "Во, натворил дел! — с ужасом думает он, выбегая прочь из Лориного двора и пересекая улицу Данилевского. — Если поймут, ведь высшую меру могут дать за поджог!" — Он останавливается и вдруг неожиданно перебегает улицу Данилевского в обратном направлении. По всей вероятности, он решил вернуться и потушить пожар. Но перебежав, он в нерешительности прижимается к дереву, не зная, что делать. По Данилевского, редкие, в обе стороны проезжают быстрые автомобили. "Если люди погибнут, точно дадут "вышку", если не погибнут — дадут лет пятнадцать", — прикидывает он.

Было бы преувеличением утверждать, что нашего героя вдруг ужаснуло содеянное им. Что он беспокоится о невинных жертвах, которые погибнут вскоре, сожженные и задохнувшиеся в развалинах девятиэтажного дома, в то время как еще неизвестно, сгорит ли там его трусость, а может быть, как птица феникс, вылетит, живая, из пламени. Нет, наш эгоист вспомнил о жертвах только в связи с наказанием. Будут жертвы — следовательно, более суровым будет наказание. Подобная жес-

токость или душевная бесчувственность вовсе не так редко встречается, как обычно думают. Напротив — почувствовать живую боль за других человеческих животных, даже за одно человеческое животное, способны очень немногие.

— Если побежать в дом и начать тушить пожар, объяснить свое присутствие там через полчаса после ухода Лоры будет нелегко, — думает он. — А с другой стороны, кто заподозрит его, хлопающего пиджаком по пламени, в том, что он и есть поджигатель? Да, но он вынужден будет непременно столкнуться с особо-опасным Анатолием, и особо-опасный может узнать его...”

Последний довод перевешивает баланс в сторону невозвращения, и когда зеленая лампочка такси надвигается на него из перспективы улицы Данилевского, он поднимает руку. “Площадь Тевелева, 19”, — говорит он шоферу. И безвольно усаживаясь не рядом с шофером, но на заднем сидении, думает, что если уголовный розыск хоть чуть-чуть знает свое дело, они арестуют его уже утром.

45

В комнате-трамвае горит сорокаваттовая лампочка под бумажным абажуром. Лампочка стоит на сундуке. Среди складок белых простынь, подобным складкам, в которых умирал Цезарь, спит, тихо похрапывая, рубенсовская женщина Анна. Услышав тяжелый стук неловко прикрытой молодым негодяем двери, Анна открывает глаза. — Ты? Уф, который час?

— Больше трех. — Эд вешает пиджак на спинку “своего” стула.

— Где ты шляешься, молодой негодяй? — сонно бормочет Анна и поворачивает тело в римских простынях, сминая складки и создавая новые.

— Я поджег дом, Анна, — сбросив туфли, поэт ложится на кушетку, стоящую параллельно кровати. На домашнем жаргоне Эд и Анна называют ее “гинекологической”. Протянув с кушетки руку, возможно коснуться рубенсовской женщины.

— Большой дом? Госпром? — спрашивает Анна, не открывая глаз.

— Девятиэтажный. Если утром за мной придут, не удивляйся, — молодой негодяй закрывает глаза.

— Угу... — мычит Анна и засыпает.

Поэт не может уснуть. Он размышляет о "затмении", которое на него нашло в лорином доме, перед дверью врага. Он называет явление "затмением" за неимением лучшего термина. А как еще возможно назвать это состояние злобной активности, вспыхнувшей в нем вдруг и направленной против объекта столь случайного, столь незначительного. Как можно было так нездорово реагировать на появление под фонарем заурядного хулигана, пятьсот дней назад заставившего его пережить неприятные двадцать или тридцать минут? Большое дело в конце концов, ну положил он руку на анькину икру! Мало ли мужчин до Эда ласкало Анькины мышцы. Что же, всех их нужно сжигать или пытаться уничтожить иным способом? Почему тогда он не дает топором по голове Кулигину? Или почему не сталкивает с подоконника Беспредметника, когда Беспредметник, подражая героям каких-то одному ему известных западных фильмов, садится на подоконник с ногами и принимает кокетливые позы?

Не в Аньке, конечно, дело. Это его лично мучил и пытал особо-опасный Анатолий под темнеющим харьковским небом при мощном шуме деревьев парка Шевченко. Мучил и пытал как фарцовщика Сэма пытали в подвале. Еще хуже, чем Сэм. Потому что Сэм был один на один с ними и со своей болью. Эда же особо-опасный пытал перед четырьмя красивыми женщинами и перед Беспредметником и перед народом, собравшимся смотреть "Багдадского вора". Перед обществом пытал его особо-опасный. Обществу показал он, что Эд слаб. И билетерша видела, и видел зал. Единственный раз за многие годы почувствовал он сам, что он слаб...

Сказать, что мы полностью понимаем его проблему, мы не можем. Однако каждого человеческого самца пусть один раз в жизни, но посещает эта проклятая дилемма: "Мужчина я или не мужчина? Почему же я струсил?" Скорее всего, дело заключается в пропорциях, в соотношении элементов. Воображение нашего героя превысило его способность анализировать. Ведь даже Анна, безжалостная порой Анна, высмеивавшая его, ко-

гда он этого заслуживал, сочла, очевидно, что никакого унижения ни ей, ни молодому негодю претерпеть не пришлось, если она не высмеяла молодого негодяя после сеанса "Багдадского вора". То есть, проще говоря, он сделал из мухи слона, граждане судьи. Обычная уличная стычка была превращена его воображением во встречу с Циклопом.

Все элементы мифа налицо. Циклоп ловит всю команду, пьет вино и, насмехаясь над Одиссеем, пожирает его спутников. Если на просмотре "Багдадского вора" в майском свежем воздухе он встретился с Циклопом, тогда дальнейшее его поведение вполне логично. В процессе нового странствия Одиссей случайно оказывается рядом с жилищем Циклопа и, вспомнив унижения, поджигает циклопову пещеру к чертовой матери (вариант — выкалывает обугленным бревном глаз). В прежние времена люди хорошо помнили обиды, им нанесенные. Это только современные двуногие зверьки обладают короткой и легкой памятью. Так что, граждане судьи, по законам старого серьезного мира наш клиент невиновен! Он защищал свою честь и честь своих спутников! Да, он поджег девятиэтажный дом, но он поэт, у него богатое воображение, он считал, что поджигает пещеру Циклопа.

"Суд признает меня сумасшедшим, — решает молодой криминал, ворочаясь на гинекологической кушетке. — Зачтется пребывание в психбольнице, да еще с таким серьезным диагнозом..."

Наш клиент, граждане судьи, имеет за собой долгую историю психического заболевания. В 1962 году наш клиент находился на излечении во Всесоюзной Психоневрологической Больнице имени... имени... Мы запомнили, в чью честь названа эта прославленная больница. Великий поэт Велемир Хлебников оставил в память о своем пребывании там такие проникновенные строки "Сабурка в нас?.. / Иль мы в Сабурке?.." Великий Врубель демоном томился на излечении в одном из красно-кирпичных зданий-корпусов, спрятавшихся в буйной зелени. Тревожный Гаршин выглядывал из мутного окна... И совсем недавно хорват Мотрич, дабы власти не тревожили его, лег в одну из палат в надежде получить инвалидность... Как бы там ни было, воспаленный мозг нашего клиента принял покойного Анатолия К. за циклопа...

Доктор Вишневецкий в белом халате, светлая прядка волос спадает на прохладный лоб, стал у двери на фоне анькиного пальто и шинели молодого негодяя, глядит на "больного", улыбаясь. "Вот видите, дорогой юноша. Далеко не всегда признанные авторитеты оказываются правы, а молодые ученые заблуждаются. В моем споре с академиком Архиповым я оказался прав. Прошло всего лишь пять лет, и у вас случился рецидив, о возможности которого я в свое время предостерегал академика. К сожалению, академик не может убедиться в моей правоте. Год назад мой многоуважаемый коллега скончался от разрыва сердца. Сочувствуя жертвам, погибшим при пожаре, я все же не могу не радоваться тому обстоятельству, что как ученый я оказался прав, а коллега академик еще раз продемонстрировал всю беспомощность своего якобы гуманного метода лечения шизофрении. Если бы в свое время академик послушался моего совета и к вам, молодой человек, был применен курс электрошокового лечения, невинных жертв улицы Данилевского возможно было бы избежать."

— Электрошокового лечения? Я и не знал, что обязан старику Архипову столь многим. Вы собирались поджаривать мой мозг электродами?

— Не поджаривать, но уничтожить электронными бурями агрессивность в вашем мозгу, Эдуард. А агрессивность в вас, мой друг, проистекает от страха. Вы же знаете, что вы трус, Эдуард. Вы можете обмануть всех, но не вашего лечащего врача.

— Я не более трус, чем вы или любой другой человек, доктор. Еще мальчишкой, грабя с приятелями окраинные магазинчики, я старался первым влезть в помещение. А для этого, знаете, нужна определенная храбрость. Вот вы, доктор, я уверен, не полезли бы первым в дыру, где вас неизвестно что ожидает. Может, зубы овчарки, может, пуля старика охранника, некоторые жулики-директора даже медвежьи капканы ставили против воров. А сколько было случаев, когда милиция избива-

ла пойманных воров до смерти, а? Потом сбрасывали из окна и в рапорте писали: "Неожиданно выпрыгнул в окно четвертого этажа, разбился насмерть". Я пять лет так жил, доктор. И вы имеете наглость утверждать, что я трус? Я особо-опасному аналитику не врезал потому, что страх показаться слабым в драке с ним меня удержал. Он выше, жилистей меня, тяжелее и старше. Другая категория. Он полутяжеловес, а во мне хорошо, если шестьдесят кило есть. И жрет он, наверное, не так, как я, от случая к случаю. Я не побоев боялся, а того, что Анна и девушки увидят мой позор.

— А чего ты боялся в ту ночь, когда с Саней Красным напился? — Вишневецкий знает, что по самому слабому месту ударяет он больного.

Подумав, больной говорит: — В той истории есть нечто темное, древнее, доктор. Честно говоря, я думаю, что это его необыкновенная агрессивность, Сашкина, накопившаяся в нем за три года тюрьмы, выходила таким образом. Плюс, доктор, мы с Красным столько выпили в "Люксе".

— Водка, мой друг, как вы отлично знаете, не меняет психологическую структуру личности. Она ее только обнажает, раздевает. Агрессивность дикого мясника Красного всегда была направлена на вас, юноша, только потому, что вы боялись вашего друга всегда. Он тоже был для вас Циклопом, с которым вы предпочитали дружить. На деле же никогда не утихала в вас обоих эта "древняя", как вы ее называете, жуть. Распаленная вашей робостью, всегда пылала в нем, жажда изнасиловать вас. Вспомните, как однажды он мучил вас у пруда, выворачивал вам руки, и как отвратительно пахло от него потом... Тогда он тоже был пьян, правда не до такой степени, как в последний раз.

— Бросьте, доктор, фантазировать! Все куда проще. Я встретил Красного случайно. Мы много лет не виделись. Он три года оттянул в тюрьме, несколько дней как освободился. Тюрьма ожесточает человека, доктор, или нет? Все же я много лет был его корешом, поделником, адъютантом. Нужно было с ним выпить, хотя между нами уже не было ничего общего. Пошли в "Люкс", выжрали столько водки с пивом, что переселились в подсознание. Ему, конечно, обидно стало. Пока он си-

дел, я интеллигентным фраером заделался, поднялся по социальной лестнице выше его... И сидел он ни за что ни про что.

— Все преступники, Эдуард, утверждают, что их посадили ни за что.

— Представьте себе, скептический доктор, в данном случае утверждение соответствует истине. Толстый Саня, похожий на Геринга, сел за попытку изнасилования, что, конечно, заставит вас понимающе улыбнуться. Дикий человек, насильник, агрессор — все сходится согласно вашей теории. Но доктор, погодите радоваться! Его посадили за то, что он пытался трахнуть *свою* девку! Он трахал Гульку до этого год! А втихаря от Сани Гулька давала всем желающим. Красному просто не повезло. В один проклятый вечер Гулька почему-то, озлившись, не дала Красному, и тот, наставив ей пару шишек, обиженный удалился. И надо же такому случиться, что в тот же вечер Гулька встретила Гамлета. Красивое имя, не правда ли, доктор? Армянин Гамлет — злейший враг Сани Красного. Гулька пожаловалась Гамлету, и армянин предложил ей подать на Красного в суд за изнасилование. Она подала. На Салтовке ребята говорили, что Гамлет хорошо заплатил Гульке. Красного, надеялся Гамлет, упрячут минимум лет на десять. Однако несмотря на разорванные гулькины тряпки и дополнительные синяки и ссадины, поставленные ей армянином для большего правдоподобия, суд признал Саню виновным только в попытке изнасилования, и ему дали пять лет. Так как это была его первая судимость, Саня вышел через три года. Как, по-вашему, он себя чувствовал, доктор, эти три года, разливая баланду и нарезая хлеб для других заключенных и помня, что сидит за то, что Гулька ему не дала? Поневоле поверишь в несправедливость мира.

— В любом случае, за другие совершенные преступления ваш друг заслуживает не трех лет, а всех пятнадцати.

— Но за те преступления его не судили, доктор.

— Вернемся к знаменательной ночи. Вы утверждаете, Эдуард, что Красному "обидно стало". Поэтому он стал выкручивать руки бывшему приятелю и выворачивать его карманы, пытаясь отобрать у него ключ, чтобы пойти и изнасиловать женщину приятеля?..

— Доктор!

— Вы хотите сказать, что он не выкручивал вам рук и не шептал вам, издевательски улыбаясь: "Я пойду сейчас ебать твою бабу, Эд!"

— Фуй, доктор! Два пьяных вдребезги человека, падая и цепляясь друг за друга, бредут по так навеки и оставшимся неузнанным улицам. Валяются, увлекая один другого, на землю. Мы до того были пьяны, доктор, что я не уверен в том, что он понимал, кто я такой!

— Однако он опять и опять шептал: "Дай мне ключ, я пойду ебать твою бабу, Эд!" И отобрал ведь у вас ключ, Эдуард.

— Это останется навеки невыясненным. Может быть, я потерял ключ. Саня никогда больше не появился в моей жизни. Что бы ни произошло тогда между нами...

— Все, что произошло между вами той ночью, свидетельствует, что вы нуждались в электрошоковом лечении, и академик Архипов был неправ. Структура вашей психики такова, что вы хотите быть изнасилованным.

— Саня собирался насиловать Анну, доктор, а не меня. "Ебать твою бабу". Вы сами только что...

— "Ебать твою бабу" — и есть "ебать тебя". Мужланское воспитание и в состоянии крайнего алкогольного опьянения не позволило Сане признать его самое затаенное желание — изнасиловать младшего товарища.

— Зачем тогда я поджег дом, доктор! Какого дьявола, если я хочу, чтоб меня изнасиловали!

— Вы забыли мою основную посылку, Эдуард. Причины вашей агрессивности — в страхе быть изнасилованным.

Молодому негодяю вдруг становится безразлично все на свете. — Хорошо, доктор, я признаю вашу правоту. С завтрашнего дня я перестану бояться быть изнасилованным. — И он засыпает.

Будит его звонок. Внезапно вспомнив ночные события, он вскакивает и, обнаружив, что спал в рубашке и в брюках,

идет открывать дверь уголовному розыску. Однако за дверью к его удивлению не стоят сотрудники уголовного розыска. Шофер Георгий Иванович, в пижаме, со всклокоченными остатками седых волос на голове, зевая, незло шамкает: "Во, как раз тебя к телефону... Что-то случилось". Георгий Иванович встает раньше всех в коридоре. Он водит персональный автомобиль какого-то начальника. Пройдя мимо тихо булькающей на примусе манной каши Георгия Ивановича, поэт подходит к аппарату и берет трубку.

— Да?

— Эд, сукин сын! Это ты, конечно, поджег лоркин дом. Ты что, охуел совсем?

— Я? Поджег дом? Ты, Генка, бредишь? Который час сейчас?

— Полшестого. Правда, не ты?

— Правда, не я...

— Лорка сказала: "Наверняка Эд поджег". Но раз ты утверждаешь, что нет, я тебе верю. Какой-то псих обложил ящиками и книгами дверь на девятом этаже, как раз над лоркиной квартирой, и поджег. Пожарники и жильцы всю ночь тушили... Лорка в одной ночной рубашке и в халате приехала на такси ночевать к Цветкову...

— Жертвы есть?

— Жертв нет, но несколько квартир сгорело. Пожарники говорят, что если бы дверь в квартиру Кравченко не оказалась обитой железом, а была бы деревянной, как обычные двери во всем доме, все здание бы сгорело на хуй. А так дверь постепенно накалялась, и краска на лестничной площадке стала гореть, перила... Ну ладно, спи спокойно, раз не ты поджег. — Генка помолчал, потом хмыкнул: — Я все-таки думаю, что это твоих рук дело, Эд.

— Нет, не моих. Пока. Спасибо за сообщение.

— Не за что.

Эд идет по коридору обратно в купе. Георгий Иванович выливает манную кашу из кастрюльки в глубокую тарелку.

— Помер кто-то? — равнодушно спрашивает он.

— Дом загорелся.

— Курят много, — комментирует Георгий Иванович стро-

го. У него большой желудок, и он не пьет и не курит.

Лампа по-прежнему горит, освещая дико размалеванные стены. Анна лежит на спине, широко разбросав рубенсовские формы среди древнеримских складок простыней. Молодой негодяй потягивается, рассматривает Анну. Могучее тело сожигательницы чуть содрогается при дыхании.

Молодой негодяй садится за ломберный стол и, покопавшись в металлической банке для карандашей и ручек (среди прочих из банки торчит роскошное гусиное перо), выуживает оттуда химический карандаш. Этим карандашом Эд и Анна записывают на стенах знаменательные даты. "Эда принесли пьяного — 9 июля 1965!" Или "Ленька Иванов женился на Ниночке — 16 октября 1966". Поплевав на карандаш, юноша выводит на стене над самым столом, рядом с изречением "Как станет хуже некуда — так и на лад пойдет" — дату: *26 августа 1967*, и задумывается над тем, что приписать к дате. Решает, из осторожности, ничего не приписывать. За шторой в окне вдрух тухнет кровавое "Храните деньги..."

Анна Моисеевна мычит во сне, и молодой негодяй внимательно оглядывает спящую подругу. Вдруг в голову ему приходит блестящая хулиганская идея. А что если... Он присаживается рядом с постелью на корточки, жует губами, чтобы выделилась слюна, и лижет ляжку Анны Моисеевны. Еврейская красавица продолжает ровно сопеть. По мокрой ляжке химическим карандашом Эд выводит первую цифру даты "2"... Анна чуть заметно вздрагивает ногой и замирает. Эд осторожно выводит шестерку и, убедившись в полной безнаказанности, уже более развязно дописывает: "... августа 1967 года". Полюбовавшись надписью, выглядящей как татуировка, злоумышленник, решив что с тела Анны всегда можно будет смыть вещественное доказательство, опускается на колени у постели, чтобы приняться за работу серьезно. Жирными буквами он приписывает: "Эд поджег дом".

Полюбовавшись на дело рук своих и не зная, чем заняться, юноша прохаживается по комнате, отодвинув штору, смотрит на светлеющее небо. Возвращается к столу, вертит в руке карандаш, вставляет его в банку, вынимает опять и решает разукрасить Анну Моисеевну как следует.

По гиппопотамьей внутренней мякоти ляжки злодей старательно выводит: "Умру за... горячую... еблю!" Под надписью он рисует толстый член. Головка члена направлена в спящее сейчас отверстие меж ног Анны Моисеевны.

Юноша трудится, пристроившись на коленях у постели. На животе еврейской красавицы он выводит "Не забуду мать родную!" Руки Анны он обвивает толстыми чешуйчатыми змеями. Талию украшает поясом с кинжалами с кавказским узором. Всеми известными ему блатными изречениями испещряет он кожу подруги.

Покончив с фронтальной стороной тела, он расталкивает Анну. "Ты храпишь как биндюжник и мешаешь мне писать стихи", — врет злодей. Испуганно моргая сонными глазами, Анна ничего не понимает, но послушно переворачивается на бок. Художник набрасывается на могучую спину и непомерные ягодцы подруги и украшает их якорями, русалками, кинжалами и опять ругательствами и членами. Исчерпав полностью запас рисованных и афористических мерзостей, которые успели накопиться в его памяти за недолгую еще жизнь, злодей с чувством удовлетворения от проделанного разглядывает жертву. "Вставай, Анна... Анна!" — Растолкав гиппопотамика, злодей насильно за руку тащит ее в ванную комнату. В ванной комнате, увидев себя в мутном зеркале, Анна Моисеевна неожиданно плачет.

— Злобный молодой негодяй! Что я тебе сделала? Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!

Успокаивается Анна Моисеевна только после того, как молодой негодяй убеждает ее в том, что совершенное — на самом деле сюрреалистическая акция. С помощью намыленной губки поэт принимается смывать сюрреалистическую акцию с тела подруги. Когда он заканчивает смывать с ляжки все еще хнычущей Анны "Эд поджег дом" и они возвращаются в комнату — за окном уже совсем светло. Анна снова закутывается в римские складки простыни, а Эд замирает, растянувшись на кушетке. В комнату, посланный сверху из-за крыши бывшего Дворянского собрания на противоположной стороне площади, попадает острый первый луч солнца.

ЭПИЛОГ

Вчера автор вернулся в Париж из Нью-Йорка. В пыльной своей квартире он нашел множество писем, заботливо вынутых из почтового ящика другом, — корреспонденция писателя Э. Лимонова за все лето. Среди прочих — четыре письма из СССР, все с зеркально перевернутой буквой "Я" в слове FRANCE. До отъезда автор получил еще три таких письма. Все они от Анны Моисеевны Рубинштейн.

Анна упрямо шлет автору письма, а он ей жестоко не отвечает. Может быть, злодей и не читал бы ее писем, выбрасывал бы тотчас по получении в мусор, но он ведь профессионально любопытный писатель, он читает письма из любопытства. Он бесчувственный зверь?

В том-то и дело, что он зверь чувствительный. Отказ вступить с Анной в переписку — работа его инстинкта самосохранения, попытка уберечь себя от новой всегда грустной информации, которая оживит опять многих персонажей прошлого, давно умерших для него монстров, красавиц и поэтов, и приведет в движение опасный аппарат воспоминаний. Он заработает, этот аппарат, и автор будет вынужден принести в жертву настоящее время, свои "сегодня" и "сейчас" — дабы насытить безжалостную машину.

Все же ненужности и опасная информация прорываются к нему даже только по одной линии связи, оттуда — сюда.

Так, например, автор узнал, что Мотрич — "новый, просветленный, живет с молодой женой — искусствоведом (!) — среди музыки, цветов и картин", и "опять пишет стихи...", что он "трезвый, мудрый, спокойный, гордый..." Далее Анна предложила поставлять автору информацию о людях, которых он когда-то знал.

Нет уж, увольте, Анна Моисеевна, автор активно не хочет. В последний раз он видел Мотрича пьяного, обоссанного и облеванного, и был от такого Мотрича в восторге. Даже Мотричу позавидовал, что тот сумел стать настоящим проклятым поэтом, имел мужество дойти до конца. "Я такого мужества не имею, увы", — подумал автор тогда.

Автор категорически не согласен с Анной Моисеевной в

том, что "просветленный Мотрич" "пишет прекрасно". Он относит эту оценку за счет безответственности и благожелательности Анны Моисеевны. И ее неизжитой провинциальности. Он уверен, что сегодняшняя литературная продукция Мотрича — скучна. "Просветленные" — хороших стихов не пишут. Просветленные поэты нам не нужны. Нам нужны спившиеся поэты, обоссанные поэты и облеваннные поэты. Поэты с красными глазами, небритые, невыносимые в общении, приставучие и гадкие, вымогатели двадцати копеек нам нужны. Автор предпочитает поэта конченного поэту просветленному. Это так вульгарно-обыкновенно, что Мотрич живет среди цветов и музыки. Вульгарно спастись из капкана поэзии.

Автор очень разнервничался. Он давно воздвиг Володе Мотричу прелестный памятник в своей душе, отвел ему романтическую, увитую плющом могилку на своем личном кладбище, где-то между могилками Шелли и Китса, ан — нате, сюрприз! Вдруг из кладбищенских сиреней выходит вульгарно-веселенький человечек в клетчатом костюме и утверждает, что он Мотрич, и он пишет стихи. И лицо у человечка просветленное, он трезвый, мудрый, спокойный, гордый, а в Мотрича 60-х годов он шутил. Что он не умер, он говорит, что когда похороны окончились и все ушли, он выполз из могилы.

— Не хочу я всего этого знать, Анюта! — кричит автор, повернувшись лицом в ту сторону, где по его расчетам находится Харьков. — Не хочу! Я желаю помнить пьяного Мотрича на сцене Дома Культуры Работников Милиции, тонкие ножки затянуты в узенькие брючки, и злым голосом читаемое "И сам Иисус, как конокрад / В рубахе из цветного ситца..." Точка. Никаких поправок к истории. Не допущу ревизионизма!

* * *

Сзади полным-полно трупов. Гекатомбы. Преобладают, разумеется, трупы в аллегорическом смысле слова. Рядом с аллегорическим трупом Анны Моисеевны на улице имени украинского маршала в Харькове живет труп маленького Юрки Кописсарова. "Недалеко маленький Юрка, — сообщает доносчица Анна, — в большой четырехкомнатной квартире, с великолеп-

ной библиотекой, собирается читать на пенсии. Живой, вечно бежит”.

— Ну что, Юрочка? — ухмыляется автор. — Прав оказался Эд, особенным оказался он. ”Почему ты уверен, что ты особенный? Все особенные!” — зло кричал ты Эду. Ни хуя подобного, не все особенные. Работать двадцать лет на одном заводе, как ты — значит просрать свою жизнь. И ты просрал ее только потому, что не был рожден особенным, Юрка. Человеческие существа рождаются неравными, дорогой Юрочка-неудачник. Вовсе не злой, но преисполнившийся с годами безжалостной мудростью, автор ухмыляется. Никакого эгалите, друг мой Юрочка, не существует, слава Богу!

Мишка Кописсаров был застукан при попытке организовать в тюрьме сеть по доставке и продаже наркотиков и получил дополнительный срок. Вышел в начале 80-х.

В 1974, приехав в Харьков прощаться (молодой негодяй уезжал в советский мир), встретился он из сентиментальности с опухшим, розовым, пьяным директором магазина ”Военная книга”. ”Езжай и отомсти там за нас. За всех, кто не дошел, но кому ты обязан, Эд!” — шептал ему Мелехов. Они сидели на балконе ресторана ”Харьков”, внизу, тихая, возлежала площадь Дзержинского. Мелехов пьяно плакал, обнимая Эда. Вскоре директора ”Военной книги” судили за растрату. Очевидно, Мелехов растратил немало государственных денег, ибо получил десять лет. С рыбо-мясотрестовской Анечкой он разошелся задолго до этого.

Великолепный Генка приезжал пару раз к Эду в Москву проездом из Сибири, куда он ездил по темным делам чрезвычайной важности. Надеемся, что дела эти были такими же опасными, как те, которыми занимались Ален Делон и Лино Вентура в фильме ”Искатели приключений”. Мягкая бородка делала сибирского Генку похожим на викинга. Обычно вместе с Генкой в двери молодого негодяя входил и ящик шампанского. О дальнейшей судьбе Генки ничего не известно.

Гитлерюгендовский Виктор и похотливый фавн инженер Фима исчезли без следа в океане жизни. Мсье Бигуди пытался несколько раз сбежать на Запад, последний раз пытался перейти границу СССР в районе города Х. в Карпатах. Был задержан,

но отделался курсом лечения в псих. доме. Слишком рано созревший, мсье Бигуди истек своей собственной ненавистью, и когда двери, в которые он ломился, приоткрылись, у мсье Бигуди уже не было сил встать и покинуть территорию. Хотя, может быть, его история еще не закончена?

”Сионисты” встретились со своей мечтой и отреагировали на встречу по-разному. Согласно уже несвежим донесениям, Изя Шлафферман был директором пограничного кибуца в агрессивном государстве Израиль. Утверждали, что Изя спал с автоматом под подушкой. Может быть, спит с автоматом до сих пор. До автора дошли однажды слухи, что Изя опубликовал в эмигрантском журнальчике нехорошие воспоминания о русском народе. Имеет право, русский народ многим не нравится. Израильский народ тоже многим не нравится.

Милославский и Верник уже с дюжину лет являются гражданами того же государства на Ближнем Востоке. Неуживчивый и честный Милославский обнаружил, что национальная греза оказалась, как все массовые грезы, с дефектами. Что птица национального государства пахнет падалью, как грязная чайка. Написав книгу ”Укрепленные города”, Милославский вызвал неудовольствие сограждан. Отшельником, с большой матерью живет он на далекой окраине Иерусалима. Недавно крестился в православие!

Потомок Кучума разошелся с Наташей Басовой, ставшей ученицей Ростроповича, хорошей виолончелисткой и хорошенькой веселой, полной женщиной с большим порочным, как у Вики Кулигиной, ртом. В один прекрасный день Наташа отказалась играть роль умирающего лебедя и чахоточной музыки, предписанную ей узурпатором-братцем и семьей. Желтолицего потомка Кучума судьба занесла в Нью-Йорк, где его находят несколько не более гениальным, чем еще сотню русских художников, выброшенных социальными бурями времени на Западный берег. Весьма вероятно, что гениальность ослабевает с возрастом.

Толик Беспредметник закономерно стал художником-оформителем и по-прежнему безболезненно и безмятежно проживает в Харькове. ”Наряжается, покупает пальто и говорит — ”Эд бы мне позавидовал”, а я смотрю на него иронически”, — сообщает Анна.

Физик Гаррис замерз. Умер.

Парикмахер Миркин, ставший "лошадью", то есть карточным игроком-профессионалом, играющим на деньги других, был застрелен в Москве, в споре, последовавшем после крупной игры.

Ратиновое пальто — подарок молодому негодяю от Мишки Кописсарова, так никогда и не сносилось. Прослужив молодому негодяю верой и правдой все семь московских лет, живет себе сейчас где-то в СССР.

Дом 19 на площади Тевелева снесли.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Перечитав гранки "Молодого негодяя", автор вдруг к своему ужасу обнаружил, что за пределами книги осталось множество больших и мелких деталей той жизни, необычайно важных для характеристики персонажей. Автор к примеру, забыл сообщить, что глава "СС" Генка любил песню Высоцкого "Идут по Украине солдаты группы Центр", и не единожды Генка и Эд пересекали город, распевая эту песню-марш. Им так хотелось быть сильными и мужественными. Парадоксальным образом они выбрали себе в герои загорелых солдат вермахта, с засученными рукавами, автоматы в руках, шагающих по их земле. Врагов их отцов.

Недостаточно сказано о том, какое огромное влияние оказывали на героя-поэта прочитываемые им новые книги. О целом перевороте в его сознании, совершенном вышедшим в Издательстве Академии Наук в 1966 г. сборником стихов Гийома Апполлинера. О чешском словаре современного искусства, на последней странице которого наш герой написал красными чернилами, что клянется стать таким же, как населяющие словарь Ван-Гоги, Пикассо, Клее и Кандинские.

Автор забыл сообщить, что Циля Яковлевна получила в гимназии первую премию за декламацию стихотворения "Девушка пела в церковном хоре". Что, следуя семейной традиции, Анна Моисеевна обожала Блока, но ее любимым стихотворением была песня Бертрана из драмы "Роза и Крест" с ее удивительным рефреном:

Сердцу закон непреложный
Сбудется, что суждено

Мира восторг беспредельный
Радость-Страдание одно...

Несправедливо не попал в книгу актер харьковской филармонии Лешка Пугачев, сочинивший музыку для "Деревянного человечка" Мотрича, и "Красных помидоров" нелюбимого нашим героем Чичибабина. Ловкий, мускулистый и молодежавый в свои тогдашние сорок с лишним, Лешка. Незаслуженно остался за пределами книги молчаливый алкоголик, крестьянский поэт Витченко (или Видченко), повесившийся еще до отъезда героя в Москву.

Забыв почему-то исторический визит мамы Раисы Федоровны на Тевелева 19, имевший целью вырвать молодого негодяя из рук ужасной женщины старше его и закончившийся примирением сторон. Забыт говорящий не в пользу нашего героя эпизод с "француженками". Явившаяся наутро домой после аборта (от молодого негодяя) Анна Моисеевна, застала в доме пьяных молодого негодяя и Толика Кулигина, пригласивших встреченных на улице девушек – подругу детства молодого негодяя "француженку" Асю Вишневскую и другую "француженку" – Катрин. Изгнав девушек, злая Анна вылила портвейн из многочисленных бутылок в помойное ведро. Очень пьяный Кулигин голый подполз к ногам Анны и жалобно поскуливал, как собака.

Забыва большая блондинка Люська, подружка сионистов, нравившаяся молодому негодяю. Забыты все физики: целый физико-математический факультет Харьковского Университета, бывшие ко-студенты Юрки Кописсарова: двухметровая жердь Боб Вильницкий, денди Гена Зарецкий, не подан крупным планом тоже физик и харьковский Ив Сен-Лоран – Бобов.

Автор сожалеет, что по техническим причинам не смог поместить в книгу харьковских девочек того лета 1967 года, и без них, без их выгоревших гривок и шевелюр, выпуклостей, загорелых конечностей и острых каблучков, вонзающихся в асфальт, книга получилась менее населенной... Внимательный читатель заметит, что множество раз

автор употребляет по отношению к своим героям определение "красивый". Нет, не небрежность или чрезмерное восхищение героями заставили автора зайти в украшательстве столь далеко. Вспомним, что все герои книги — молодые люди, а на заре жизни, полные надежд, молодые люди часто бывают очень красивы.

Не попали в книгу и внутренности холодного трамвая, идущего раскачиваясь и погромыхивая на Салтовку, знаменитой "24-й марки". Трамваи в Харькове почему-то называли "марками". Забыл автор и о том, что Вагрич Бахчанян уже в те годы восхищался примитивными стихами и с упоением цитировал четверостишие рабочего Гришки (время не сохранило фамилии, хорошо еще, если автор не напутал с именем), посвященное секретарше завкома "Поршня", в которую тот был влюблен:

"Остановилась 24-я марка
Из нее выходит Тамарка
На работу спешит вероятно
А как пукнет — понюхать приятно..."

Заговорив о запахах, автор вспомнил, что отец героя — Вениамин Иванович дарил Раисе Федоровне на каждый день рождения дорогие и солидные духи "Красная Москва". А девушки того времени чаще всего пахли духами "Ландыш" или "Белая Сирень", казавшимися нашему герою провинциальными и простыми. Сейчас запах "Ландыша" исходит почему-то от флаконов фирмы "Кристиан Диор". Преобладающим же запахом книги, если постараться его определить, будет запах овощной икры, часто приготавливаемой Цилей Яковлевной, средиземноморский запах жареной на подсолнечном масле моркови, перца, лука и баклажанов. Это он встречал молодого негодяя, являвшегося в семью после очередного загульного странствия...

Отделенный от того Харькова уже достаточно толстым слоем времени и полдюжиной государственных границ, автор, увы, не избежал ляпсусов. Так, например, харьковский храм оперы и балета окрещен им театром

имени Шевченко. В действительности он — театр имени Лысенко. Простим виновному эти невольные и незначительные смещения фокуса в нескольких местах; чаще всего они приходится на камни, колонны и фризy, а не на живую плоть. Трудно же, создавая такой величины фотографию (фреску, панораму, чертеж... как вам угодно), не сорваться здесь и там, не провести лишнюю линию или даже запустить ершастого чертика в угол.

Поскольку одни герои, совершившие наказуемые преступления, с достоинством отбыли свои наказания, а другие преступлений вовсе не совершали, автор в большинстве случаев сохранил им (как и в другой книге харьковского цикла, в "Подростке Савенко") их собственные теплые и близкие имена. Автор посчитал своей обязанностью оставить настоящие имена прежде всего незабвенной и великолепной Анне Мойсеевне, Борьке Чурилову, Толику Мелехову — тем, кто учил, наставлял и интересовался молодым негодяем, несмотря на то, что он был далеко не всегда приятной и милой личностью, скорее напротив. Наградить этих троих именами: Галкина, Палкин и Сидоров было бы непристойно и глупо. К тому же, как нам известно из опыта человечества, книги сплошь и рядом переживают людей. Автору приятно наградить героев портативным бессмертием и, хотя бы таким неуклюжим образом, отблагодарить их.

Что же касается персонажей второстепенных или же эпизодических, то автор считал себя вправе, если хотел, не долго думая, придумать им фамилии. На то он и автор. И, разумеется, все пристрастия и отталкивания автора дружно, хищным отрядом, проникли в книгу. После десятка страниц читателю неизбежно становится ясно, что наиболее развит у автора его критический факультет. То есть, вначале он замечает, что человек толст, косоглаз и прыщав, обсмеет человека, а уж потом позволяет себе найти в нем что-нибудь интересное и уникальное... (ясно, что жалости от автора никогда не допросишься...).

...А Эстелка Соколовская! Автор схватился за голову, потому что забыл свою племянницу, (племянницу Анны

Моисеевны), длинную Эстелку из Киева, учившую его, как правильно и просто шить карманы. Великолепная Эстелка, с глазами цвета киевских каштанов, называвшая молодого негодяя "дядя", целовавшаяся с ним в парке и предлагавшая ему: "согрешим, а, дядя?"

А одноглазая красивая Римма... Бахчанян смеялся над молодым негодяем, по близорукости не рассмотревшим, что у девочки искусственный глаз...

— Кошмар, — подумал автор, — хоть садись и пиши еще одну книгу на ту же самую тему. Или еще две книги. Написал же Лоуренс Дюрелл четыре варианта одной и той же истории...

Книги Эдуарда Лимонова:

РУССКОЕ (Стихотворения, поэмы, тексты).
Анн Арбор, "Ардис", 1979.

ЭТО Я – ЭДИЧКА. Роман
Нью-Йорк, "Индекс Паблишерс", 1979.

ДНЕВНИК НЕУДАЧНИКА.
Нью-Йорк, "Индекс Паблишерс", 1982.

ПОДРОСТОК САВЕНКО. Роман.
Париж, "Синтаксис", 1983

ПАЛАЧ. Роман.
Иерусалим, "Хамелеон Паблишерс", 1986.

Фото на обложке: Э. Лимонов. Харьков, 1965 г.